

СИБИРСКИЕ ОГНИ

**Литературно-художественный
и общественно-политический
ежемесячный журнал**

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

Главный редактор:
М. Н. ЩУКИН

Редакционная коллегия:

Н. М. Ахпашева (Абакан)
А. Г. Байбородин (Иркутск)
П. В. Басинский (Москва)
А. В. Болдырев (Курск)
А. В. Кирилин (Барнаул)
В. М. Костин (Томск)
А. К. Лаптев (Иркутск)
Г. М. Прашкевич (Новосибирск)
Р. В. Сенчин (Екатеринбург)
М. А. Тарковский (Красноярск)
М. В. Хлебников (Новосибирск)
А. Б. Шалин (Новосибирск)

Владимир Титов
ответственный секретарь

Михаил Косарев
начальник отдела художественной литературы

Марина Акимова
редактор отдела художественной литературы

Лариса Подистова
редактор отдела художественной литературы

Кристина Кармалита
начальник отдела общественно-политической жизни

Дмитрий Рябов
редактор отдела общественно-политической жизни

Елена Богданова
редактор отдела общественно-политической жизни

Корректурa: Т. Л. Седлецкая
Верстка: О. Н. Вялкова

5/2020

Содержание

ПРОЗА

Анатолий САНЖАРОВСКИЙ. Отчество. Рассказ.	3
Татьяна ЛАШУК. Девочка и война. Рассказ.	10
Виктор ВАССБАР. Война — тяжелая работа. Рассказы.	22
Надежда ПЕРМИНОВА. Ангел Севочка. Рассказы.	39
Светлана ДУРЯГИНА. Махонькая. Рассказ.	48
Светлана МИХЕЕВА. Роза, играй... Повесть.	53

ПОЭЗИЯ

Алексей ИВАНТЕР. Артель. Стихи.	16
Мария ФРОЛОВСКАЯ. Три истории. Стихи.	45
«Я неопознанный солдат...» Юрий Левитанский, Марк Юдалевич, Леонид Решетников, Иван Краснов, Марк Сергеев, Михаил Борисов. Стихи.	108

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Павел ОРЛОВ. Сибирские бронепоезда. Начало пути.	117
Петр МУРАТОВ. Волоколамск — Марибор. <i>75-летию Великой Победы посвящается.</i>	138
Павел РОМАНОВ. Врачебные тайны. Судьба новосибирского врача Д. Г. Фирфарова и его семьи.	155
<i>Новосибирскому государственному краеведческому музею — 100 лет</i> Антон РУБШЕВ. «Берем мы с Владимиром по одной и по последней “лимонке”...»	167
<i>Картинная галерея «Сибирских огней»</i> Сергей МОСИЕНКО. Палитра жизни Сергея Пирогова.	185
<i>Авторы номера</i>	191

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Ранее опубликованные (в том числе в газетах и сети Интернет) произведения не рассматриваются. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Главный редактор, директор ГБУК НСО «Редакция журнала “Сибирские огни”» М. Н. Щукин.

Анатолий САНЖАРОВСКИЙ

ОТЧЕСТВО

Р а с с к а з

Прокинулась Поля не в пример раньше обычного. Еще вялые, сонные сумерки слонялись за окном, можно какую каплю и соснуть, да какой там бабе сон, раз лупнула глазами — все, отоспала.

Взгляд зацепился на лавке за горку выглаженных ребячьих рубашек, штанов. До ночи гладила.

Сегодня первый послепобедный сентябрь. Женишкам ее в школу. Всем! Даже самому меньшенькому.

Сладость разлилась в душе.

Поля подошла босиком к койке, где спали втроем Митрофан, Глеб и Антон, шатнула Антона за плечо.

— Вставай, Антонка.

Мальчик поднырнул под подушку.

— Антон, в школу проспишь. Вставай! Вставай пришел! Сам Вставайка пришел!

Мальчик и удивлен, что так рано подыматься, и в восторге. Будят в школу! В школу же! Первый раз!

Он сверлит глазами мутное окно, и ликование тут же прокисает:

— На дворе ж ни светинки... Теперь каждый день впотемну вставай?.. А каникулики скоро?

— Бы-ыстро же ты запросился на каникулы, — хохотнул Митёк. — А на пенсию еще не хохо?

— А что, — серьезно раздумался Антон, — наперва устроили б каникулы. А потом спокойно и учишь, и учишь, и учишь до сконца света!

— Да каникулы еще заработать надо! — пальнул Глебка. — Хоть двухшек с десятков, тыря-пыря, отгребил!

— Ты еще наскажешь! — Поля машет на Глеба-лукавца. — Чего это ты двойками дорогу ему выстилаешь? Нашел чем шутковать...

После завтрака Поля достала из облезлой уже скрыни новенькую полотняную сумку.

— Я, Антошенька, загодя сбирала... — Заглянула в сумку, укоризненно покачала головой. — Э-э, перестаралась девка. Одно яблочко уже червячок выбрал себе. Проголодался. Так оно хорошее... Червяк не дурак, в плохом не расквартируется...

Порченное яблоко Поля отложила на стол, зачем-то вытерла о подол и без того совершенно чистые и сухие руки и подала Антону сумку. Было заметно, как пальцы у нее мелко подрагивали.

— Ты ж учись, сыночек...

Слезинка вылилась у нее из глаза и, пробежав по щеке, упала в сумку.

— Не с грехом напополамки, не как-нибудь... Хорошо учись. Это ж школа!.. У меня, у горемыки... Так вышло... Всего один месяц проучилась. Тот-то в получку рисую в ведомости крестики иль другой кто распикуется за меня. Без имени овца баран. Так и неграмотный. Правду старые люди говорили... Кто ветром служит, тому дымом платят. Темнотою не возьмешь. Надеяться тебе не на кого. Рос без батька. Что отщипнешь от жизни выучкой, то и твое. Аха? — спросила утверждающе.

Мальчику прискучило слушать наставления. Взял сумку на плечо. Пожаловался:

— А чего сумка такая тяжелуха? Плечо прям отрезает!

— Это тебе напихали камней, кирпичей и прочего гранита знаний. С сегодня будешь грызть вместо хлеба! — соболезнующе ответил за маму Глеб.

— Фу ты, болтушка! — Поля сердито покосилась на Глеба. — Ну чего сплел? Там же все разнужное. Букварик. Тетрадоньки. Карандашички на разный цвет. Яблоки...

— Ма! А можно я еще яблочков возьму?

— Да вон в углу кошелка! Бери, какие на тебя глядят.

— Да они все на меня таращатся, — конфузливо шепчет мальчик.

— Если б на тебя еще все пятерки так смотрели, как яблоки! — съехидничал Глеб и щелкнул братца пальцем по макушке, выходя из комнаты.

— Отвянь, Чапля! — ворчливо отмахнулся Антон и стал основательно рыться в корзинке с яблоками, выдергивая и перекладывая к себе в сумку самые крупные, с краснобрызгом.

Вернулся с крыльца Глеб:

— Малёха! Ты еще долго будешь ковыряться? А то Юрка Клыков, Вовка Слепков — все первоклашки уже побежали наперегонки за первыми двойками. Смотри, все расхватывают, тебе не достанется!

— Ты опять за свое? Опять за кильку гроши? — осаживает мама Глеба. — Нашел игрушку лбом орехи щелкать! Охолонь. Шо это ты взял-ся насмешничать? Лучше вот вам на дорожку, — подала каждому по пирожку. — Идись с Богом, хлопцы вы мои. Хай лэгэсэнька будэ ваша путь...

Пирожки тут же, еще в комнате, братья съели.

— Ну, теперь можно и в путь! — щелкнул Митрофан пальцами и убежал впереди младших.

По детсадовской еще привычке Глеб молча, не глядя кинул назад Антону руку, тот ее привычно поймал, и вот так, держась за руки, они пошли, тихие, чуточку ликующие.

Поля постеснялась хоть немножко проводить своих парубков и сразу пожалела, едва дверь за ними со вздохом прикрылась. Она вдруг растерялась, вдруг ощутила какую-то пустоту в себе. Боже правый!..

Какой-то испуганной полоумкой выскочила она из комнаты, хлоп шальными глазами вдогонку сынам. Они уже подымались в горку по красному бугру. Внутренне они почувствовали ее, обернулись с улыбками. Неясный страх отпустил, ушел из нее, она застыла с протянутыми к сыновьям руками, со светлой тревогой на лице.

«Антошик... осеньчук* мой... в школу пошел. Когда-то жил в тебе, тукал ножками под сердцем... А тут те глянь — уже и в школу! Не заметила за слезьми, как вырос хлопец...»

Она видела себя такой же маленькой, как Антоня. Видела, как первый раз сама шла в школу. То видела себя под венцом, то при первых родах... То видела, как сама принимала вот в этом феврале роды у старой козы Райки. Видела, как коза ела свой послед-рубашку... То видела себя с багром в Заполярье, на лесозаводе... То на свидании с Никитой за Кобулетами, где стояла на пополнении после жестоких боев его часть...

За тихими слезами насмотрелась на себя, как в кино, и засобиравшись идти добирать стареющий в осень, грубый уже чай.

В школу — она была за четыре версты — Антон тащился без аппетита. Остро жгла плечо полная сумка яблок. Мальчик то и дело припадал отдохнуть. Сумка вконец умаяла его, и он сделал поползновение поработить Глеба, попробовав навялить ее братцу.

— Буду я еще твое таскать! — отбоярился Глеб. — Может, еще захочешь, чтоб я за тебя и уроки отвечал?

Глебу зуделось в этот первый путь хоть как-то потесней сплести братца — он дичился всех и вся — с одноклассниками, с кем будет в одном классе. Надо, решил про себя Глеб, идти вместе с Юркой и Вовкой. Может, еще уговорю по дороге и кто-нибудь из них сядет с Антоном за одну парту?

Глеб набавил шагу и, догнав мальчишек, весело крикнул:

— Слава доблестным переводчочникам!

Живоглазый, вертоватый Юрка широко улыбнулся, так широко, что, казалось, улыбка тронула и красное родимое пятно на левом виске. Плотный снулый Вовка никак не ответил. Наверное, он дремал все время, даже когда шел.

— Ребя, — продолжал Глеб, — я что хочу сказать... Вы да Антон... Только вы трое с нашего района будете в первом классе. Всем вам надо держаться кучкой.

* *Осеньчук* — петушок, родившийся в сентябре.

— Давайте держаться, — спешко взял за руку Антона сонный Вовка.

— Да не обязательно за ручку, — сказал Глеб. — Просто надо быть в школе всегда вместе... Так всем вам будет лучше.

Антоша тихонько вывинтил свои пальцы из Вовкиного прохладного кулачка и пискнул:

— Глеба! Давай содохнем!

— На каждом повороте — отдых? — засердился Глеб.

— На каждом. А то пропущенный поворот обидится...

Антон присел на крупный камень на обочинке.

Юрка с Вовкой посмотрели-посмотрели на Антона, махнули разом руками и отлипли, убежали вперед.

За свои бесконечные привалы Антон был наказан.

Когда они с Глебом вошли в улей-класс, пустых парт вовсе не осталось. Глеб загоревал. Куда же приткнуться своего дикуну?

— Ладно, — сказал Глеб. — Жмись третьим к Юрке с Вовкой. Иди.

Звонок угомонил ребячий водохлест, пала чопорная тишина. Все как-то сникли, будто ждали тяжелой участи.

Вошел учитель. Веселые веснушки смеялись у него на лице, на руках.

Одни ребята встали, другие всё сидели и с любопытством смотрели, зачем забрел сюда дядяйка. По забывке? Здесь же одни малюки! Чего он здесь потерял?

Учитель удивленно остановился у порога.

— Ребята, когда входит учитель, всем надо вставать.

Сидяки торопливо встали. В оправдание тоненький, как лучик, девчачий голосок пропищал:

— А мы не знали, что вы, дядя, учи-тель. Вы ж нам не сказали раньше.

Учитель прошел к столу, положил руки на края стола и пристально обвел взглядом класс.

— Здравствуйте, ребята!

Класс вразнобой, горячо ответил.

— Садитесь.

Под чинный перестук закрывающихся на партах крышек сели.

— А теперь, — сказал он, — давайте знакомиться. Я ваш учитель. Меня зовут Сергей Данилович. Вы будете по порядку вставать и называть свою фамилию, имя, отчество. Начнем с тебя, — показал на Юрку. Юрка сидел на первой парте справа.

Юрка мигнул Вовке и Антону. Все трое разом поднялись.

— Клыков Юрий Иванович! — заученно прокричал Юра.

— Юрий Иванович, значит... — раздумчиво проговорил Сергей Данилович, мелко стуча калачиком указательного пальца по кривоватому столу. — А почему вы втроем сели?

— Мы тут одни с пятого района... Кругом чужие... Хотим, чтоб вместеюшке...

— Пожалуйста. А зачем все трое опять же встали? Я же говорил — по одному.

— Чего уж по одному? — рассмелел Юра. — Как все сразу встаем, не так боязко...

— Может быть, может быть, — одобрительно покивал Сергей Данилович. — А теперь, — наклон к Вова, — представься ты.

Вова так же бойко оттараторил свое, только от зубов отскакивало. За ним мысленно повторял Антон и, когда подбежала его очередь, быстро, ясно сказал фамилию, имя.

— Хорошо, — подхвалил Сергей Данилович, уверенный, что мальчик остановился отдохнуть. — А дальше? Что ты еще не назвал?

В недоумении Антоша молчал.

— Отчество, — мягко подсказал Сергей Данилович.

— От... чес... тво?.. — заикаясь, переспросил Антоша.

— Да, правильно. Отчество.

Мальчик вконец смешался. Покраснел:

— А что такое... от?..

— Отчество — от слова «отец». Имя отца?

В растерянности мальчик задумался, сгоняя морщинки на лоб, сосредоточенно глядя на учителя. Вздыхнул, потом остановил выдых посреди дороги, как бы вслушался в себя. Упавше, осипло выложил:

— Н-не-е... з-зна-аю... Погиб он... Давно погиб... Я не знаю... Ни в лицо... ни так... По имени чтоб... Никак не знаю...

Мальчик смолк, распято свесил голову на грудь.

— Ни в лицо, ни по имени... — по слогам повторил Сергей Данилович, зачем-то опасливо тронул скобку шрама, что глянцевито пробежал по высокому лбу. С первого курса пединститута студент Косаховский ушел на фронт добровольцем. Через полгода возвратился по ранению. Прямое дело было вернуться в институт, а он в школе призастрял. Некому было вести уроки. Так и присох.

— М-да-а... Садитесь... Все трое садитесь...

Юра с Вовой сели. Но Антон продолжал оторопело стоять. Да как же это так — садитесь себе? Неужели такой вот он несчастник, что не доводится батькина имени?

Мальчика сковала злая ярость против этого, как ему показалось, безразличного повеления сесть. Раз-де не знаешь, так чего ж с тобой воду лить впустую?

Антон совсем не помнил отца, но всегда думал о нем. В неожиданном разговоре он поначалу устыдился, что не знал даже его имени, но скоро внутренне выкреп. Он был наслышан о всезнании учителя. Учитель должен знать! Именно сейчас дотюпал, что учитель наверняка скажет всему классу, кто его отец, скажет, каким героем погиб.

Мальчик не успел еще обрадоваться, он только был на пути к радости... И вдруг: садитесь!

Все не садясь, Антон буркнул, наливая голос слезой:

— В-вы... тоже н-не знаете?..

— Не знаю, — глухо ответил Сергей Данилович.

Сам учитель не знает?! Не может того быть!

Мальчик смотрел учителю прямо в глаза. Ждал. Не верил, что тот не знает. Сергей Данилович не отвел взгляда. Виновато, медленно покачал головой.

Первая же встреча подломила веру во всезнание учителя.

Мальчик совсем опал духом.

— У меня брат большой... В третьем... Может, он знает?

В больном нетерпении мальчик рывком вышел из-за парты, будто выпал, и, не спрашивая разрешения, засеменял, срываясь на бег, к двери.

В соседнем классе, куда влетел, он ожегся о добрую сотню глаз. Старчески скрипнула дверь — ребята оторвались от тетрадей, заулыбались ему. Мальчик смешался, заробел и дальше от порога не посмел шагнуть. Поднялся на цыпочки, суматошно запрыгал глазенками по лицам. Ловил Глеба.

— Эй, канарейка в золотой короне, в ту ли дверку изволил вломиться? — в ладошки рупором гахнул в удивленной тишине мальчишка с хохолком.

По классу пробежался, разминаясь, легкий смешок.

Все это время учительница стояла с мелом у доски, сбоку наблюдала за вошедшим. Наконец напомнила о себе:

— Молодой человек, вы к кому?

— Тольке не к вам, тетечка! — с досадой отмахнулся непрошенный гость, продолжая глазами искать братчика.

Где-то на задах встал Глеб.

— Марь Ванна, это ко мне, — сказал Глеб и подошел к Антону. — Что еще за номерушка?

— Там, — Антон повел рукой в сторону своего класса, — учитель спрашивает, как звали отца... А я... а я... н-не з-з-зна-а...

Мальчик уронил лицо на кулачки и горько-пронзительно заплакал во весь голос.

За ужином мама блаженствовала, услужливо подливала Антону в миску с мамалыгой молока.

— Ну, як? Вкусно?

— Да есть можно...

— Ну ешь, ешь, сыночок... Цэ молочко от комолихи Маньки. От комолой козы молочко козлятиной не шибает... Саме лучшее. То я всегда доила сподряд всех в одну банку. А тут, думаю, дай-ка я Манюшку отдельно сдою в литру. Антошику нашему на вечерю...

— Ма, — ересливо отдул губы Глебка, — а чего это вы так?.. Кто говорил про нас: какой палец ни ущеми, всяк болит? Вы-ы... Без обидки всем было одинаково во всем. А сегодня... Он цаца какая иль подвиг какой нечаянно увершил, что вы особнячком от нас с Митькой его умасливаете?

— Да Глеб, да сынок, да нехай один разушко за всю жизнью! — взмолилась мама. — Он у нас меньчий ото всех. Первый раз сходил в школу. Праздник! Эге ж? Так нехай, хлопцы, цэ ему в подарок пойдет!

— Если так, пускай, — отходчиво проворчал Глеб.

Антон покосился на него важно. Ну что, выплакал, плакучка?

— Антоша, — сказала мама, — давай доедай. А в смотрелки пося наиграешься. Лучше проскажи, как там школа.

— А что школа? Стоит... Не качается...

— Хоть одну пятерку ущипнул? Тебя уже спрашивали?

— Спра-ашивали. Про папку. Как звали.

— Ты сказал?

— Глебка сказал.

В беглых словах Глеб объяснил, как все свертелось. И как Антон вошел к нему в класс на уроке, и как его искал, и как уже вдвоем пошли к Сергею Даниловичу...

Слушала мама, смотрела перед собой и ничего не видела.

— Вишь, — тужила она, — бумага еще когда была... В сорок третьем помер в Сочах от ран. В Сочах и сховали чужие люди... Нема по бумаге человека, а он живет в ваших именах... — Измученная улыбка шатнулась в ее глазах. — Так ты, Антоша, и не знал, как тебя по батюшке?..

— Да откуда, ма, — возразил Митя, — ему и знать?.. Был не выше чёбота. Уходил батько на фронт рано утром, все хотел его на руки взять. Чтоб не застудить, сгреб с койки вместе с одеялишком. А он — в крик, ногами как замолотит отца по лицу. Свое отчество по лицу... Почему ты, Антоха, не хотел идти к нему? Ты же видел его в последний раз... Не простились. Ты так и не пошел к нему на руки. Поцеловал он тебя в пятку — и выпустил. Ты убежал и все со слезами кричал: «Айда вместех не пойдём на войну!»

Мама в печали вздохнула:

— Ушел... Сгиб батько...

Слеза воткнулась в миску и потерялась, утонула в молоке.

— Да вы, ма, не плачьте, — сказал Глеб. — А то не поймете, с чем у вас каша. С молоком или со слезами.



Татьяна ЛАШУК

ДЕВОЧКА И ВОЙНА

Р а с с к а з

Последнее нарядное платье мама сшила мне ко дню рождения. Из сатина в черно-белый горох и с рукавами-фонариками, а еще у него был черный поясик, который завязывался сзади на бантик.

Мама была очень хорошей портнихой. Все наши соседки носили расклешенные габардиновые пальто, которые им сшила моя мать. А гродненские модницы, когда хотели себе что-нибудь особенное, непременно шли к Розе Майер, и тогда мама на своей неутомимой швейной машинке Singer творила роскошный вечерний туалет, и главной наградой для нее были не столько деньги, сколько счастливый взгляд светившейся от удовольствия клиентки. Однажды она даже сшила горжетку из черно-бурой лисы.

Я росла, разглядывая цветные рисунки и тусклые фотографии в журналах мод, играя обрезками тканей, и даже выучила их волшебные названия: приятно скользил в пальцах гладкий прохладный креп-сатин, мягко касались ладони плотный бостон и ворсистая «ткань королей» — узорчатый панбархат... Все эти изыски с трудом доставлялись из Риги или Львова и были, конечно же, доступны далеко не всем горожанкам. Кстати говоря, обрезки кожи и лоскутки охотно покупал сапожник Яков Кохман: умелец вырезал из дерева каблук-танкетку, пришивал хлястики и затем торговал модной обувью «как из самого Парижу».

Давайте я еще немного расскажу вам о моей матери. Я хочу, чтобы как можно больше людей узнало о том, что Роза Майер была не просто красивой и хорошей женщиной, — она, как говорили в то время, умела подать себя. Даже духи пахли на ней по-особенному приятно. Когда другие женщины носили платок, просто подвязывая его под подбородком, мама из своего соорудила крупный узел кончиками наверх на манер очень модного в ту пору тюрбана. Скромные юбки до колена и блузки с широкими подкладными плечиками сидели на ней как на модели из журнала.

Наш счастливый мир, наш родной город и нашу любимую семью разрушила война. Тогда, еще в самом начале этого проклятого обманчивого лета, слово «война» взрослые произносили часто. Даже приезжавшие на рынок крестьяне об этом говорили. «Но, конечно, немцы боятся товарища Сталина. Он не допустит», — добавляли в конце. А я знала, кто такой товарищ Сталин. Он мудрый, добрый и справедливый вождь, и его фотографии часто печатали газеты. И когда на газетной странице была фотография товарища Сталина, с этой страницей уже нельзя было сходить в уборную ни в коем случае.

А потом я на своем опыте узнала, что такое война. Двадцать второе июня было воскресенье, и мы все проснулись под утро от ярких вспышек света за окном и странного гула и грохота. Мой трехлетний братик Авраам решил, что это гроза, и заплакал: он всегда боялся грозы, а надо было бояться войны.

И скоро мы увидели немцев, которые бесконечным потоком занимали наш город. Я посмотрела на них сверху, с нашего балкончика: они ехали на мотоциклах и бодро маршировали, одинаковые в своих похожих на тазики касках. Впрочем, смотрела я на них недолго: мама хватилась меня, вцепилась в руку и утащила назад в комнату. И еще выбрала, что я выскочила босиком: война войной, а на девочке должны быть белые носочки и сандалики.

А потом наступил черный день, пятое июля. В этот день немцы пришли за моим отцом. Оказывается, они накануне составили список из сотни наиболее авторитетных и образованных евреев и решили их расстрелять для устрашения горожан.

Наш сосед Исаак был зубной врач, поэтому немцы его решили пощадить ради своих зубов. А мой отец был бесполезным учителем математики, поэтому за ним пришли.

Мой папа Соломон Майер был такой высокий, добрый и умный. Ему очень шли сшитые мамой костюмы и галстуки, а еще он носил круглые очки. Он научил меня читать и считать, и в школе мне все завидовали, что мой отец учитель.

Папа тогда оделся, и мама повязала ему лучший галстук. И папа неожиданно обнял и поцеловал маму прямо в губы долгим-долгим поцелуем — чего раньше при нас никогда не делал. И маленькому Аврааму это зрелище так понравилось, что он засмеялся и захолопал в ладошки.

— Я тебя очень люблю, Роза! Это единственное, что я сейчас могу тебе с уверенностью сказать, — очень спокойно сказал он маме. — И еще я верю, что эта война когда-нибудь закончится, ее просто надо пережить. Постарайся поменьше плакать... ради детей.

Он поцеловал плачущую меня, подержал на руках довольного Авраамчика и ушел с конвоем.

Мама села и начала его ждать. Вечером мы узнали, что арестованных вывели за город и там расстреляли.

Мама, по просьбе папы, действительно плакала совсем немного. Вместо этого она изменилась и стала какой-то очень спокойной, собранной и молчаливой. Словно ей что-то изнутри запрещало позволить себе лишнее движение, слово или даже ласку по отношению к нам, своим детям. Она и прическу сменила: раньше укладывала волосы в пышный валик надо лбом, а сейчас просто заплетала косу и скручивала ее в баранку на затылке.

Но мы уже привыкли, что мир постоянно менялся и стал очень непонятным и страшным.

В ноябре мы лишились и своего дома, потому что нас с мамой переселили в гетто. Помню, как мы долго стояли в длинной очереди перепуганных, растерянных людей с мешками, в которых были их пожитки. Все золотые вещи нужно было обязательно отдать: я помню, как мама совершенно равнодушно вытащила из ушей сережки, которые ей подарил еще дедушка на совершеннолетие, и бросила их в большой ящик на входе. Вот у кого были золотые коронки — тем пришлось тяжелей и больше.

Наше гетто было № 1 и еще называлось «продуктивное» гетто: сюда немцы по спискам отобрали тех, кто, с их точки зрения, был наиболее полезен: квалифицированных рабочих и кустарей. Гетто находилось на Burgstraße — бывшей Замковой улице, неподалеку от синагоги, за огромным двухметровым забором, и его комендантом был Курт Визе. Нам с мамой выделили место в маленькой комнате, пополам с еще одной еврейской семьей из четырех человек. Оказалось, что это нам еще очень повезло: в гетто № 2 — или, как его называли, «непродуктивном» — теснота была еще более адской, некоторые люди даже спали сидя на полу, потому что не могли вытянуться и прилечь, а здания были очень старыми и иногда непригодными для жилья.

В правилах гетто утверждалось, что на одного еврея выделяется один квадратный метр площади, но, конечно же, это не соблюдалось. На воротах была сделана надпись, что в городе проживает шестьдесят тысяч человек, из которых тридцать тысяч — евреи, но немцы, несомненно, стремились уменьшить эту цифру своими законами и действиями.

Тем не менее люди старались быть мужественными и помогать друг другу, особенно поначалу, но тяжелые запахи, насекомые и постоянное соседство бок о бок с чужими людьми делали жизнь совершенно невыносимой.

Чем занималась в гетто моя мама? О, немцы знали, что она портниха, и не оставляли без работы. Поэтому мама без отдыха, как заведенная механическая кукла, строчила на дозволенной ей швейной машинке белые нарукавные повязки с синей шестиконечной звездой. Эти повязки должны были носить все жители гетто, начиная с десятилетнего возраста. За них мама получила на себя и на детей по двести граммов хлеба в день и немного жесткой невкусной конины. Однажды для медсестры-немки она

сшила белье из парашютного шелка: такое белье очень ценилось, потому что в нем не заводились паразиты, и клиентка расплатилась с ней бесценными бинтами, пузырьком спирта и шоколадкой.

Потом вместо повязок распорядились носить всем евреям на одежде просто желтую нашивку в виде звезды Давида, и мы с мамой столько изрезали ножницами желтой ткани, что я до сих пор с ужасом и отвращением смотрю на желтый цвет.

Всех мужчин гетто с самого утра выгоняли на работы. Они рыли, подметали, копали и строили до наступления темноты. Их могли ударить или расстрелять даже просто за попытку выпрямить спину и передохнуть. Однажды отряд рабочих загнали в Неман и там держали в воде, пока люди не утонули все до единого.

Потом немцы изобрели забаву под названием «патефон». Они заставляли еврея залезать на перевернутую тачку, стоять на ней на одной ноге и петь еврейские песни.

Когда еврей падал от усталости, его расстреливали. И ставили вместо него другого.

Однажды коменданту Визе зачем-то понадобился бухарский ковер и он потребовал от общины принести ему ковер немедленно. Но практически все предметы роскоши уже были изъяты, и ковер не доставили. Тогда комендант посадил в подвал раввина и с ним еще десять евреев и объявил, что будет расстреливать в час по еврею, пока не дойдет до раввина, если ковер ему не достанут.

Когда несколько трупов уже выбросили на улицу, вдруг кто-то вспомнил, что такой ковер есть у ксендза. К счастью, священник (безвозмездно или за выкуп — говорили разное) отдал свой ковер и таким образом спас несчастных узников.

А однажды нас вывели на публичную казнь. Вешали самую красивую девушку в Гродно Лену Пренскую. Якобы за то, что она вышла из гетто без разрешения и без звезды на платье. Хотя люди шептались, что на самом деле она бесстрашно плюнула коменданту Визе прямо в лицо и пообещала, что его смерть будет как у бешеной собаки. Ее вывели на балкон, а нас расставили по всей улице плотными рядами.

На балкончике были железные кованые перильца, и вот к ним палач крепко привязывал конец веревки, петля которой была уже на шее бедной девушки.

— Не смотри, — сказала мне мать и развернула лицом к себе. Я сначала послушалась, а потом, потому что это все было жутко и вместе с тем интересно, все же оглянулась. Как раз когда палач перебросил тело Евы через перила и она повисла, широко раскачиваясь, над мостовой.

Мой вопль, наверное, был громче всех возгласов ужаса и стона толпы. И долго еще потом ночами я не могла уснуть и видела перед собой странно свернутую набок голову повешенной. Мама тихо-тихо рассказывала мне сказки, а я не слушала ее и думала, что меня точно так же повесят.



Время шло, я словно отупела и перестала всего бояться. На самом деле это и было самое страшное, потому что нам стало казаться, что это не наша действительная жизнь, а просто бесконечно повторяющийся страшный сон, а стоит ли во сне бороться? Еще и от постоянного голода не хотелось двигаться, сопротивляться, переживать...

Такими полусонными мухами стали многие вокруг. Но не моя мать. Она все еще разрабатывала планы и была по-настоящему жива.

Евреев стали сотнями грузить на поезда и вывозить из Гродно. Немцы говорили, что вывозят на работу в Германию, где очень хорошие условия труда и свобода. Но люди шептались, что на самом деле людей везут в какие-то лагеря и там сжигают в специальных страшных печах.

Однажды на ночь мама накрутила мне волосы на тряпочки, чтобы образовались локоны.

— Мама, зачем? — удивилась я.

— Чтобы ты была красивой, — сказала она.

Той же ночью, когда мы, как обычно, спали рядом с ней на полу, подстелив ее пальто, она тихо прошептала мне прямо в самое ухо:

— Послушай меня, моя девочка. Завтра утром, когда мы все пойдем на поезд, тебе предстоит приключение.

— Приключение?!

— Да. Тише, тише. По пути тебя возьмет за руку незнакомая тетя и скажет, что ты ее дочка. И ты должна с ней поиграть в эту игру и потом пойти с ней.

— А ты, мамочка? А Авраамчик тоже пойдет с ней?

— Нет, моя хорошая. Мы уедем на поезде, а ты должна остаться.

— Нет, мама, пожалуйста! Я ни за что не хочу... — Я заплакала и вцепилась в ее шею, стала хватать за руки, волосы и лицо.

— Тише, тише. Ты помнишь, что сказал нам папа? Надо просто пережить эту войну. А это значит, мы их победим. Сделай это ради меня и ради папы.

— Хорошо. А ты потом вернешься и заберешь меня, да?

— Мы с тобой обязательно встретимся, моя девочка. И я буду гордиться тобой.

Утром моя голова была вся в праздничных локонах. Мама еще и повязала мне бант и надела на меня то самое нарядное платье в горошек. Я уже не удивлялась и не протестовала, так как вокруг царил суматоха и движение. Но мой братик крепко спал на плече у мамы: она все продумала до мелочей и дала ему какое-то лекарство. На одной руке мама несла ребенка, а другой тащила тяжелый чемодан, но тем не менее мы шли быстро со всей толпой.

Я уже почти забыла, о чем мне ночью говорила мама. Как вдруг на Adolf Hitler Straße кто-то вцепился мне в руку, вырвал из людского потока, и одновременно женский голос громко и истерично заголосил надо мной:

— Сучья ты дочь! Вот куда тебя занесло! Ну, я тебе задам, ты у меня это запомнишь...

Незнакомая женщина яростно трепала меня за волосы и даже шлепала по задку, а я совершенно не понимала, что происходит.

— Was ist passiert? — спросил подошедший к нам конвойный. — Zurück, zurück!*

— Nein, nein, es ist ein Fehler! Sie ist verloren gegangen! — горячо запротестовала незнакомка. — Dieses Mädchen ist keine Jüdin. Sie ist meine Tochter. Sie sehen doch, dass wir beide blonde Haare haben, oder?***

Завороженный родной речью немец уставился на меня.

Кого он в эту решающую минуту видел перед собой? Светловолосую перепуганную девочку в нарядном платье и туфельках, такую непохожую на замученных и потрепанных еврейских детей из гетто.

— Gut, — смягчился он. — Passen Sie besser auf Ihre Tochter auf!***

И он поспешно пошел за толпой, которая уже увлекла за собой моих самых любимых людей.

Я хотела закричать и броситься догонять их, но меня держали крепко.

Моя самозваная мать отвела меня к себе домой и накормила кашей.

Потом она вывезла меня из города, где меня слишком многие знали, в деревню Лососно, и там меня приютили по-настоящему добрые люди.

Я больше никогда не видела мою маму и братика.

Когда война закончилась и немцы ушли, меня отдали в детдом.

Возможно, вам хочется узнать мое имя?

Но это совершенно не важно. Важно другое. Я просто одна из тысяч маленьких девочек, которые смогли выжить в этой войне.

Я — девочка, победившая войну.



* Что случилось? Назад, назад! (Здесь и далее пер. с нем.)

** Нет, нет, это ошибка. Она потерялась. Эта девочка не еврейка. Она моя дочь. Вы же видите, что у нас обеих белокурые волосы, не так ли?

*** Хорошо. Но присматривайте за вашей дочерью получше.

Алексей ИВАНТЕР

АРТЕЛЬ

Акулина

Вдова жила за старой фермой
На берегу большой реки.
Была изба от речки — первой,
Сюда и плыли рыбаки.

Краснела горькая калина
За огородом, над водой.
И злая кличка — Магдалина —
Прилипла к бабе молодой.

В деревне, сплетнями богатой,
В мешке не спрячешь мужика,
Чьи лодки к пристани горбатой
Несла широкая река.

И взглядом детским любопытным,
В очках, с рахитной худобой,
За бытом вдовьим и постыдным
Я наблюдал за городьбой.

Ах, Акулина, Акулина,
Погасли окон огоньки,
Но та же старая калина
Цветет весною у реки.

И лодки крепкие другие
Стоят за старой городьбой,
И ходят женщины нагие,
Не осужденные молвой.

Ах, Акулина, Акулина,
То Магдалина, то Чума —
Крещеньем схоронила сына
И прибралась за ним сама.

И у натопанной дорожки
От серых кнехтов до сеней
Давно не светятся окошки,
Кому-то нужного нужней.

А на обломанной калине
Скворечня старая жива...
Об Акулине-Магдалине
Прими, Господь, мои слова...

* * *

Юрию Кучумову

Ночью болят то колено, то локоть, меньше бы пил, не болели б, поди, время полнощное — копоть и деготь, память о женщине камнем в груди. Вспомню друзей, Николая и Мишу, — сразу горячей волной по душе, я голоса их далекие слышу с лодки, застрявшей в речном камыше. Жизнь коротка, и идешь чигирями, прыгаешь вверх серебристой плотвой, были друзья у меня рыбаками, если рыбарь, то, наверное, свой. Где их искать — на Оке или Каме, в теле прозрачном у царственных врат? Были друзья у меня мужиками, если мужик, то, наверное, брат. Русская жизнь или русская водка всех увела к полунощной звезде, тихо плывет плоскодонная лодка, тень на воде.

Артель

Рубили в лапу и в обло
И собирали из лафета,
И было в комнатах светло,
Наматерённо и напето.

Щербатый плотник, взяв топор,
Такие загибал побаски,
Что я их помню до сих пор,
Как деревенские колбаски.

Нам приносила молоко
 Доярка в ветхое жилище,
 Ей было близко и легко,
 А мужикам потребна пища.

А ей потребен был мужик,
 И был ей выделен артелью
 Без шуток или заковык
 Антоныч, с водкой и постелью.

И за фанерною стеной,
 Не утрудив себя речами,
 На весь сарайчик дровяной
 Стонала женщина ночами.

Убито спали мужики,
 И комары кругом звенели,
 И паром северной реки
 Тянуло в форточку и щели.

Мы уплывали впопыхах,
 Стянув ремнями одеяла...
 И, как положено в стихах,
 На пирсе женщина стояла

На оплывающей заре,
 С улыбкой горькой, неживою,
 Не замечая, что в ведре
 Листва и хвоя.

* * *

За нашей жизнью неудачной,
 кривой на карте межевой,
 живет себе поселок дачный —
 неподцензурный и живой.
 И три военных инженера,
 не уходящих на покой, —
 Мария, Катя, Гнутых Вера —
 сидят над узкою рекой.
 Им все америки до фени,
 зато о Черчилле — сыр-бор

и удобрения растений
неугасимый разговор.
И мысль без всяких перекрытий
течет, как чистая вода,
и проникает вглубь событий,
давно ушедших в никуда.
А за рекою пашет трактор,
и грядки делает народ,
хоть термоядерный реактор
понятней тут, чем огород.
И, все постромки обрывая,
кого вовек не устеречь, —
летит прекрасная, кривая,
родная речь.

Пушкин

Черемушки или Битца;
черемуха, тополя,
понятные сердцу лица,
родная моя земля.
Черемухой город дышит,
дворы заросли травой,
и весь голубями вышит
пейзаж с заводской трубой.
Мне воздуха что-то мало,
а бронхи — как крючья рвут;
и вспомнить не может мама,
как внука ее зовут.
Но днем и бессонной ночью
из путаной головы
ведь каждую помнит строчку
любой — назови — главы.
Очков поправляя дужки —
без них уж совсем беда, —
вдруг скажет: «А все же Пушкин,
вот Пушкин — он все же да!»
И в голос добавит звука,
как сына зовя домой...
Ведь Пушкин важнее внука
и жизни давно самой.

* * *

Вере Кузьминой

Где в каждой щели жило по умельцу —
 Легко чинить любую дребедень,
 Ходили по парадным погорельцы
 И нищенки из дальних деревень.
 В обуви сбитой, вида никакого,
 Как беженцы в минувшую войну.
 Но из такого люда городского
 Я с детства помню нищенку одну.
 Она ходила, денег не просила,
 Как божьи люди ходят по Руси.
 Когда еду ей мама выносила,
 Она шептала: «Господи, спаси».
 И посреди ночного Ленинграда,
 Спустя полвека, зримо вижу сам:
 Все пять детей, погибшие в блокаду,
 За ней идут по русским небесам.

* * *

Вмещаю в памяти, вмещаю год девятнадцатый другой — вокзал с чугунными печами в России, выгнутой дугой. Я через век смотрю и вижу, дышу и чую пот и гарь шинелей, сброшенных поближе к печи, и святочный январь пуржит и лязгает затвором, докурит, выбросит бычок и подберет за разговором, Ростов подложит под бочок. Из пулемета с водокачки над степью стыллой и сухой свистят кубанская балачка и гуторованый донской. И я — с оторванным погоном, с тупою болью нутряной — дышу махрой и самогоном и речью южною родной.

Как пулеметная тачанка, всегда готовая к войне, родная женщина, гречанка, — оттуда мне.

* * *

В степи августовской соловой
 У старой столовой лежит
 С посудой полулитровой
 Непризнанных войн инвалид.

Недужный и бабам ненужный,
 Лежит он на желтой траве,

Растерянный и безоружный,
С кубанкою на голове.

Он «Русскую» вечером купит,
Откупорит, ляжет мертво,
И как через труп переступит
Буфетчица через него.

Он пылью степной пропылится,
В ночной постучит общепит...
А утром проснется станица —
А он над станицей летит.

* * *

Холмы пологие за Керчью и куст, объединенный козой...
Вечерний воздух переперчен и сух, как склон перед грозой.
И в этой сухости и жаре на стульях, вытертых до дыр, сидят
поджарые татары, блюдут тандыр. И пахнет хлебом и жили-
щем, и догоревшим сушняком, асфальтом, выменем и пищей,
овечьим кислым молоком. Тут тесто мнут, как судьбы рода, и
вместо лозунгов и скреп с наречьем крепкого народа мешают
хлеб.
Я преломлю самсу мясную, и выйдет пар, как дух живой, в
грудную клетку и земную с луною и сухой травой. Пейзаж
откатится налево — холмы и низкие дома, и запах чабреца и
хлева, и жизнь сама.

* * *

Выйти в кунгурской Шадейке, встать на Онежской губе,
утром черпнуть из бадейки щедро рассола себе. Запах ваго-
нов купейных, хопперов грохот и пыль мальчик в летах нешу-
тейных помнит как сладкую быль. Помнит он грохот депов-
ский, вид на шестнадцатый путь, крепкий чаёк стариковский,
краткое русское «будь» и, как другие языки непокоренных
чужбин, длинные женские вскрики из тепловозных кабин.
Жизни подъемная сила нам ни добро и ни зло — пресное те-
сто месила, крепко брала за крыло. Но в переулках москов-
ских, черт же ее побери, правда устоев деповских тукает сле-
ва внутри, где от весны сумасшедшей, с низкого неба сошед,
женщины, в марте ушедшей, тающий след.

Виктор ВАССБАР

ВОЙНА — ТЯЖЕЛАЯ РАБОТА

Р а с с к а з ы

Солдат Кучеров

1. Ботинки

Кучеровы жили в Барнауле, в районе старого базара. Осенью тысяча девятьсот сорок четвертого года Николаю — семнадцатилетнему пареньку пришла повестка: он призывался в ряды Красной армии. Провожал Николая отец, списанный с воинской службы по ранению, полученному в боях под Сталинградом. Мать из-за болезни ног осталась дома: ей невмочь было идти пешком через весь город до сборного пункта — железнодорожного вокзала. На дорогу Николаю выдали по котелку вареной и сырой картошки, купили на базаре булку хлеба за сто рублей и крынку сливочного масла. Соседи тоже поделились провизией, принесли, что могли: репчатый лук, вареные яйца, соленую рыбу... А тетка Глафира, получившая в первый год войны сразу две похоронки — на мужа и сына, подарила Николаю две пары шерстяных рукавиц.

— Сыночку и Степану моему берегла, да, видно, не судьба. Носи на здоровье, Коленька! — сказала, посмотрела в глаза, вздохнула горестно, перекрестила и пошла, склонив голову, к своему дому, где теперь долгими ночами в одиночестве орошала слезами подушку.

Дорогой отец спросил:

— Колька, тебе мать носки-то дала? А то зима, холодно...

Переживал за сына — знал, что такое фронтовые дороги.

— Вроде какие-то дала, — ответил Николай.

— Вот и хорошо. Ноги не обморозишь. В ботинках-то оно, знаешь, несладко, коли носков теплых нет. Ты, когда обувку-то давать будут, бери на размер больше. Ежели что — тряпку какую-нибудь на ногу накрутить можно. Все ж теплее будет.

Ботинки Николаю выдали американские, с толстой кожаной подошвой, впитывающей в себя воду. Пока ехал в эшелоне, хорошо было —



тепло и сухо, а когда в учебную часть в ротном строю шел, ноги насквозь промокли. Вода в ботинках хлюпала, было сыро, неудобно, холодно. Все же не лето — начало зимы. Как только в часть прибыли, Николай, недолго думая, подошву оторвал: думал, здесь ему другие ботинки, советские, дадут. Но вышло, как говорится, через дышло. Старшина роты увидел рвань на ногах новобранца, понял, что тот сотворил с обувью, и пришел в бешенство. Посадил расхитителя — именно так он и выразился: «расхитителя государственного имущества» — на трое суток на гауптвахту.

Но на следующий день прибыл в учебный центр какой-то высокий командир и решил первым делом осмотреть солдатскую кухню, а потом направился на гауптвахту.

Пришел, увидел новобранца в рваной обуви, спросил:

— Почему ботинки без подошвы? За что сидишь?

Рассказал ему Николай, как все было, ничего не скрывая.

Хмыкнул командир, головой качнул, пальцем Николаю погрозил и приказал немедленно освободить его и выдать новые, советские ботинки. Уходя, сказал:

— Оно и верно, наше всегда лучше американского! За что же сажать солдата — за то, что свое, советское, обмундирование читит, а не заморское? Он патриот! Хотя, — тут он снова погрозил Николаю пальцем, — чтобы это в последний раз было! Как-никак и за американское обмундирование плачено нашими советскими рублями!

2. В разведке

Однажды учебный центр подняли по боевой тревоге. Подогнали два поезда, погрузили молодых необстрелянных солдат в вагоны и повезли в Прибалтику — на освобождение Восточной Пруссии.

Стрелковый полк, куда зачислили Николая, занял рубеж на западной окраине города Мариямполь в Литве и ждал приказа о наступлении.

Рота старшего лейтенанта Нифонтова, в которую попал Николай, расположилась недалеко от небольшого лесного массива, за которым в двенадцати километрах — так командир роты определил по карте — находилась литовская деревня.

Вызвал комроты рядового Мефодия Прохорова и сказал:

— Закавыка небольшая есть. Деревенька впереди, за лесом, а какие силы в ней — не знаем. Наступление скоро, ребят молодых, необстрелянных жалко — полягут ни за понюх табаку, ежели напропадут поперем. Тебе, Мефодий, поручаю разузнать, что и как с той деревней. Ты солдат бывалый, смекалистый, войной обученный. Подбери кого-нибудь сноровистого из молодых и отправляйся с ним в разведку. Деревеньку внимательно осмотрите, разузнайте, есть ли в ней немцы и сколько их. В бой не ввязывайтесь, разберитесь, что и как, и обратно. Есть у тебя кто-нибудь на примете?

— Кучерова думаю взять. Присмотрелся к нему в учебном центре. Парень шустрый и с головой.

— Что ж, Кучеров так Кучеров.

Мефодий с Николаем вышли не мешкая, но быстро дойти до цели не рассчитывали. Дело было к вечеру. Двенадцать километров вроде не так уж много, но это если в мирное время, прогулочным шагом по проспекту, а тут все-таки война и лес, где за каждым кустом и бугорком мог оказаться враг.

Впрочем, лесополосу прошли тихо, как будто и нет никакой войны. Вышли в поле, под ногами захлюпала густая, липкая смесь земли и сгнившей травы. С запада тянуло дымом из печных труб. Бледное, словно обескровленное, зимнее солнце спряталось за горизонт, и чужая, опасная тьма окутала двух советских бойцов. Ускорили шаг, при этом стараясь как можно тише хлюпать по грязи.

До деревни добрались только с первыми проблесками утра. Осмотрели ее в бинокли, прислушались, подобрались к крайнему строению, заглянули в сонные окна — никого. Так, от дома к дому, исследовали почти всю деревню из десятка дворов. Остался одинокий дом на взгорке, вплотную прилепившийся к редкой рощице с облезлыми деревьями.

От него к деревне тянулась хорошо утрамбованная дорога. Справа от нее, на лысом поле, упиравшемся в лес, стоял ровный ряд стогов.

Перебегая от стога к стогу, разведчики приблизились к дому на взгорке — и тотчас услышали скрип открывающейся двери, а следом — немецкую речь! Залегли и стали наблюдать за домом в бинокли. Вскоре с протяжным тонким скрипом открылись ворота, и со двора вышли подросток лет шестнадцати-восемнадцати и старик. Юноша вел за узду лошадь, запряженную в телегу.

— Стой! — резко выкрикнул Мефодий, как только телега поравнялась со стогом.

У паренька руки мгновенно обмякли и выпустили уздечку. А у старика вытянулось лицо, нижняя челюсть отвисла, показав рот с редкими гнилыми зубами, так что он стал похож на безумца. Юноша первым оправился от испуга и, заикаясь, что-то залепетал, тыча пальцем в сторону леса.

— Как думаешь, о чем это он? — спросил Николая Мефодий.

— Не знаю, — пожав плечами, ответил Кучеров. — На своем литовском что-то бормочет. А мы приняли за немецкий... Хотя один черт — мы-то ни в том, ни в другом не ферштейним.

— Да все понятно! Слышишь, «дойч» говорит и показывает на лес.

— И что с того?

— А то, что фрицы там, в лесу, вот что! Надо бы этих двоих еще порасспросить.

— И как? Они же русский не знают...

— Сейчас проверим, что они знают, а чего не знают, — сказал Прохоров и ткнул автоматом в грудь юноши: — Во ист дойч? Там немцы, что ли, в лесу?

— Дойч, дойч! — поспешно ответил тот, все так же указывая пальцем на лес.

— Ну вот, и что тут непонятного?!

Мефодий похлопал паренька по плечу и вопросительно посмотрел на Николая.

— Оно, конечно, надо бы разведать... — поняв, о чем молча спрашивал Прохоров, нерешительно сказал Николай. — Только нам приказано разузнать о деревне — и сразу обратно...

Стали думать, как быть. Вроде нет фашистов в деревне — а вроде как и есть...

— А, пошли! — махнув рукой, решил Мефодий и повернулся в сторону леса. — Мы быстренько!

Примерно через час бойцы увидели немцев. Те расположились лагерем за лесополосой, в чистом поле, где ни деревца, ни кустика, лишь высохшая высокая трава.

Разведчики залегли в густом травяном сухостое.

— Видишь, машины стоят? — спросил Мефодий, глядя в бинокль.

— Вижу, да что толку? — ответил Николай.

— А толк такой. Машин всего восемь. Четыре — с одной стороны лагеря, и четыре — с другой.

— И что?

— Ты сделаешь растяжку около тех, что ближе к полевой кухне, а я — у тех, что на другом конце.

Разделились. Николай подполз к машине, открыл бензобак, поставил растяжку, замаскировал ее и возвратился на начальную позицию. Через пять минут к нему присоединился Мефодий.

— И что теперь делать? — спросил его Николай.

— Ждать, — ответил Прохоров.

Через полчаса в лагерь приехал еще один грузовик с немцами и встал рядом с полевой кухней. Солдаты стали выпрыгивать из кузова и расходиться по базе. Тут кто-то из них на растяжку и напоролся. Прогрел взрыв. Немцы забегали по лагерю, и через пару минут и в другой его части тоже взорвалось...

А наши бойцы вернулись в расположение роты, доложили о результатах разведки своему командиру — старшему лейтенанту Нифонтову, тот — комбату, а тот, в свою очередь, — командиру полка. Вызвал комполка героев-разведчиков и устроил им... нагоняй:

— Вас зачем послали? Просто проверить деревню. А вы? Уничтожили немецкий лагерь!

Потом улыбнулся и объявил благодарность.



3. Санитарочка

— Нет, что ни говори, у нас в Сибири зима, она и есть зима — морозец, под ногами снежок пушистый поскрипывает. А тут конец декабря — и промозглость, сырость, ветра... — уныло говорил Николай. — В такую погоду руки чешутся — взял бы и тут же побежал немца давить! Из-за него ведь сидим в слякоти и мерзнем...

— Ты не егоди в окопе-то, не высовывайся! — одернул его сидящий рядом рядовой Федор Пантелеевич Белоусов. — А то, не ровен час, снайпер снимет. Их тут как... как... вот... — Он посмотрел себе под ноги. — Как этой грязи, я тебе скажу!

— Да это я так, Федор Пантелеевич. Чтобы, значит, настроение себе поднять. Уж больно немца бить хочется! Злой я на него нынче.

— Почто же нынче, а не завсегда?

— Оно, конечно, завсегда я на него злой, только вот нынче уж особенно. Как вспомню санитарочку нашу, душа переворачивается!

— Даст бог, жива будет наша Танечка. Только вот, — Федор Пантелеевич шмыгнул носом, потер глаза, — руку-то ей, голубушке, не спасут...

— Знаю. Я ведь рядом был, все видел своими глазами. Залегли мы, значит, в этой разведке боем. Я стреляю, а рядом сержант наш — командир отделения, значит, — тоже крепко ругается и стонет. И тут Танечка, маленькая, юркая, змейкой к нему подползла. Вижу я, у сержанта рука перебита, болтается на жилах. Танечка в сумке санитарной шарит, ищет что-то, а потом говорит мне жалобно так: «Дырка... Ножницы потеряла!» И у меня ни ножниц, ни ножа, только штык есть. Она вздохнула, глаза закрыла — и зубами в руку сержантскую! Перегрызла жилки те, — иначе никак было руку не перевязать. Забинтовывает культю-то, а сержант ей и говорит, в горячке, видать: «Скорей, сестра! Наступать надо! Фашистов бить!» Тут рядом ухнуло. Мне хоть бы что, сержанту полголовы снесло, сестричка стонет... Я к ним, а у нее левая рука в кровище. Как смог, перебинтовал и волоком потащил Танюшку к своим. Там уж потом узнал, что руку ей не спасти, кисть висела на ниточке...

— Да-а-а! — смахивая слезу с глаз, тяжело вздохнул Федор Пантелеевич. — Девоньке-то всего девятнадцать лет. Красивая... Ну, жива, это самое главное!

4. Невероятная погоня

На следующий день полк форсировал реку Шешупа — левый приток Немана и с тяжелыми боями стал продвигаться вперед по Восточной Пруссии в сторону Кенигсберга.

Штурм Кенигсберга начался мощной артподготовкой, затем, в полдень, под прикрытием огневого вала в наступление пошли танки, пехота

и самоходные орудия. Согласно плану, укрепленные вражеские форты блокировались стрелковыми батальонами и ротами при поддержке самоходных орудий, которые подавляли вражеский огонь, а основные силы обходили их и двигались дальше.

Противник упорно сопротивлялся, однако к исходу дня наши войска вклинились в его оборону на несколько километров и перерезали железную дорогу Кенигсберг — Пиллау, а спустя два дня захватили порт, железнодорожный узел города, промышленные объекты и отрезали гарнизон Кенигсберга от «земландской» группировки немцев. Восьмого апреля фашистам было предложено сдаться. Они отказались и продолжили сопротивление. Некоторые части городского гарнизона попытались отступить на запад, но были перехвачены 43-й армией.

В этот день произошел удивительный случай, о котором потом долго говорили в полку.

Рота старшего лейтенанта Нифонтова атаковала фрицев в предместье города и укрылась в кирпичных развалинах.

Николай с Мефодием, крепко сдружившиеся после совместной разведки, вырвались вперед и вели огонь по врагу из-за полуразрушенной кирпичной стены, как вдруг с тыла пополз густой белый дым и уже через минуту окутал все непроглядной пеленой.

— Слышь, Мефодий! Рота-то наша позади осталась! — встревожился Николай.

— Ну, значит, мы первые и медали точно наши! — подбодрил его товарищ.

— А вот скажи, откуда этот туман?

— Да кто его знает, — пожал плечами Прохоров. — Сам по себе он, конечно, возникнуть не мог. Думаю, не туман это, а дымовая завеса.

— А-а-а! — протянул Николай. — Тогда все понятно! Или нет, погоди... Это чтобы нас никто не видел — или чтобы мы фрицев не видели? Что-то тут не то...

— Думается мне, это старшина дымовую пашку бросил. Помнишь, перед боем он все грозился — мол, закидаем немца дымовыми и укажем нашей авиации, куда бомбы сбрасывать. С высоты-то дым как белое пятно, его хорошо видать... — тут Мефодий запнулся, и Николай тоже внутренне похолодел вместе с ним.

— Так это что? — уточнил Кучеров. — Это на нас сейчас бомбы скинут, что ли?

Мефодий потер подбородок, медленно повел головой вправо-влево и попробовал успокоить товарища:

— Не-е-е, не будут они бомбить. Проще с артиллерии. Это он только грозился, старшина-то.

— Выходит, сейчас долбанут по нам со всех артиллерийских стволов и ничего от нас не останется?! Даже захоронить нечего будет... Значит, будем числиться без вести пропавшими, а это хуже, чем убитыми. Будут

родные ждать меня с войны, надеяться, что приду живой и здоровый, а меня уже не будет. И ни славы им за меня, ни пособия...

Тут подул ветер и, постепенно усиливаясь, погнал дым на город. Кучеров осторожно выглянул из своего укрытия и, осмотревшись по сторонам, обнаружил, что никого из их роты нет ни сзади, ни спереди, ни справа, ни слева. Впрочем, как и немцев.

— А где наши-то? — обратился он к Прохорову.

Тот молчал. Николай посмотрел в его сторону, но никого не увидел.

— Эй, Мефодий, ты где?

Не веря, что друг его бросил, Николай посмотрел вперед — и увидел, как тот бежит в направлении города, уже примерно в двадцати метрах впереди. Встав во весь рост, огибая завалы, Кучеров устремился за товарищем, крича:

— Мефодий! Мефодий, подожди!

Но тот лишь ускорял шаг, с трудом попевая за уносящимся вперед редющим дымом.

Разозлившись, Николай стал костерить его на чем свет стоит, в промежутках между ругательствами напоминая о дружбе. Прохоров как будто не слышал, а вскоре поспешавший за ним Кучеров разглядел бегущих впереди них в дыму бойцов своей роты.

Николай остановился, послал несколько крепких слов вслед удаляющимся соратникам и выстрелил вверх из винтовки, но никто из солдат даже не обернулся. Увидев рядом на земле немецкий автомат, Кучеров поднял его и дал несколько коротких очередей поверху, но рота продолжала нестись вперед, бросив его на произвол судьбы.

У Николая сбилось дыхание, и он все больше и больше отставал...

— Колек! — раздался позади чей-то радостный крик.

Обернувшись, Николай увидел бегущего к нему Прохорова, а за ним — старшину и всю роту.

— Ты чего вперед сиганул как угорелый? — проговорил запыхавшийся Мефодий, обнимая Николая.

Кучеров удивленно посмотрел на него и с обидой сказал:

— Это я-то вперед сиганул? Это ж ты в ту сторону... — он вытянул руку, потом замер и тихо спросил: — А вы как позади меня оказались? Я же за вами целый километр бежал, наверное! Вот и автомат нашел, думал, фрицы бросили, когда от вас драпали...

Настала очередь удивляться всем.

А старшина объяснил загадку недавнего белого дыма:

— Перепутал я, вместо гранаты дымовую шашку швырнул! Уже когда бросал, сообразил, что это дымовая, и не сразу руку разжал. Поэтому она недалеко от вашего укрытия упала.

— А кто впереди меня-то несся?

Старшина пожал плечами.

Тут из-за здания невдалеке от них вышел незнакомый майор и сказал:

— Немцы это были!

Старшина и солдаты всполошились и наставили на него оружие, а майор поднял руки:

— Свой я, свой — майор Плахов!

Старшина улыбнулся и, приказав солдатам своей роты опустить оружие, объяснил:

— Из соседней роты он. Их нам в помощь прислали!

Следом за майором из-за здания стали выходить бойцы его подразделения. Часть из них шла почему-то под дулами автоматов своих же товарищей.

Плахов объяснил:

— Немцы это! В нашу форму переоделись и вас поджидали. А когда дым повалил, они назад побежали.

— Почему? И отчего тогда стрелять по нам не стали? — удивился Николай.

Майор пожал плечами:

— А я почему знаю? Сейчас допросим их и узнаем.

Переодетых в советскую форму немцев выстроили в ряд.

Вдруг Николай схватился за живот, согнулся пополам и беззвучно затрясся. Прохоров подбежал и обеспокоенно спросил:

— Колек, ты чего? Ранили тебя?

Кое-как уняв смех, Кучеров вымолвил:

— Я ведь, Мефодий, когда за переодетыми фрицами сиганул, думал, что это наша рота наступает, бросив меня одного. Ну, я и кричал, ругал вас по-всякому, чтобы вы призадержались и меня подождали. А они, — Николай сплюнул, — немцы эти проклятые, видно, потому так быстро бежали, что решили, будто не я один, а целое наше войско их догоняет!

Старшина, услышав это, тоже расхохотался, а майор Плахов, улыбаясь, спросил:

— Так это они от тебя так неслись? А мы-то понять не могли, кто их напугал! Я потому к вам так осторожно и вышел. Думал, что за зверь среди вас такой, что немцев в штаны заставил наложить!

Мефодий, посмеявшись со всеми, укоризненно сказал Николаю:

— Ты что же это подумал, Колян? Что я тебя бросил и убежал?

— Выходит, так, — виновато потупясь, ответил Кучеров.

А старшина покачал головой и заметил:

— Чего только не бывает на войне...

5. Мародер

Продолжая наступление, Николай, Мефодий и еще с десятков солдат вместе со старшиной ворвались в какой-то музей. Вся улица простреливалась, и продвигаться дальше было невозможно. Решили подождать в этом здании всю роту. Следом за ними в музей вбежали несколько солдат во главе с капитаном из соседнего подразделения.



Музей был почти цел, даже его стеклянные витрины выглядели так, как будто ждали посетителей. В витринах лежали монеты и медали.

Капитан подошел к витринам, осмотрел их и, повернувшись к одному из своих солдат, сказал:

— Сними сидор!

Солдат снял свой вещмешок, и капитан приказал вытряхнуть из него все содержимое.

Солдат вынул сухари, запасные портянки и еще кое-какие свои личные вещи.

— Всё! — рявкнул капитан. — Я приказал всё вытряхнуть из сидора!

Солдат попытался объяснить командиру, что в мешке патроны и две гранаты, но тот еще больше распалился и стал крыть солдата матом в несколько этажей.

— Я приказал! Или хочешь под трибунал?!

Тому ничего не оставалось, кроме как вытряхнуть и боезапас.

Капитан подошел к витрине с монетами и локтем в плотном шинельном сукне ударил по стеклу. Стекло вдребезги!

— Выньте осколки! — приказал стоявшим рядом солдатам.

И после этого стал собирать монеты и складывать в пустой солдатский мешок. Не успокоился до тех пор, пока не очистил четыре витрины подряд.

Время шло, и дни летели в неведомое будущее, весна уже кланялась лету, а впереди еще были дороги, наполненные болью, кровью и смертью. Тревожные дороги, на которых Кучеров терял своих товарищей по роте.

Среди них оказался и его лучший друг — рядовой Мефодий Прохоров. В бою за Берлин он шел плечо к плечу с Николаем. Прилетела и взорвалась мина. Мефодий погиб, а Николаю осколком отсекло правое ухо...

Но наконец пришел последний день войны — восьмое мая тысяча девятьсот сорок пятого года. И была Победа!

Штрафбат

Кирилл Прозоров, восемнадцатилетний солдат, неделю назад прибывший в запасной полк с призывного пункта родного города, был вызван приезжим майором в комнату, где висела школьная доска. Майор с ходу спросил:

— Сколько классов образование?

— Семь, — бодро ответил Прозоров.

— Это хорошо! Семь классов — это очень хорошо. А вот скажи-ка мне, ты дальше учиться хочешь? — продолжал майор.

Кирилл мысленно сжался и, недоуменно посмотрев на него, сказал:



— Я, товарищ майор, немцев хочу бить! Только вот уже неделю сижу здесь и на фронт меня не отправляют. А учиться... Куда уж больше-то? Ученые-то, они все за столами сидят и пишут всякое, а я простор люблю, зерно в землю сажать. Взойдет оно, заколосится... — И тут же, резко прервав мечтания, повинился за свое лирическое отступление: — Извините, товарищ майор, это я того... вспомнил чуток.

— Это хорошо, что ты землю любишь. Ее, брат ты мой, нельзя не любить! Родная она, наша, за нее и воюем с фашистом, вероломно напавшим на нашу страну. Но бить врага, брат ты мой, умеючи надо, а не абы как. Иначе и сам погибнешь, и пользы земле нашей никакой не принесешь. Надо фашиста так бить, чтобы он кровью своей собственной умывался, а ты жив был.

— А я уже умею стрелять и винтовку быстро собираю и разбираю! — бойко ответил рядовой Прозоров.

— Молодец! Молодец... как там тебя?.. — Майор посмотрел на листок перед собой. — Рядовой Прозоров. А возьми-ка ты, рядовой Прозоров, мел и напиши: «Аш два о».

Кирилл посмотрел недоуменно, но все же взял в руку мел и написал то, что просил майор.

— Написал? И что это такое? — серьезно, без тени усмешки или какой-либо иной каверзы спросил его тот.

— Вода. Что же еще-то может быть? — пожав плечами, ответил Кирилл.

— Молодец, рядовой Прозоров... Кирилл! — улыбнулся майор. — Принят в Ташкентское пехотное училище имени Ленина. Учиться будешь, брат ты мой, делу военному. А как фашиста побьешь, умеючи-то, по военной науке, вот тогда тебе и простор будет, и зерно колоситься станет.

Окончив военное училище, лейтенант Прозоров прибыл в стрелковый полк, получил взвод и уже через три дня повел его в атаку. Когда задача была уже почти выполнена, Кирилла ударило осколком в грудь.

«Не упал. Значит, ранен легко!» — подумал он, затем пошатнулся, завалился на правый бок и скатился в воронку от разорвавшегося снаряда.

Следом туда же прыгнул его заместитель — старший сержант Казарин.

— Товарищ лейтенант, вы как? Не сильно ранило? — взволнованно прокричал он.

— В груди печет, но дышать могу, — ответил лейтенант.

— Скиньте шинель, посмотрю!

Перевязав командира, старший сержант последовал за взводом, идущим в атаку.

В медсанбате провели несложную операцию по удалению осколка. Кусок металла ударил по карману гимнастерки, пробил пачку писем и

фотографий и углубился в тело всего на полсантиметра. Спасли Кирилла письма от матери, иначе осколок мог бы пройти навывлет.

На следующий день лейтенант Прозоров вернулся в свой взвод.

При очередной переформировке Кирилл оказался в офицерском резерве 51-й гвардейской армии, которой командовал генерал-лейтенант Яков Григорьевич Крейзер.

В армейском тылу Прозоров был впервые. Поразило огромное количество офицеров всех рангов, сновавших мимо с папками и без.

«Неужели здесь для них всех есть работа? — удивлялся про себя Кирилл, беспрестанно отдавая честь проходящим мимо офицерам. — Тьфу, хоть вообще руку от головы не отнимай! Они тут прямо колоннами ходят, эти майоры и полковники! На передовой я столько не видел...»

— Что, удивлен? — услышал Прозоров чей-то бойкий голос и, обернувшись, увидел такого же, как он сам, молодого лейтенанта.

— Ага! — ответил Кирилл. — Откуда их здесь столько, майоров и полковников-то?

— Так это же штаб армии! Что же ты хочешь, чтобы здесь лейтенанты шныряли? — улыбнулся незнакомец и протянул руку: — Валерий Гусев.

— Прозоров. Я тут на переформировании, — пожимая крепкую руку Гусева, представился Кирилл.

— Я здесь всех знаю, а тебя вот впервые увидел. Ты ел сегодня что-нибудь?

— У меня тушенка есть, сало и хлеб, — снимая с плеча вещмешок, ответил Кирилл. — Я сейчас, подожди...

— Да ты что! Я не об этом! — поняв, что новый знакомый хочет угостить его своим пайком, остановил Кирилла Валерий. — Это я тебя спрашиваю, ты в столовой-то уже был?

— В столовой? — удивленно воззрился на него Прозоров.

— Ну да, в столовой! А что ты так удивляешься? Здесь что, есть не надо, что ли, никому? Пойдем!

И, ухватив Кирилла за рукав шинели, лейтенант Гусев повел его к офицерскому пункту питания.

— У нас в училище были алюминиевые миски и кружки железные, а тут тарелки настоящие... как дома прямо, — выйдя из столовой, сказал Кирилл и, вспомнив дом, тоскливо посмотрел на гордо улыбающегося Валерия.

— Деревня! Алюминиевые! — хмыкнул Гусев. — Здесь тебе не забегаловка, здесь высший офицерский состав обедает.

— Я понимаю, только мне бы что попроще. Как-то ложка в рот не лезет, когда кругом такие большие начальники.

— Ну, дело твое. Хочешь, ходи в солдатскую столовую. Она вон, — ткнув пальцем в приземистое деревянное здание, стоящее особняком у

оврага, ответил Гусев. — Я же хотел как лучше... Ладно, мне пора, а ты иди в отдел кадров, там тебе все скажут — куда и что.

В отделе кадров сказали ждать.

На седьмой день ожидания Кирилл услышал, что погиб заместитель командира армейской штрафной роты.

«А что? Штрафная рота и простая стрелковая — разницы нет, все одно война. А там, говорят, и с оружием лучше, и паек богаче, да и выслуга один к шести... Нет, я не о благах пекусь, просто надоело уже без толку шататься и козырять беспрестанно. Да и тоскливо здесь. Во взводе с людьми сходишься, можно по душам поговорить, а эти только шныряют из угла в угол... Вот пойду и попрошусь! Хуже не будет».

В управлении кадров на лейтенанта Прозорова посмотрели с некоторым удивлением.

— Это работа на любителя, — сказали.

— И я буду любитель. В чем загвоздка-то? Не в тыл ведь прошусь, — ответил лейтенант.

Получив назначение на должность заместителя командира армейской штрафной роты, Кирилл задумался: «Надо бы не с пустыми руками прийти, а вроде как с гостинцем».

Выбор был небольшой. Постучался в крестьянский дом, краснея, протянул солдатское белье. Хозяйка вынесла в обмен бутылку самогона, заткнутую бумажной пробкой. В вещмешок Кирилл спиртное класть не стал: подумал, прольется, запах пойдет — не дело с таким ароматом к командиру роты являться. Запихнул в карман шинели, на подозрительно торчащее горлышко напялил рукавицу.

На попутных машинах Прозоров быстро добрался до передовой. Минометчики, стоявшие на опушке леса, показали на одинокое дерево в поле:

— Там КП командира роты. Но ты до вечера туда не ходи — это место снайпер крепко простреливает.

До вечера было далеко. Помаялся Кирилл, помаялся, потом подумал: «А, рискну!» — и побежал что было сил в указанную сторону. Бежал и все ждал выстрела, но было тихо. Снайпер, видно, задремал. Прозоров преодолел опасный участок и, запыхавшись, вбежал в землянку — КП командира роты.

В углу землянки сидел человек в погонах старшего лейтенанта. Кирилл представился как положено. Командир роты, старший лейтенант Демьяненко, подозрительно покосился на карман своего нового заместителя и спросил:

— Шо це у тебе рукавиця насупроти настромена?¹

Кирилл достал бутылку и поставил на стол перед командиром.

Демьяненко сразу расцвел:

¹ Что это у тебя рукавица не в ту сторону торчит? (Здесь и далее пер. с укр.)



— О! Це діло!¹

За бутылкой самогона разговорились.

— Розповідай, звідки ти і як тут опинився?²

— Сам попросил направление в вашу роту, товарищ старший лейтенант, — ответил Кирилл и рассказал, как оказался на переформировании.

— Ну, що... Це добре, що сам. Добре, що повоювати встиг. Добре, що поранений був, — значить, даремно голову пхати куди не слід не будеш³.

День прошел в знакомстве с ротой, а утро следующего началось с атаки высоты, которую удерживал батальон власовцев. Лейтенант Прозоров, рванувшийся было в атаку вместе с ротой, поднятой по команде «вперед», был остановлен резким окриком комроты Демьяненко:

— Стій, лейтенант! Ти куди це рвонуті зібрався стрімголов?⁴

— В бой! — часто моргая глазами от удивления, ответил Кирилл.

— Ты поперек батьки в пекло не лезь! Не твоя ця справа — йти попереду штрафників. Зарубай це собі на своєму носі!⁵

Первый взвод роты был остановлен пулеметчиком и залег.

— Ось це вже погано!.. — выругался комроты. — Командир взводу у мене там штрафник з капітан-лейтенантів. Мабуть, вбило його. Лежать! Лежать, паразити! Ти дивись, лейтенант, — влаштувалися, мать їх так!⁶

— Я поїду! — отозвался Прозоров.

— А що! Ну ж бо! Піднімай цих оглоїдів! Будь вони недобрі! Через них, паразитів, рота поляже! Піднімеш — до ордену представляю!⁷

Прозоров поднял взвод. Ни к ордену, ни даже к медали его никто не представил: случаев таких было сотни ежедневно. Если бы за каждый представляли к награде, то лейтенантам к концу войны медали надо было бы вешать уже и на спину.

После боя он подошел к командиру первого взвода, раненному в правую руку и обе ноги, корчившемуся от боли, бледному от потери крови, и услышал следующее:

— Я моряк, капитан-лейтенант, сунули меня в штрафбат за разговоры. Сюда бы их сейчас, всю эту сволоту трибунальскую!..

Прозоров поинтересовался, за какие именно разговоры.

— Была у нас сволочь из особистов. Холеный такой всегда. Как-то я в разговоре с сослуживцами высказался о бездарности нашего верховного

¹ О! Это дело!

² Рассказывай, откуда ты и как здесь оказался?

³ Ну, что... Это хорошо, что сам. Хорошо, что повоювать успел. Хорошо, что ранен был, — значит, зря голову совать куда не надо не будешь.

⁴ Стой, лейтенант! Ты куда это рвануть собрался сломя голову?

⁵ Ты поперек батьки в пекло не лезь! Не твое это дело — идти впереди штрафников. Заруби это себе на носу!

⁶ Вот это уже плохо!.. Командир взвода у меня там штрафник из капитан-лейтенантов. Видимо, убило его. Лежат! Лежат, паразиты! Ты смотри, лейтенант, — устроились, мать их так!

⁷ А что! Давай! Поднимай этих оглоедов! Будь они неладны! Из-за них, паразитов, рота поляжет! Поднимешь — к ордену представляю!



командования, допустившего войну. Написал тот поганец на меня донос и отправил его своему начальнику. Десять лет мне припаяли. Ну, теперь, слава богу, все позади! После госпиталя снова на флот. А тебе, лейтенант, особая моя благодарность. Спасибо, что взвод поднял, иначе бы мне не сносить головы. Век теперь тебя помнить буду и молиться, чтобы ты живым войну в Берлине закончил.

— Так я и сам не знаю, как поднял-то. Страшно было!

— А на фронте, друг, кто не боится — тот не герой! — сквозь стон ответил моряк. — Безрассудная храбрость — враг солдата. Боишься — значит, думаешь, как врага убить, а самому выжить. Вот так-то, лейтенант... А сейчас иди, не могу больше терпеть, кричать буду!

«Все-таки хорошие у нас люди в роте, все офицеры, а не какие-то уголовники, — думал Кирилл, возвращаясь на КП. — Если посмотреть, то настоящих штрафников у нас почти и нет. Все по глупости или по наговору сюда попали. Взять, к примеру, старшего лейтенанта Смирнова. Летчик, кавалер двух орденов Боевого Красного Знамени, и в штрафбат загремел не по своей вине. Командовал группой, которая перегоняла новые истребители с авиазавода на фронт. Один из его подчиненных то ли не справился с управлением, то ли решил испытать в полете новую машину, а в результате разбил ее и погиб сам. Отвечать пришлось Смирнову. Жаль его. Не так много у нас опытных летчиков, их бы лучше беречь! Так нет, надо было засудить и лишить авиацию такого аса... Загремел Смирнов в штрафбат, в пехоту, на два месяца — и что? Погиб в первом же бою... Точно, вредительство какое-то!»

Кирилл посмотрел по сторонам, словно опасаясь, что кто-нибудь подслушает его мысли.

«А капитан Перфильев, Дмитрий Георгиевич, командир истребительной эскадрильи? В октябре сорок второго года ему присвоили звание Героя Советского Союза, а в феврале сорок третьего — судили и в штрафбат. В отпуске был вместе с сослуживцем, и тот пригласил его к своему знакомому майору-интенданту. Пришли, а на столе изысканные яства на драгоценной посуде, коллекционные вина... Капитан Перфильев как увидел все это, в ярости разнес квартиру и избил майора интендантской службы. Лучше бы он тогда сдержался и сдал бы эту тыловую крысу представителям органов госбезопасности. С майором разобрались бы по всем правилам военного времени и отправили в штрафбат его, а не Перфильева. Только, похоже, интендант и немало энкавэдэшников прикормил... — Кирилл вновь посмотрел по сторонам. — Но Перфильеву все же повезло. Через полмесяца штрафбата он был легко ранен и после госпиталя возвратился в авиацию. Звание и награды ему тоже вернули. Что с ним сейчас, не знаю...

Или вот майор Ефим Михайлович Переверзев. С его судимостью вообще смешная история! Прибыл он к нам в роту по приговору три-

бунала на три месяца, а ведь до этого сам был командиром отдельной армейской штрафной роты. За три дня ожесточенных боев его рота потеряла половину убитыми и ранеными, а старшина роты, получая на складе продовольствие, не сообщил о потерях и взял продуктов на полный спичный состав. Естественно, образовался хороший излишек спиртного и закуски.

И решил ротный устроить поминки по погибшим, а заодно обмыть награды за успешно проведенную операцию на важном участке наступления. На поминки-обмывку заглянуло начальство из разведотдела штаба армии, даже некоторые офицеры армейского трибунала и прокуратуры. Выпили, закусили вместе с ним, а на следующий день “за злостный обман, повлекший за собой умышленный перерасход продовольствия”, трибунал приговорил майора к десяти годам исправительно-трудовых лагерей, но заменил наказание тремя месяцами штрафбата. Не помогли Переверзеву ни ордена Красного Знамени и Красной Звезды, ни медаль “За отвагу”. Правда, через неделю пришло другое постановление того же трибунала — об отмене приговора, и майор убыл в свою часть.

И что ни говори, а наша рота самая лучшая в батальоне! У нас все друг другу товарищи. А как иначе? Товарищи мы и есть, а не граждане, — не уголовники, а офицеры.

Каждый офицер и сержант понимает, что в бою может оказаться впереди. Штрафники — не агнцы божьи, в руках у них не деревянные винтовки. Оно, конечно, командиры у нас наравне со штрафниками в атаку не ходят. Но если ситуация сложная, то тут уже не до правил и законов. Вот, к примеру, недавно был случай, один из многих.

Атака батальона захлебывалась. Оставшиеся в живых залегли среди убитых и раненых. Комбат смотрит, в третьей роте должно быть больше в наступлении, а числа не сходятся. Где остальные? Сам пошел в ту роту и взял с собой комиссара. Так и есть! В траншее притаилась, в надежде пересидеть бой, группа штрафников. И это когда каждый солдат на счету! Комбат с комиссаром — из автоматов поверх голов этих трусов! Те проворно выскочили, как зайчики, и побежали в сторону врага, а офицеры за ними и подгоняют их, как стадо баранов. И залегших штрафников подняли в атаку. Так что... всякое бывает».

За своими мыслями и воспоминаниями Кирилл дошел по КП роты.

— Ось скажи мені, де ти був, по-людськи? Я тут, розумієш, слиною виходжу, а тобі десь чорти носять! — увидев вошедшего в землянку заместителя, укорил его Демьяненко и выставил на стол бутылку настоящего коньяка. — Ось дивись, що мені тут підфартило! Ще одного льотчика до нас на виправлення відправили, так ось він цей подарунок і вручив мені. Хороший хлопчик! Тільки дуже молоденький. Запитав я його, якщо не бреше, по дурості залетів. Ну ладно, потім про нього.

Сідай давай до столу, а то я вже скоро зовсім слиною ізойду, дивлячись на цю благодать¹.

За кружкой коньяка командир роты поведал своему заместителю историю летчика. С его слов выходило, что капитану Вишнякову Ивану Александровичу, помощнику командира авиаполка по строевой части, трибунал «за халатность» присудил десять лет исправительно-трудовых лагерей, заменив их в конце концов тремя месяцами штрафного батальона. Халатность, повлекшая за собой такую строгую меру наказания, заключалась в том, что в полку по вине авиационного техника погиб летчик. Возвращался на аэродром после выполнения задания. Заклинило рули. Летчик связался с аэродромом. Ему приказали прыгать, но тут еще и заклинило фонарь. Летчик погиб. Обвинили во всем техника, отправили его в штрафную роту, а капитана — в штрафной батальон.

— Ось адже всяке буває. Недогледів техник — судить його, а причому тут помічник по стройовий? А справа в тому, що загиблий льотчик — син якогось високого начальника-генерала. Ось так-то, друже ти мій дорогий!² — закончил рассказ о новом штрафнике командир роты Демьяненко и поднял свою кружку с коньяком за победу.

В боях с фашистами на Западной Украине рота старшего лейтенанта Прозорова (Кирилл принял командование ею после гибели старшего лейтенанта Демьяненко) столкнулась с украинскими националистами.

Полк был на марше к линии фронта. По карте, в семи километрах впереди находилось уже освобожденное от фашистов село. Командир полка из предосторожности, не желая рисковать, приказал Прозорову разведать, что там и как. Старший лейтенант отправил в разведку пять человек, наказав, чтобы они одновременно присмотрели место для отдыха роты.

Прошел час, второй... Через три часа, не дождаввшись возвращения разведчиков, командир полка приказал штрафной роте вступить в село в полном составе.

Пять бойцов из роты Прозорова висели на деревьях — замученные, изуродованные и раздетые. Бандеровцы перед смертью выкололи им глаза, вырезали на груди каждого звезду и ржавыми гвоздями приколотили к плечам солдатские погоны.

Рота Прозорова, увидев такие зверства, спалила это бандеровское гнездо до последнего бревнышка, всех мужчин вражеского села комроты приказал расстрелять. Бойцам грозило наказание «за расстрел мирных

¹ Вот скажи мне, где ты был, по-человечески? Я тут, понимаешь, слюной исхожу, а тебя где-то черти носят! Вот смотри, что мне тут подфартило! Еще одного летчика к нам на исправление отправили, вот он этот подарок и вручил мне. Хороший парень! Только больно молоденький. Поспрашивал я его, если не врет, по глупости залетел. Ну ладно, потом о нем. Садись давай к столу, а то я уже скоро совсем слюной изойду, глядя на эту благодать.

² Вот ведь всякое бывает. Недосмотрел техник, судите его, а при чем тут помощник по строевой? А дело в том, что погибший летчик — сын какого-то высокого начальника-генерала. Вот так-то, друг ты мой дорогой!

граждан», но вся рота на допросах отвечала, что бандиты были вооружены и встретили бойцов Советской армии огнем из стрелкового оружия. Из какого именно, офицеры особого отела не стали допытываться.

Затем последовали бои в Карпатах, после которых рота пополнилась личным составом и продолжила наступление в направлении хорошо укрепленного венгерского города Секешфехервар. После успешного боя за взятие хорошо укрепленного железнодорожного вокзала командование дивизии представило старшего лейтенанта Прозорова к ордену Ленина и к присвоению очередного воинского звания.

За звездочками и наградой Кирилл в начале апреля тысяча девятьсот сорок пятого года прибыл в штаб армии, где кроме награды и новых погон получил предписание — принять командование отдельным штрафным стрелковым батальоном.

Здесь Прозоров, не успевший еще надеть новые погоны на шинель, а лишь прикрутивший звездочки к погонам на гимнастерке, вновь встретился с Гусевым, теперь уже старшим лейтенантом.

Старший лейтенант Гусев, радостно улыбаясь старому знакомому, снова пригласил Прозорова в офицерскую столовую и, гордо выпячивая грудь, похвалился медалью «За боевые заслуги». Сняв шинель и повесив ее на вешалку, Прозоров повернулся к Гусеву — и увидел его медленно вытягивающееся лицо.

На плечах Кирилла Прозорова были погоны капитана, а грудь украшали орден Ленина, орден Красного Знамени, орден Красной Звезды и медаль «За отвагу».

...В конце апреля, когда никто уже не хотел умирать, из батальона капитана Прозорова дезертировали сразу три человека. Кирилл и командир роты, в которой случился этот позорный случай, предстали перед светлые очи члена военного совета армии. Тот в «популярной» форме разъяснил, что они, по его мнению, собой представляют, затем достал из папки, лежащей на столе, наградные листы на орден Александра Невского — на командира батальона и на орден Отечественной войны — на командира роты, изящным движением разорвал их и бросил под стол. Напоследок отдал приказ:

— Найти дезертиров! И расстрелять!

Не нашли.

А вскоре была Победа.



Надежда ПЕРМИНОВА

АНГЕЛ СЕВОЧКА

Р а с с к а з ы

Морковь-любовь

Во время войны в одном из сельских районов Кировской области был интернациональный детский дом. Сюда свезли ребятишек финской, еврейской, русской, украинской, молдавской и прочих кровей. Большинство из них не знали, где, а иногда и кто их родители. Сельские женщины, которые работали в детдоме, их одинаково жалели, и потому жили они дружно. Правда, не сытно, но все же и не голодали.

В подвале дома какой-то умник из местной администрации устроил КПЗ — камеру предварительного заключения для дезертиров и уклонистов от армии. И заключенные, чтобы сбежать, устроили поджог. Естественно, ночью.

Старинный деревянный дом запылал как костер.

Воспитательницы выбили окна первого этажа и вытолкнули детей во двор, а когда загорелась лестница на второй этаж, отрезав выход тем, кто остался наверху, то женщины стали привязывать малышей простынями к матрасам и сбрасывать вниз. Жертв не было. Пожар потушили — помог неожиданно хлынувший дождь.

Испуг, огонь, гарь, крики и суета набежавших людей заставили ребят сбиться в тесную кучу. Чумазые, мокрые и раздетые, они сидели на краю канавы, у забора, дрожа от пережитого ужаса и ночного холода. Была уже осень. Начальство убежало в центр поселка решать их судьбу, жители стали расходиться.

И тут появилась женщина с ведром. В нем была морковь, только что вырванная из земли, сполоснутая у колодца, с еще зеленой ботвой. Плача и улыбаясь, женщина стала раздавать детдомовцам свой гостинец. И это было лучшее утешение, слаще самой вкусной конфеты!

Ребята захрустели морковкой, запереглядывались, заговорили. Переживания этой страшной ночи стали отступать.

Дня через два узнали, что живет эта женщина с детьми недалеко и что у нее даже нет огорода, а всего лишь несколько грядок овощей под окнами квартиры, которые она берегла, чтобы меньше голодать зимой. Теперь одна грядка опустела, и, значит, голодных дней в этом доме будет больше.

Детдомовцы сами по себе, втайне от воспитателей, приняли решение. Каждый день кто-нибудь из них отламывал корочку от своего хлебного пайка и, стараясь остаться незамеченным, подсовывал этой женщине под дверь. Вот такая произошла «любовь-морковь», или, точнее, «морковь-любовь».

Рваные раны

В шестидесятые годы, когда я жила на целине, одним из главных центров общения для всего областного центра был рынок. Там жители совхозов и горожане из частного сектора продавали самые доступные по тем временам продукты питания: мясо, молоко, творог, картошку, капусту, лук, чеснок... В небольших строениях по периметру размещались недорогие столовки, где стоя можно было выпить пива и закусить пельменями и мантами. Но главным местом притяжения была сама площадь. На ней велась свободная торговля — от ржавых гвоздей до лошадей и коров. Здесь громко рядились, бранились, гадали у цыганок, лузгали семечки, пели и плясали под гармошки. Кипучая городская жизнь, спрятанная в будние дни за дверями и ставнями, выплескивалась тут ярким, порой драматическим или комедийным спектаклем, в зависимости от обстоятельств.

Я приходила сюда по субботам с дядей — веселым балагуром, любителем поговорить и поторговаться. И не было дня, когда он, уходя домой, не подошел бы к сидевшим у входа на территорию рынка безногим инвалидам. Это были обрубки войны, среди них встречались и те, кто потерял не только ноги, но и руки. Никаких колясок тогда и в помине не было. Все эти люди передвигались на сколоченных досках с колесиками, отталкиваясь от земли — поскольку асфальта близлежащие улицы еще не знали — кто руками в рукавицах, кто специально сделанными тоже из досок и ремней приспособлениями. Погода и сезон бывали разными, поэтому их поношенная одежда выглядела неопрятно. Кто-то из них чинил на рынке обувь, кто-то играл на гармошке, кто-то, захмелев, пел фронтовые песни, кто-то, матерясь, проклинал жизнь или рассказывал небылицы.

С немногими, особенно искромсанными войной, были женщины — то ли жены, то ли сестры, то ли сожительницы. Простые и терпеливые, они привозили, приволакивали своих подопечных в этот «фронтальный клуб».

Некурящий дядя покупал дешевые папиросы и, вступая в разговор, угощал ими инвалидов, привычно «стрелявших» курево. Они о чем-то,

смеясь, разговаривали, а я стояла поодаль, с ужасом и состраданием смотрела на изувеченные тела — культы, которые уже привычно не прикрывались одеждой, безобразные шрамы, искажающие лица... И мне казалось, я чувствую, как корявый металл осколков и пуль рвет мое тело. Не знаю, какую пенсию получали эти калеки, но печать отверженности и обреченности лежала на каждом из них.

Когда мы отходили, дядя говорил в никуда:

— Мое поколение... Герои!.. Им бы сверху на нас смотреть, а не снизу... — и начинал часто-часто моргать, глуша подступавшие слезы.

Ангел Севочка

Родилась внучка, и столько сразу хлопот! Вдвоем с дочерью едва справляемся. Невольно вспомнила я первые месяцы своего материнства.

Жили вдали от родителей, так что помощи никакой. К тому же собственного жилья не имели, снимали комнату, где не было не только водопровода, но даже нормальной печки. Комната отапливалась голландкой. Готовили и грели воду на электроплитке. Муж работал, часто уезжал в командировки и на сессию в Москву, где продолжал учиться. И конечно, в то время мы не знали никаких памперсов и сухих смесей для прикорма. Пеленки обычно делались из старых пододеяльников и рубах, а распашонки и другую одежду для дочки я шила и вязала сама, и не на машинке, а руками.

Невольно задумалась, как же это я справлялась? Детально вспомнить почему-то не смогла. Знаю, было порой трудно, и денег не было, и с продуктами случались перебои... Тем не менее дочка была всегда сыта, ухожена и здорова.

Потянулась памятью глубже — к моей маме. Когда наконец закончилась Вторая мировая война — в августе 1945 года, после капитуляции Японии, — мама осталась с двумя малыми детьми на руках и беременная. Старшему брату было пять лет, мне — полтора года, и третий ребенок должен был родиться через два месяца.

Девятого августа город, где мы жили, накрыло несколько авианалетов — это наши войска, внезапно напав на японцев в Маньчжурии, слаженно и жестоко громили врага. После первой бомбежки с заимки в город на лошади примчался отец и, покидав нас в телегу, буквально спас от смерти. Когда мы отъехали за мост через реку, бомба второго налета упала в наш двор. Но и на заимке, месте летнего выпаса скота, не было возможности укрыться от беды. Смерш и НКВД работали усердно: молодые мужчины русской национальности, хотя и не граждане СССР, были арестованы и увезены в лагерь. Среди них наш отец, после этого исчезнувший навсегда. В это же время японцы, выбитые из своих укреплений, бежали по распадкам и перелескам, озлобленные и вооруженные. И тоже мстили в первую очередь русским. И снова моя беременная, еще

молодая мама бежала со мной на руках и с братом, державшимся за юбку, по степи, жнивью и болотам, спасая нас.

Последняя вспышка войны длилась недолго. Но, вернувшись в город, мама увидела разбитый, ограбленный дом. Впереди маячила суровая, как всегда в этих краях, зима, и близилось рождение ребенка. Из всего дома как-то восстановили кухню, где была печь, и стали жить тремя семьями — мы и две мамы невестки с детьми. Тут и родился мой младший брат Всеволод, или, как все его называли, Ангел Севочка. Голубоглазый золотокудрый малыш.

Чтобы обогреться, женщины воровали уголь на железной дороге, а чтобы как-то кормиться, ходили туда же работать. Весной невестки уехали в деревню, где было проще выжить. Мы же переехали в полуземлянку, а рядом с ней в стайке стала жить старая корова Беянка, которая через несколько месяцев после войны сама пришла откуда-то домой. Молоко экономили, потому что несколько бутылок мама носила каждое утро китайкам, у которых тоже не ко времени родились малыши, и на вырученные деньги покупала нам хлеб.

Она закрывала дверь на крючок и оставляла нас одних нянчить Севочку. Я, по малолетству, не помню то страшное время, но мама говорила, что малыш был не только красивый, но и спокойный. Взгляд у него был взрослый, словно он все понимал и терпел. Соседи и друзья семьи из всех сил подбадривали маму. Но помочь ничем не могли.

Как-то зимой усталая мама вернулась домой, открыла дверь и, дав нам по куску китайской лепешки, стала подтапливать соломой остывшую печь. Севочка спал. Наступило время кормления, а он не просыпался. Мама поняла, что малыш без сознания. Укутав его в одеяло, она побежала к соседям, те запрягли лошадь в сани и помчали в больницу, но не успели. Врач, распеленав ребенка, констатировал смерть.

Мама пришла в отчаяние. И хотя врач после вскрытия сказал, что Севочка был обречен — у него было больное сердце, — ее это не утешило. Правильнее винить войну, те ужасы и лишения, которые он испытал вместе с мамой, находясь в ее утробе, но мама шептала одно: «Не уберегла!» — и безутешно плакала. Все, кто приходил в те дни к нам, говорили маме, что Бог ее пожалел. В это лихолетье, быть может, она сумеет сохранить хотя бы нас двоих. Но и от таких слов ей не делалось легче.

Когда я подросла, то узнала, что невинные младенцы, умирая, становятся на небесах ангелами. Приходя в церковь, я всегда искала взглядом на иконах изображения ангелочков и верила, что наш Севочка живет среди них и теперь охраняет нас.

Порой мама, измученная невзгодами и усталостью, садилась вечером, не включая свет, на сундук, стоящий у печного обогревателя*, и тихо плакала. Я устраивалась у ее ног, обхватывала ее колени.

* Имеется в виду плита со стенкой-обогревателем. Такими плитами (а не русской печью) отапливались в то время многие частные дома. — *Примеч. авт.*



— Я уже просто не могу... Никаких сил... Даже пожалеть некому! — шептала она.

— А Ангел Севочка? — напоминала я. — Он нам поможет.

— Разве что только он, — соглашалась мама.

Оторвавшись от книг, из кухни тихо приходил мой старший брат и садился, прижимаясь к маминому плечу. И в синих сумерках дома дух Ангела Севочки витал над нами, утешая и обнадеживая.

Блокадный синдром

Дело было в начале девяностых, когда при переходе к капитализму в стране исчезли продукты из магазинов и нас стали, как в войну, отоваривать по талонам. Помнится, самым горьким был «сладкий» талон — на него выдавали двести граммов слипшихся леденцов на месяц. Все, вспомнив про черный день, ринулись засаживать огороды и заготавливать на зиму овощи.

Муж моей приятельницы поехал в командировку в Ленинград. Набегавшись по заводским делам, вечером отправился к дальней родственнице, хлебосольной и радушной, у которой всегда останавливался. Она жила одна. Война и блокада выкосили ее родных, а заодно и жениха, с которым она училась в институте. После снятия блокады, по завету матери, эта женщина еще долго приезжала в деревню предков на лето «подкормиться» и жила возле козы бабушки моего знакомого, вместе с бабушкиными внуками, среди которых бегал беспортошным и он сам.

Пройдясь по полупустым магазинам и оглядев свой скромный «улов», мой знакомый мысленно поблагодарил свою жену, навязавшую ему «гостинцы для бабы Шуры» — банку малинового варенья и пакет с сушеными грибами.

Александра Серафимовна открыла ему дверь в странном наряде — потертой шубе, съеденной молью ушанке и изношенных валенках. Квартира ее, с лепниной и паркетом, в старинном питерском доме, произвела впечатление захлавленной, холодной и давно не мытой. И это при медицинском образовании и чистоплотности хозяйки! Списав все на старость, мужчина вошел и прежде всего проверил батареи. Они грели достаточно хорошо, просто форточки и балконная дверь были приоткрыты.

— Что случилось, баба Шура? — встревожился гость.

— Так урожай спасаю, милый! — был ответ.

И Александра Серафимовна кивнула на небольшие кучки вдоль стен на паркете, прикрытые тряпьем. А когда сели за скудный ужин, старая блокадница показала гостю распухшие руки.

Как выяснилось, напуганная пустыми магазинами, она решила весной посадить картошку. Присмотрела за кустами в дальнем углу парка ложбинку и позвала свою коллегу, тоже блокадницу. Там они вдвоем вскопали землю и высадили пророщенные кусочки картофеля. Все лето

ходили проверять свой «огород», а в конце по очереди охраняли созревший урожай от «супостатов». Последних было немало, поэтому уже в начале сентября, по дождю, старушки выкапывали картофелины и носили в кошелках сюда, на паркет, сушить.

Картошку следовало не только есть, но и запастись на случай голода. Вспомнив опыт военных лет, баба Шура терла ее, делая крахмал, а очистки, помыв, сушила в духовке. Сил было мало, подруга болела, заготовка продвигалась медленно. А картошка в тепле начала портиться, пускать ростки. И Александра Серафимовна, чтобы сберечь остатки урожая, открывала квартиру сквознякам, несмотря на морозы, и спала в шубе.

Днем она включала телевизор, слушала бесконечную болтовню политиков, никому не верила и ждала голода как кары свыше...

— Баба Шура меня отрезвила, — признался мой знакомый, вернувшись из Ленинграда. — Я понял, что мы делаем что-то не так. Переуспеваем... Стремимся, как всегда, в лучшее будущее... Забывая, что у стариков его нет.



Мария ФРОЛОВСКАЯ

ТРИ ИСТОРИИ

Жанна

Жанна хотела сына.
Сорок лет и три года хотела сына.
Так больно хотела, так сильно,
молилась: «Господи, помоги!»
Тучи вверху бежали.
Волны внизу бежали.
И не было сына, не было сына Жанне.
Тысячи сыновей — и всё другим, а не ей.

Шли сыновья к другим.
Шли по воде круги.
Вода становилась льдом.
Снега заносили дом.

Раз, в декабре, постучался какой-то дед.
Съел ее хлеб, узнал о ее беде
и сказал, что когда-то от праведников слышал:
на рождение солнца земля тиха и вода тиха,
и земля смыкается с небесами,
и вода смыкается с небесами,
и гуляют души лесами —
иди себе и спасай их.
Бери к себе синекожую, замерзшую такую душу —
придешь, в уголок положишь, у очага просушишь.
И будет тебе сын —
ничего, что немного синь,
что прозрачен чуть-чуть и ломок,
а все же почти ребенок.



Темень в лесу — хоть глаза выколи,
хоть наугад рукавицей шарь.
Жанна идет себе, душу кликает.
И выходит к Жанне душа.

Она на салазки сажает сына,
идет, дыхание его слушая,
и внезапно думает обессиленно:
«А что расскажу я родне и мужу?»

Ни живота не было,
ни маеты не было,
а родила — белого,
жутко, смертельно белого».

А сын за спиной вынимает дудочку,
начинает играть на дудочке,
а Жанна думает: «Я все же дурочка,
боже, какая дурочка!
Я с ним намучаюсь, так намучаюсь,
ведь с первого взгляда видать —
две ручонки тоненькие, как лучики,
а глазищи его — слюда,
а в глазах нелюдское, не наше что-то
бьется, не то, что у всех:
огоньки, бегущие по болоту,
небеса зачеркивающий снег.

Что он такое, с чем я вообще связалась?
Разве он сын мне, разве я ему мать?»
За спиною дудочка молкнет и исчезает,
санки с горы подталкивает зима.
Эх, как помчались, весело полетели
санки пустые, корой намерзает лед...

Жанна глядит, распахнутая, как метель,
и падает на колени. И не встает.

Литература

Школьники обсуждают Булгакова.
Мальчики резюмируют: «Это капец».
Девочка говорит: «На последней странице я плакала,
ну почти как в самом конце “Властелина колец”».

Я вообще люблю, когда герои не умирают,
но и не “жили сто лет, нарожали кучу детей”.
Если б я выбирала между каким-то раем
и просто полетом, — я выбрала бы лететь».

Мальчики говорят: «Нафига эта чертовщина?
Еще и в ЕГЭ засунули эту муть».
Девочка думает: «Мужчины такие мужчины,
ничего-то не понимают и не поймут».

Девочка думает: «Я стану совсем большая,
я пойду по Арбату и волосы расплету».

За окошком качается желтый воздушный шарик
и потоком цветов осыпается в темноту.

Старики

Чего-то хотели.
Слушали «Роллингов» и «Битлов».
Ездили в Таллин.
Любили восточный Крым.
Звездный рыбак вытряхивает улов,
этих двоих не трогает — до поры.

Странные люди, никак их не различишь,
души слежались, как убранные на дно
синее платье и мартовские лучи,
брюки в полоску и косточки домино.

Держатся за руки — чтобы не унесло:
старость не радость, а ветреная вода.
Небо тревожит невидимое весло,
светит над крышами слабенькая звезда.

Помнишь, как в детстве легко попадаешь в сон?
Только зажмурься — и вот ты уже в пути.
Звездный рыбак покачивает блесной,
белая точка срывается и летит.

Светлана ДУРЯГИНА

МАХОНЬКАЯ

Р а с с к а з

Ей снился ромашковый луг. Она стояла посреди цветочного моря и смеялась, глядя на несущегося к ней одноклассника Борьку, который, дурашливо взбрыкивая на бегу, кричал ей: «Мышь, я люблю тебя!» И вдруг Борька пропал, растворился в воздухе. Любочка оглядывалась по сторонам, звала его, но Борьки нигде не было. Она побежала, сама не зная куда, и вдруг среди ромашек увидела свежий могильный холмик со звездой и рядом — подружку Лерку в черном платке. Лерка, вытирая ладошкой слезы, сказала вдруг маминым голосом: «Проснись, доченька! Война!»

Любочка широко распахнула глаза и увидела заплаканное мамино лицо...

Так она узнала, что фашистская Германия напала на Советский Союз.

На следующий день Любочка вместе с Борькой и Лерой пошла в военкомат — записываться в армию. Они долго стояли в огромной толпе, ожидая своей очереди. Настроение было приподнятое: популярный кинофильм «Если завтра война» еще был свеж у всех в памяти и молодежь рвалась в бой.

Борьку и Леру записали без вопросов, а Любочку военком даже слушать не стал: ей не было еще восемнадцати лет.

Глядя на ее хрупкую фигурку сверху вниз, капитан, отбиривший девушек для службы в медсанчасти, раздраженно сказал:

— Ну куда ты, метр с кепкой, лезешь? Ты хоть понимаешь, что любой здоровый мужик тяжелее тебя раза в два, а раненый — и того больше? Какая из тебя медсестра? Кому ты можешь помочь? Родину защищать — не в куклы играть!

— А разве я не такая же комсомолка, как все? И курсы сандружинниц при школе не хуже других окончила! — чуть не плакала Любочка.

— Ты, конечно же, комсомолка. Но очень маленькая. Иди, подрасти сначала.

Вечером следующего дня Любочка провожала Борьку. Его направили в танковое училище. Перед тем как запрыгнуть в вагон, красивый и повзрослевший в военной форме Борька подхватил Любочку под мышки, приподнял над перроном, неумело поцеловал и попросил:

— Жди меня, Мышь! И не рвись на войну. Я без тебя с фашистами разберусь. Ладно?

Глотая слезы, Любочка молча кивала головой.

Еще через день она провожала одноклассниц. Девчонки весело галдели и, подсаживая друг друга, лезли в кузов полуторки. Любочка так горько ревела от обиды (ведь подружки едут без нее!), что Лерка не выдержала и, откинув лежащий в кузове брезент, скомандовала:

— Ладно уж, лезь!

Любочка затаилась в кузове.

Когда прибыли в медсанчасть, капитан, увидев ее на построении, оторопел и несколько секунд лишь молча хватал воздух ртом. Потом приказал старшине отправить вредную девчонку домой с первой же попутной машиной. А пока придет попутка, временно назначил Любочку в медсанвзвод, который располагался у самой кромки леса, в бывшей избе-читальне, недалеко от батальонного штаба.

Любочка сидела у окна и делала из марли тампоны. Как только видела, что какая-то машина подходит к штабу, — тут же в лес. Отсидится, пока машина уйдет, и возвращается.

А через три дня батальон пошел в бой. Повинуясь приказам старшей медсестры, Любочка металась среди все прибывающих тяжелораненых, записывая в журнал данные из их документов, меняя повязки, подавая напиток... Никогда в жизни не видела она столько боли, страдания, столько искалеченных людей.

А потом среди привезенных с передовой убитых Любочка увидела Лерку. Длинная светлая коса и красивое лицо подруги были в грязи, а на белоснежной, с тесемочками, нижней рубашке расплылось большое алое пятно.

До конца своих дней Любочка не могла надевать на себя одежду, где было сочетание белого с красным.

Сердитый капитан, которому она после боя меняла повязку, рассказал, как было дело:

— Мы поднялись в атаку, а фриц давай косить нас из пулемета! И батальона не стало. Они не были убиты, они все были ранены. Немцы бьют, огня не прекращают... Вдруг видим — из окопа выскочила сначала одна девчонка, потом вторая, третья... Они стали перевязывать и оттаскивать раненых. Немцы поначалу затихли от изумления, но вскоре



очухались. Через какое-то время все сестрички были тяжело ранены, однако каждая спасла пять-шесть человек. Вытаскивали бойцов по уставу, с личным оружием. Откуда только силы у девчонок взялись?! Твою подругу, видно, снайпер еще в начале боя положил. Будешь теперь вместо нее. Пополнения ждать не приходится.

Капитан приказал выдать Любочке обмундирование. Когда она влезла в солдатские брюки (в юбке ведь за ранеными не поползаешь), девчонки завязали их веревочками ей на плечах, чтоб не сваливались. Нахохотавшись досыта, старшина взял ножницы и иголку и помог Любочке уменьшить форму до ее размера. Но вот с сапогами то же самое сделать было нельзя, и в минуты передышки Любочка тайком от всех обливалась горячими слезами из-за кровавых мозолей на ногах — до тех пор, пока капитан не принес ей снятые с убитого фашиста аккуратные хромовые сапожки.

Капитан Евсей Кузьмич был очень похож на ее отца. Он был мало-разговорчив и суров с виду. Любочка и боялась его, и очень за него переживала.

Однажды, после захлебнувшейся нашей атаки, она перевязывала в окопе легкораненых. В перерывах между очередями немецких пулеметов было слышно, как с нейтральной полосы чей-то немолодой страдающий голос звал:

— Сестра, сестричка, помоги!

Немцы не жалели патронов и лупили из пулеметов на каждый живой звук. Любочке было очень страшно, но она сказала себе: «Ребята сделали свое дело, теперь моя очередь».

Она поползла на слабеющий голос раненого, натываясь на убитых, пугаясь их искаженных предсмертной мукой лиц. Тот, кто звал ее, оказался здоровенным мужчиной. У него был распорот штывком живот. Он судорожно пытался вправить обратно выползающие наружу кишки и все звал:

— Сестра, сестричка, помоги!

Любочка огромным усилием воли подавила подступившую к горлу тошноту, перевязала рану, подсунула под потерявшего сознание бойца плащ-палатку и попыталась тащить, но не смогла даже с места его сдвинуть.

А он стонал, бормотал в беспамятстве:

— Доченьки мои, лапушки, бегите к батьке... Батька вам гостинцы привез...

Любочка тоже застонала — от бессилия. Понимая, что солдата ей не вытащить, она решила хоть умереть достойно, встала во весь рост и запела: «Я на подвиг тебя провожала...» Немцы вдруг прекратили огонь, а из наших окопов на ее голос приползли два бойца, помогли унести раненого. Вслед им никто не стрелял.

Капитан, стащив ее за ворот шинели в окоп и больно притиснув лицом к своей груди, прохрипел ей в ухо:

— Говорил же я тебе — подрасти!

От Борьки приходили письма, в которых он ругал ее за то, что она не послушалась его и удрала на фронт, писал, что любит, просил беречь себя. Любочка отвечала, что беспокоиться ему нечего, что она уже ко всему привыкла и ничего не боится. Но это было не так.

Больше всего на свете Любочка боялась оказаться в плену. Недавно из их батальона попала в руки фашистов медсестра. Через день село, где стояли немцы, наши отбили и нашли ее: глаза выколоты, грудь отрезана. Эти нелюди посадили ее на кол. Стоял сильный мороз, и девушка была белая-белая, и волосы все седые... А было ей девятнадцать лет. С тех пор Любочка всегда держала патрон про запас: лучше самой себя жизни лишиться, чем пережить такие муки.

Солдаты в батальоне любили и жалели ее, пытались помочь, чем могли; с легкой руки старшины прозвали Махонькой; при ней старались не ругаться матом; делились последним сухарем. Разведчики приносили Любочке из рейдов по вражеским тылам то немецкий шоколад, то губную гармошку. Молодые пытались ухаживать, но, когда узнали, что она получает письма из танковой дивизии, и увидели, как она их перечитывает по многу раз, отстали и ревностно оберегали ее от залетных молодцов, которые иногда появлялись в батальоне, следуя после выздоровления из госпиталя в свою часть...

Война для Любочки закончилась вскоре после того, как ей исполнилось восемнадцать. В одном из боев ранило капитана; он первым выскочил из окопа, поднимая бойцов в атаку, и Любочка видела, как он упал лицом вниз, сраженный пулеметной очередью. Она поползла его спасать. Немецкий снаряд накрыл обоих. Капитан погиб сразу, а ей раскрошило обе ноги. Солдаты плакали, не стесняясь, когда несли ее на плащ-палатке в медсанбат, а Любочка кричала от дикой боли и просила их:

— Ребята, пристрелите меня... Кому я такая буду нужна?..

* * *

Борька нашел ее в доме инвалидов через пятнадцать лет после войны. За это время ей сделали более десятка операций, но ходить она больше так и не смогла.

Когда Боря вошел к ней в комнату, Любочка не узнала его: изуродованное шрамами лицо, наполовину скрытое темными очками, пальцы без ногтей... Танк, командиром которого он был, под Прохоровкой уничтожил три «тигра», но в конце концов фашисты его подожгли. Экипаж

погиб. Борю, без глаз, всего обожженного, вытащили из пылающего танка пехотинцы.

Рассказывая Любочке о своем последнем сражении, Боря сказал:

— Единственное, о чем жалею до сих пор, — что рано дал команду покинуть горевшую машину. Все равно ребята погибли. Мы могли бы еще один немецкий танк подбить. А так... Два года возили меня по госпиталям, операции делали одну за другой — восстанавливали лицо. Тебе не писал — не хотел, чтобы ты с калекой мучилась. Потом случайно от медсестрички в одном госпитале узнал, что и с тобой случилась беда. Она в моих вещах карточку твою увидела, узнала тебя и рассказала, что и ты в этом госпитале была и какая ты... Я сейчас с мамой живу, все это время мы искали тебя.

Любочка тяжело вздохнула, стиснула побелевшими пальцами ручки кресла, сказала дрожащим голосом:

— Я, Боренька, даже матери своей не призналась, что живая. Не хотела обузой быть. Папа погиб в первые дни войны, а у нее ведь еще трое на руках остались... Помнишь, как мы с тобой вальс танцевали, как мальчишки на мои ножки пялились, а ты злился? Теперь вот вместо ножек моих — безобразные обрубки...

Любочка тихо заплакала. Боря повернул свое изуродованное лицо к окну, словно почувствовал, как ласкают его лучи заходящего солнца, улыбнулся сквозь горечь:

— Зря ты это сделала, Любочка. Твоя мама и сейчас тебя ждет. И я жду. Поедем домой, Мышь! После всего, что мы пережили, нам ничего не страшно. Пары глаз и пары ног на двоих нам с тобой хватит, а рук-то ведь у нас четыре. Не пропадем. Главное, что мы теперь вместе! И уродства своего нам стыдиться нечего: мы Родину защищали.



Светлана МИХЕЕВА

РОЗА, ИГРАЙ...

Повесть

Лето в городе

Вспомните: когда вам десять-двенадцать и лето на ваших глазах се-реет день ото дня. Как оно пустеет. Как нечем занять себя. Как жидкий шалаш в пыльной и замусоренной городской роще кажется единственным пристанищем в неприкаянной и словно бы навязанной жизни, которая со-средоточилась в единственном вопросе — зачем я? Как земля замирает, словно бы не родит ничего. Кажется, в студень превращается воздух, и проходит день — ах, быстрее бы он прошел! Больно обостряется дет-ское одиночество, одиночество взросления: подгоняешь к концу каждый удивительный, неповторимый день. Быстрее — к осени, к естественному разрешению, к спасению. Над миром висит неосязаемое великое — дух, парящий над водами. А ты — маленький и неуверенный,рываешься между водами и духом, между тем, кто ты есть — и кем будешь. Ты еще нисколько не знаешь себя. Это приводит в отчаяние.

В городе, между водами и духом, где ты застрял, все дымит и па-рит — трубы, машины, асфальт. Здания таращатся на происходящее за-плывшими, зашторенными зенками. Люди возникают и плавно переме-щаются, словно плоские фигурки в книжках-раскладушках, плавность их объясняется только тем, что они — ненастоящие. Но ты-то настоящий! И только жидкие деревья протягивают к тебе, настоящему, пусть и не-большому человеку паучьи лапки — чтобы приласкать. Как в таких об-стоятельствах не подгонять день?

Хотя никакого движения все равно не происходит. Воздух густ, и день завяз в нем. И он может длиться и длиться, одинокий, скучный день. И разрастается тоска, такая, что даже плакать не моги — такая тоска, что измощдает в тебе здоровую детскую плаксивость. Закрадывается черное подозрение: вдруг эта безрадостность, зной, изводящая дневная равно-мерная яркость, шумная городская тоска пребудут вечно?

Но вот наконец кузнечики вечерней трескотней оживляют мир. Ночь является и прекращает невыносимую пытку. Потом ночь не спит, она слушает всех спящих и неспящих. Картонные взрослые укладываются в свои картонные кровати, ворочаются — сон, о котором они мечтают, нейдет. Детям трудно даже подумать о сне в такое таинственное время, не хочется упустить самое интересное. Ночь разворачивает пеструю картину вокруг, отмыкает времена. И расцветает мир: где-то в саванне не спят львы, по великим рекам сплавляются отважные воины, прекрасная Европа Возрождения прячет в каменных желобах улиц трогательных влюбленных. Ночь не для того, чтобы спать! И дети сладко засыпают.

...Много позже, в расцвете лет, когда ты бодр, целеустремлен и уже знаешь назначение вещей, побороть летнюю скуку проще — все разноцветно, карнавал окружает тебя: отпускные настроения, совершенная белиберда. Все легко, ни к чему не обязывает, одни призраки, подобию вокруг. Спасительные подобию — и ты рад принимать их за действительность, опыт приходит на помощь. От горячего асфальта спасаешься на работе. И когда улетают дни, коллеги вздыхают: лета будто и не было, подразумевая, что оно, конечно, было. Они вздыхают об утекающей сквозь пальцы (сквозь ручки, карандаши, телефонные книжки, ежедневники) жизни, которой на одно — прошедшее — лето стало меньше. А что они смогли? А что они смогли бы смочь — если бы, конечно, знали, что нужно делать? Этот вопрос мучает, не дает спать, посылает зловещие полусны или болезненную дрему, в которой фантомы сознания играют в свои безжалостные игры.

Ночь наваливается на взрослых, она им ненавистна, потому что бессонна. Шумят сверчки, их трескотня мешается с редкими всхрапами автомобилей... Две таблетки... так... Мерзкая теплая вода из крана... ладно... Три глотка, больше не могу... Да что там за окном, целая армия кузнечиков, которые хотят умирить меня?! Включить, что ли, лампу... Под утро, как в бездну, человек проваливается в сон.

Начало следующего дня — спасение. Взрослый возвращается к ежедневным обязанностям, чья цепочка «встал-умылся-пришел на работу...» счастливо соотносится с условностями социальной биографии: «родился-учился-женится-умер». И у всех — одинаково. И в одинаковости этой есть одновременно и боль, и облегчение: вопрос о собственном исключительном предназначении ласково успокоен монотонностью быта, сглажен, поставлен в слабую позицию перед необходимостью выживания в конкурентной среде.

Но прежде, годы назад, утренний мир раскрывался для каждого неожиданным возвращением, воскрешением. Где я был, когда я был там, на той стороне сна? Живущие не по обязанности, а по любви дети, как бабочки, осознают время в размере дня. И все вокруг них, творимое ими живет так же, осознавая смерть коротко. Считается, что они не способны дать ей исчерпывающего определения, ощутить крайнюю границу

существования. Но они — ближе всего к ней, поскольку недавно пришли *оттуда*. Они до поры не способны лишь осознать мучений, которые в мире взрослых непременно сопутствуют смерти. Со временем кошмары прошлых поколений настигают. Материализуется старуха с косой, которая однажды явится по каждую душу.

Но пока они еще малы, пока еще *та сторона сна* для них — неоспоримая реальность. Они просыпаются по утрам с ожиданием счастливых снов и наяву, просыпаются с радостью открытия. И неважно, каким окажется день. Детский бунт никогда не касается устройства бытия и божьего промысла. Детский бунт созревает в подростке, лишь когда растворяется ясность детского мира, память о прежнем, о той стороне сна и жизни. Он порхает в новой пустоте, отыскивая опору, прощаясь со своей детской памятью.

Но в пять, в отличие от пятнадцати, еще легко преодолевать лето, которое по существу и само похоже на детство — неприкаянное, безответное. В душе образуется глубина такой огромности, что любое слово проваливается в нее безвозвратно, любое действие — качание канатоходца на канате. Значение имеют только светила, сменяющие друг друга, растительное, животное — факты миропорядка, о которых принято думать, что они никак не зависят от человека.

«Я» бессознательно подчиняется явлениям природы. Ее превращения настораживают, и в них есть тайна, которая, мелькнув и не давшись в руки, делает нас своей частью — частью природного шума, веткой, травой.

Иногда возле оранжевой стены панельной пятиэтажки, торцовой, без единого окна, обшарпанной до невозможности, я, пятилетняя, замирала. Там, где стена смыкалась с фундаментом, из этого стыка, из неровного шва лезли травы, зеленые выводки кленов или колыхались над ним желтые и белые одуванчики. Внутри, под углом, образованным отмошкой и стеной, я предполагала наличие смежного мира, откуда пробивается к нам жизнь. Когда соседка привезла домой младенца, другие соседки, старые и не очень, обсевшие приподъездную лавочку, кудахтали вокруг его колясочки. Было удивительно, что они так кудахчут, словно это какое-то чудо, непонятно откуда взявшееся. Совершенно очевидно, он взялся из угла. Длинные, поросшие травой демаркационные линии — смычки стен с фундаментом или землей — всех домов в округе были исследованы на предмет нахождения там достаточно большой трещины, способной впустить младенца «с той стороны». «Та сторона» не имела пределов и представлялась свободной территорией, где плавают вещи и существа, — зародыши вещей и существ. Однажды неизвестная сила выталкивает их к нам.

Лето всегда было границей, способной «вызволить из угла», воспроизвести. Поэтому летом так трудно делать что-то. Не от жары и лени — хочется просто дышать *одновременно со всем сущим живым*, дышать

в ритм, дышать как брать эстафету — от дерева, птички, от дождя и любого колыхания.

...Теперь «просто дышать» кажется пустой тратой времени и воздуха. Как жаль. А что, если дышать — это самое важное дело?

* * *

Давным-давно, в самые юные лета, родня избавлялась от меня на июль или же август (июнь в Сибири еще прохладен), ссылая в детский лагерь для сопливой малышни. И это был такой густой мир, где сосуществовали и вещи и чувства, и явное и тайное, и будущее и прошлое — сосуществовали, взаимопроникая, изменяя действительность и лишая людей — взрослых властолюбивых людей — права распоряжаться окружающим. И нами, детьми.

Дети пребывали в нескончаемой тревоге ожидания. Ею они питали мир странных сосуществований, искали чуда — и находили. Днем — в бассейнах, в сараях, на ближайших болотах с крупными кочками — казалось, прыгаешь с одной зеленой головы на другую. Ночью — абсолютно во всем. В темноте, в холодных мертвых печах-голландках с остатками пестрых «буржуйских» изразцов, в широких окнах, приоткрытых на луну, в скрипе половиц и кроватных сеток. Старый корпус — остатки незапамятных времен и стекольной фабрики — стоял между скрипучих сосен высотой до неба. Ночью сосны бредили старыми временами, шушукались. Из небольшой заболоченной заводи им отвечали маленькие лягушки. Можно было вмешаться в беседу, сбежав из кровати, сдвинув засов с тяжелеющей двери. Уже с крыльца увидеть поблескивание воды, сияющую под луной беседку, строгий высокий забор с железной пастью ворот. А что за забором — лучше и не думать, сердце лопнет от восторга! — там может быть *все что угодно*. Смотреть на забор всегда было особенно занимательно — и страшно.

Вдобавок на высокой и широкой веранде неровными боками колесало ночной свет удивительное стекло: обычно после полдня, когда лес только начинал темнеть, дети, предоставленные сами себе, находили в почве, часто под сосновыми выпирающими корнями, слитки и слиточки голубого, зеленого или коричневого цвета. Кто закопал их в норы под корнями деревьев? На этот главный вопрос никто так и не смог найти ответа. Дети искали стекло, как гномы ищут драгоценные камни, приносили на веранду. Воспитатели, чувствительные к предметам неясного назначения, заполнявшим наши карманы, пространство под подушками и подоконники корпусов, стекла не трогали. Похоже, в слитках затаилась некая влиятельная сила, действующая даже и на взрослых. Или скорее в нас, детях, дремала волшебная сила, сообщающаяся всему окружающему. Та самая сила, появления которой мы, пятилетние глупыши, ждали из-за забора.

Сейчас там, где гномы откапывали свои слитки после приторного пятичасового чая, уже нет ничего. Ничего *того*. Сосны стали как будто

меньше, корни у них теперь не такие уж мощные и запутанные. Железные ворота, ведущие в страну чудес, всегда открыты, их стерегут облезлые ленивые дворняги. Все стало маленьким и приобрело обычный серый летний цвет...

Но я потеряла дорогу в эту волшебную страну гномов гораздо раньше, лет в семь. Когда родители снялись с места и мы покинули родной город. На старом месте осталась родня. На новом, за много тысяч километров от гномичьих летних шахт, была новая работа отчима, новая квартира в только что отстроенном доме нового района с шумными пахучими стройками, гречишными и кукурузными полями вокруг. Поля подходили почти вплотную к новенькой школе, провонявшей гудроном и краской. За ними — дубовые рощи и широкая мутная Волга.

Неусидчивая школьная малышня пробегала уроки и к полудню вырывалась на свободу, где ее уже поджидал ветер, или дождь, или снег, или просто любвеобильное солнце. Мы существовали согласно природе и шли у нее на поводу. Осенью она заманивала нас в кукурузные заросли и предлагала молочные сладкие початки. Их мы воровали ранцами, выгружая учебники в сумки со сменной обувью. В мае она заманивала нас под свои прекрасные дубы. Алчные стайки охотников за майскими жуками опустошали местность. По легенде, за крылья насекомых в аптеках платили кучу денег. Мы без счета калечили жуков — но крылышки терялись, разлетались, даже маленькая майонезная баночка никак не набиралась.

Наконец малолетних горожан настигало настоящее лето. Детей становилось во дворах все меньше, будто подкосила их неизвестная эпидемия, или они испарились, или их выкрали. Улицы нового района покрывались желтым зноем, девятиэтажки торчали в нем как пирамиды в песках пустыни. Природа в эти дни была занята сама собой, воспитывала кукурузу и гречиху, поощряла к росту непокорную дикую траву. Редкие мы, забытые и природой, и родителями (не надо было проверять наши тетради, поднимать поутру в школу), бродили по дворам в поисках других детей, жевали черный жесткий вар, украденный со строек.

Невыразимая скука школьных площадок обрушивалась на нас. Сонные учительницы пытались покрикивать, укладывая ребятню в тихий час на раскладушках посреди синевы спортзала. Это была вечная дремота — дремали пионеры-герои на Доске воинской славы, дремал белый гипсовый Ленин в вестибюле, дремали котлеты на тарелках, дремали вечером усталые родители. Помимо дремы не было ничего.

Потом жизнь налаживалась — заканчивалось время площадок, начинались пионерлагеря. Родители не знали, что делать со мной летом. Вместе нам было скучно. В лагеря автобусами свозили таких же, как я, посторонних друг другу детей. Думаю, мы осознавали свое взросление именно летом, растрачивая весь остальной год на получение школьных знаний и прочие пустяки. Летом мы оставались наедине с самими собой, своим детством и с набирающей цвет природой — вынужденные

осознавать и природу вокруг, и свою собственную. Мы были расцветающим открытием для себя самих.

Посторонние друг другу, мы ходили парочками или по одному. Могли сбиться в банду и ограбить сад в ближайшей деревне. Те, что поскромнее, вели себя тише, рисовали в библиотеке или кидали мяч. Но за обедом все собирались в столовой и смотрели в пространство одинаковыми задумчивыми глазами. Казалось, что нас свалили в кучу, как на фабрике вальт в кучу бракованных плюшевых зайцев. И чужие взрослые ищут, чем бы убить наше летнее время. А мы ищем, чем бы наполнить наши души.

Но все же и в этой тоскливой реальности было нечто, возвышающее нас на одну значительную ступень: знакомство. Хорошее развлечение — подойти и сказать: «Как тебя зовут? Меня зовут Роза». Но это было и моментом истины: ты называл себя для кого-то, одновременно осознавая себя для себя, давая себе пусть формальное, но определение.

Те, кто постарше, чьи чаяния уже перешагнули порог детской комнаты, обнаруживали вдруг новые способы взаимодействия с миром, вроде наивной влюбленности, которая не требовала ответа, но требовала выхода. Как-то летом родители приехали раньше, задолго до конца сезона, чтобы забрать меня. Мы снова меняли место и возвращались в Сибирь. Один мальчик рыдал о моем отъезде навсегда. Дети сгрудились у лавочки, где он плакал. Я стояла поодаль, у машины, синей и блестящей, похожей на рыбу. Из дачного корпуса мама несла вещи. В прямоугольную мелкую чашу бассейна сторож пустил воду — после полдника обещали купание. Вода шлепалась в полупустую чашу некрасиво, но громко и задорно. Я засмеялась — от чужой неожиданной привязанности, от чистоты небес и в честь грядущей дороги.

От среднерусской густой природы, от дубов, от роскошных берез с повисшими, как зеленые щупальца, ветвями мы перебрались снова в сумрачное хвойное царство с ягодниками на болотах, с длинными безлесыми равнинами и обветренными гольцами на высоте. Дом с глухой оранжевой стеной по-прежнему торчал у дороги. Боярышник у нашего подъезда разросся, маячил мягкой спелой краснотой крупных ягод. Они, по легенде, вызрели на спинах мертвецов — когда-то здесь ютилось тихое кладбище лютеранского прихода.

Семейные вещи доставили вскоре огромными контейнерами в наш старый новый город. Пока в квартире, подготовленной для нас, клеили обои и подтягивали окна, меня настигло мое последнее детское лето.

* * *

В то лето, когда мы вернулись в знакомые места, я впервые внимательно обратилась к здешнему: легкие — к ветру, руки — к траве и камням, ухо — к ночным звукам. Все, что представлялось фантазмагорией, нагромождением образов и ощущений, теперь имело отчетливую

резкость — каждый предмет, каждая минута. Оно, это каждое «всё», было совершенно иным, чем в «прошлом» городе. География аккуратно подсовывала мне на опознание давно забытые ощущения — другого места под тем же солнцем.

— Что ты, девочка, погрустнела, призадумалась? Летом розы цветут, — каламбурил двоюродный дед, добрый Иван Сергеич, старый фотограф на пенсии. Соседи обзывали его чокнутым, потому что он без конца фотографировал птиц, желал лететь на воздушном шаре или фиксировал на пленку движение небес. Ему тоже было скучно и тревожно летом. Но его сестра, моя родная бабка, вывезла и его, и меня из города в дачный поселок у маленькой шустрой реки, которой вечерами владел густой туман. Днем на жарком горизонте дрожали седые головы задумчивых гор.

Бабушка все время занимала брата в саду то сбором малины, то расщеплением толстых чурбачков, то мягкой травой мокрицей, окутавшей своей зеленой бородой вход в погреб. Мокрица была очень непрочной травой, легко вытаскивалась из земли, цвела мелкими звездочками — но вывести ее из сада насовсем не было никакой возможности. И дед дергал ее, усмехаясь в клочковатую бородавку. Чему уж он там усмехался? Может, семейственности, которая обуревала всех летом, наваливалась на разрозненные части нашей ячейки общества (части соединялись обычно за общим столом по случаю большого юбилея или чьей-нибудь смерти). А может, он усмехался вслед своей сестре, которая, чувствуя старческую ребячливость деда, присматривала за ним, держала в посильном трудовом тоне — иначе дед хирел или перегревался на солнце, бегая с фотоаппаратом за голубями на площади возле деревенского магазинчика, на смех местным. Или же он усмехался зловредной траве мокрице, которая так упорно цеплялась за тенистое свое местечко возле погреба... Или мне, которая уныло размазывала прутиком грязь у калитки и тревожилась так же, как и он сам. Дачное время было не то чтобы счастливым или особо занимательным. Оно просто было иным, обнажая возможности для изменений: в мире еще могло вдруг появиться чудо, хотя я и подросла. Метаморфозы, которых я ожидала, готовились также внутри бутонов на яблоне (она никогда не давала настоящих больших яблок, как волжские сады, и от этого чудо обещало быть еще больше, еще значимей). Или появлялись за калиткой очень рано утром: повсюду лежала волшебная крупная роса, напоминая то прозрачную ягоду, то глаза травы.

Чудо ожидалось и в самом доме — небольшом и светлом, не дачном, а скорее деревенском, с плотно пригнанными досками пола в трех комнатах. Там, где спала я, — в желтом квадратном помещении, на раскладушке, возле большой родительской кровати, имелись два необычных места. Во-первых, в углу маленькой кладовки, куда едва входила пара стульев. Во-вторых, наверху, под антресолями над входной дверью. Над дверью проживал в рыбацкой сети дракон, который если и пугал меня по ночам, то только из добродушной шутливости. В углу кладовой таи-

лась маленькая, почти мышинная дверь, о которой никто, кроме меня, не знал. Дверь приоткрывалась в другой мир, куда я могла проникнуть, но который не могла расширить: мир ограничивался пределами незнакомой комнаты, полной игрушек, куда я и спускалась по высоким ступенькам. Позже игрушки исчезли, но появилась терраса с видом на воду и на синие сосны, непричесанными лапами касающиеся ее идеально белых колонн. Я допускалась в комнату гостем, который осознает свой статус, чужаком с ущемлением в правах. Дальше за комнатой, за террасой простирался таинственный мир, его тропинки, дороги, города, поля и леса. Где-то была лестница, ведущая с террасы вниз, к одной из его бесконечных дорог. Но она ни разу мне не открылась.

...Потом детство совсем кончилось — и комната потерялась. В одно прекрасное лето я не смогла найти мышиную дверь. И на следующее лето тоже не смогла, и больше — никогда. Хотя искала упорно, вываливая вещи с полок, простукивая стены. Уставая, не веря еще в неудачу, садилась на один из стульев, стоящих в кладовке, и так сидела подолгу, раздумывая о террасе с синими соснами и о том мире. Интересно было сидеть в кладовке ночью, когда родители оставались в городе, а бабушка и дед Иван Сергеич спали в своих комнатах. От темноты вокруг мысли ныряли глубже, плыли аккуратней. В кладовой шуршало, что-то скреблось и стучало. Я подозревала, что это звуки оттуда, из моего потерянного мира, который, может быть, тоже меня потерял и пытается найти. Темно-синий дракон сопел под антресолями, покачиваясь в своей сети. Он задержался на некоторое время, но тоже в конце концов оставил свой угол, испарившись, истаяв, распространив после себя лишь призрачное поблескивание.

...На том стуле, что стоял в кладовой, сейчас сидит мой сын.

— Там вдали, кажется, звезда видна? — это говорит сын. Он отходит к окну и вглядывается. Звезда моргает, как одинокий глаз. И мальчик спрашивает, бесконечен ли космос. Он не боится темноты и засыпает один в темной комнате...

* * *

Потом начались дожди. Те, которые я знала раньше, были не такие, то были детские дожди. А теперь начались взрослые.

Прежде дожди оживляли август. В пыльном мире новых микрорайонов вдоль Волги в далеком городе моего детства Бог сидел на огромных серых облаках и выжимал на гречишные поля вокруг свои мокрые платки. «Боженька плачет» — сказал мне однажды маленький боязливый мальчик во дворе. Так объяснила ему ласковая бабушка. От нее всегда пахло старым и глубоким, мы специально садились на скамейку рядом с ней и вдыхали эту глубину. Бабушка грелась на солнце, очень сухая, птичьи косточки. Она могла смотреть на тебя не мигая очень долго. Она была для нас существом потусторонним, почти духом. Иногда бабушка закрывала глаза. Тогда начинался ветер. Она не открывала глаз. Начинался дождь.

Она не шевелилась. И мы тыкали боязливого мальчика, заставляли его пошевелить бабушку, а то вдруг она умерла. Мальчик шевелил. Та медленно открывала тяжелые набрякшие веки, поводила плечами и радостно улыбалась. Казалось, она сама радуется, что еще не умерла. С каждым годом она становилась все меньше и меньше, как будто сохала.

Вера в плачущего боженьку закрепилась и росла в этом дворе вместе с нами. Мы не умели отстраниться и были отзывчивы. Навстречу трепетали серебряные пирамидальные тополя. Очарованные то ли бабушкой, исчезающей на наших глазах, то ли невидимым плаксивым боженькой, мы уходили на пустырь, окруженный деревьями, где молча таращились на мир из деревянной беседки или равнодушно поедали черные ягоды, созревшие вокруг на кустах и в траве. Нас ловили за этим. Однажды боязливого мальчика испуганный не на шутку отец даже оттаскал за ухо принародно, обещая ему не только рвоту черными ягодами, но и скорую смерть в страшных муках. Мальчик в ответ выл то ли от страха, то ли от обиды. Остальные, насупившись, молчали. Как раз собирался дождь, и наши хмурые лица соответствовали кислой погоде. Наконец закапало, дождевая вода перемешалась на лице наказанного мальчика со слезами и грязью. Он стал похож на маленького мокрого чертенка, которого выгнали из преисподней. Его отец велел нам идти в беседку переждать ливень или же бежать по домам. Но тут мокрая прохожая тетка налетела на нас: «Успокойте же его кто-нибудь!»

— Боженьку? — спросила Олька, девочка, у которой имелась большая, на зависть нам, собака. Олька задрала голову и смотрела на серые тучи, на которых (или за которыми), по нашим детским представлениям, сидел Бог. У Ольки еще была тайная цепочка с крестиком, я ее видела. Так что она точно знала, где высматривать боженьку. Все остальные вслед за Олькой и даже испуганный посторонним вмешательством папа задрали свои головы.

Кто успокоит боженьку, этого небесного плаксу, который сидит у себя на облачке и страдает, вероятно, от одиночества?

Небо шевелилось. Мне было девять лет. О божественном я не знала ничего другого.

...Теперь же дожди сообщали замысел этого мира: вода текла по земле, падала с неба, человек состоял из воды почти как огурец. В сказках мертвая и живая вода гарантировали существование герою. Жизнь зародилась в воде, каждый младенец до времени купался в материнском океане. За всем этим стояло что-то всеобъемлющее, без труда сопрягающее явления и судьбы, возвращающее и забирающее. Невидимое, оно обеспечивало учебники фактами, которые ложились в наши головы легко и естественно, будто сама вода, заходящая в русло. Вокруг детского боженьки образовалась обстановка, сообщество существ и предметов. Теперь он напоминал яркий образ с буддийских танка — некто красивый, разноцветный и безучастный собирает вокруг себя все на свете, хорошее и плохое.

Еще взрослые дожди торопили осень. Поторапливали все новое, которое грезилось, которое обещало нагреть незамедлительно, как только учебный год вступит в свои права. А вот в нежном детстве все было не так. Хотя я помню, как однажды в грозу, лет в одиннадцать, я заглянула в свое будущее.

Пианино

Однажды серость и предгрозовая духота заполнили каждую щелочку в квартире. Пару крикливых попугайчиков заткнуло, приклеило к жердочке. Книги в шкафу слиплись. Розовые обои покрылись налетом. Новая школьная форма, которую завтра уже предстояло надеть, свежие цветы, привезенные с дачи для школьного торжества, казались выцветшими и какими-то умирающими. Скучно. Следовало спастись от ощущения, которое портило сладкое ожидание завтрашнего праздничного дня. Хотя бы вынести эту скуку из дома, подальше от новой формы, от чистых тетрадей и симпатичных цветов.

Двор пустовал. Жара стояла такая, что я чувствовала себя подтаявшим мороженым. На глаза сползали капли соленого пота. На первом этаже зияла дыра, балконная дверь была открыта — красотка Эльвира, кудрявая четвероклассница, демонстрировала всему пустому серому свету свою красоту, подчеркнутую материнской косметикой. У нее было много грустных кукол, много красивой одежды, в ее комнате был длинный балкон — она была везучая, эта Эльвира. Родители часто отсутствовали, безалаберная молоденькая тетка охраняла и квартиру, и племянницу, с которой достигла максимального взаимопонимания — дамы не лезли друг к другу, и обе существовали вольготно.

Тетки не было дома. Эльвира, с трудом разлепляя губы, склеенные слоями материнской помады, пригласила войти.

В холодильнике мы нашли торт и вкусную колбасу. В комнате Эльвириных родителей оказалось много интересных взрослых вещей. Мы сделали себе начесы, примерили лакированные туфли. Потом вырезали костюм привидения из старой белой клеенки. Вакханалию завершили солидарно: с балкона накидали на пустой газон сухого гороха, понаблюдали за нагрянувшим дождем, который благосклонно поливал наш горох, и со спокойным сердцем ждали урожая.

Когда наскучило, Эльвира достала нечто с котиками на обложке: блокнот, в котором витиевато ярким фломастером кто-то записал стихи, а ручкой сама Эльвира — корявые длинные нечитаемые строчки.

— Это мои мысли, — высокомерно сказала Эльвира, захлопывая блокнот перед моим носом.

Раньше я видела у девочек только тетрадки, сплошь заклеенные картинками и зарисованные сердечками. Эльвириный дневник без картинок стал откровением: она писала там какие-то «свои мысли».

Ни один человек, должно быть, до поры и не предполагает, что однажды мир перестанет помещаться в нем и попросит выхода. Так что Эльвира осталась стоять со своим блокнотом, удивленная поспешным окончанием визита, пока я быстро обувалась в ее прихожей. И одновременно прикидывала, какая же тетрадь — покрасивее или потолще — подойдет для моего личного дневника, для записывания мыслей и стихов.

Мыслей ведь может быть много, очень много. Поэтому самая толстая тетрадь вместила мои первые дневниковые сочинения — стихи. Они вышли довольно глупыми, поэтому пришлось заклеить их картинками из маминого журнала «Работница», нарядными тетками и красивыми тортами. Дневник с заклеенными стихами долго лежал в самом дальнем и тайном месте — в выемке с обратной стороны письменного стола, плотно придвинутого к стене. Иногда я отодвигала стол и доставала дневник. Самосочиненные стихи без остатка стерлись из памяти, но если перелистнуть исписанную и заклеенную страницу, то на обратной ее стороне выступали силуэты букв, неровные их ряды, которые свидетельствовали о вдохновении, которое осторожно заглянуло в открытое окошко детской жизни.

Мимолетная подружка Эльвира скоро растворилась во времени, может, переехала куда-то. А может, я просто перестала ее замечать. Зато желание самовыражения приняло эпические размеры, слишком великие для одного дневника. И я записалась в школьный хор.

— Что ты горло дерешь? — измученно закатывая глаза, пицала руководитель хора Дарья Ивановна. У нее был удивительный неприятный голос, она могла переписывать на самых высоких нотах самую мелкую хоровую пичужку. При этом Дарья Ивановна сама была крупна, издали походила на огромную трубу ТЭЦ.

— Не ори, Роза, молю тебя! — в ее глазах трагично горел огонь негодования. Она бы меня отправила прочь, но, к ее несчастью, у меня был слух. Детей со слухом из хора удалять воспрещалось. Скоро, однако же, хор надоел — солировать Дарья Ивановна всегда ставила других.

Но хороший слух, как определенная способность к музыке, раззадорил маму. Посоветовавшись с бабушкой, она потащила меня к репетиторше по фортепиано. Пурпурная дама, похожая на пухлый пион, ввела нас в гостиную, полную цветущих растений, среди которых черным горбом выступал блестящий немецкий инструмент. Поддоны цветочных горшков усыпаны были стеклянными шариками. Несколько стекляшек тут же оказались в моем кармане. Таким образом, моя музыкальная карьера началась с мелкого воровства.

В своих джунглях пухлый пион казалась жрецом кошмарного ритуала, туземной царицей. Инструмент говорил на немецком. А я была жертвой. Извлечение звука горлом или посредством пальцев не внушало мне особенного почтения. Это просто напряжение — горла или пальцев. Пение еще куда ни шло, а шлепать по клавишам... Но что возразишь

маме, которая окончила музыкальную школу? Маму восхитила и замысловатая обстановка квартиры репетиторши, и голосистый инструмент не нашего производства, и сама нарядная учительница. Они договорились, что я отдана в плен на год — для подготовки к музыкальной школе.

* * *

Семейное пианино «Енисей» путешествовало с нами. Ему хорошо было в средней полосе нашей огромной страны, неплохо — в Сибири. Оно — часть семьи. Бабушка купила его еще для мамы, когда той исполнилось десять. Черное, матовое, с желтыми, а не белыми клавишами, оно дребезжало под мамиными пальцами десятилетия и дребезжало под моими. Звук его — мыльный, серый, клейкий — растекался из-под пальцев, тек из-под ног, тревожащих педали. Затекал во все. Вибрировал где-то в животе, в коленках, в голове — во всех пустотах тела, нарушая гармонии этих пустот. Звук выходил из балконной двери, исчезал в светло-зеленой пене листвы. Мелкой листвы, зеленой жвачки. Если был дождь, звук смешивался с дождем, и казалось: так звучит дождь. Но звук пианино был холостой, бесплодный. Он ничего не мог оплодотворить, засеять. Поэтому раздражал, путался, как надоедливое животное, хотелось ударить звук — таким грубо-осязаемым он был.

И по сей день редко музыка вызывает у меня радость, все больше она оборачивается для слуха шумом, внося вторичный хаос, поломку в устройство мировых механизмов, которые бесшумно поворачиваются, производя грозы и все другие явления, производя шевеление нервов внутри человека, сталкивая и разводя людей, подсылая случаи. Но иногда все же зацепит и — как будто помотришь внутрь себя — потекут небывлицы, побегут прежние люди, откроются бездны предопределений. Все в такой миг становится объяснимо и в объяснимости своей гармонично. Но все-таки я не до конца верю музыке. Она — только случайное касание нотой важного внутреннего механизма. Но сколько в этом заслуги самой музыки? Без готовности души к раскрытию, к расцвету любая нота бессильна. Впрочем, все гармонии человеческие, хоть музыка, хоть стихотворение — только возможность, только стук. Откроется ли дверь на стук — вот в чем вопрос.

Пухлый пион-репетиторша играла. Мама играла. Я вынуждена была играть. А поскольку вынуждена, то и получалось плохо. Грубый звук пианино мешал всему. Это был грохот, требование отворить. Он мешал траве стремиться вверх, дождю идти, облакам плыть, бежать собакам, детям и яблокам расти и зреть. Все и так, само по себе, безо всякой лишней музыки звучало, волновалось — но только на другой, неслышимой частоте. Громкое пианино перебивало, заглушало это дрожание, полонило его, как сорняки грядку. Мешало, мешало.

Гроб на колесиках — так я его называла. Ласковая репетиторша мучила меня два раза в неделю. Очевидно, ей было совершенно нечем заняться даже летом. Меня даже специально не отправили в летний

лагерь, чтоб я репетировала и поступила сразу во второй класс музыкальной школы. Наши с Пионом скуки слились в нечто неподражаемое: я воровала у нее цветные стекляшки из цветочных горшков, она садистской улыбкой побуждала играть. Казалось, оглушение наступало не только у меня и у нее, но и у всего мира, даже окна запотевали от наших занятий. Невыносимое звуковое безумие обосновалось в бордовых пухлых, под стать хозяйке, креслах, валялось под столом на белой этнической кошке, таилось в кровавых цикламенах. Наконец занятие заканчивалось. Меня, глупого нажимателя клавиш, освобождали какие-то добрые силы.

Музыкальная школа, где преподавала все та же пухлый пион-репетиторша, вселяла в меня ужас и панику. Семейная установка на то, что приличная девица должна музицировать, рушила мою жизнь. Стены музыкальной школы ходили ходуном от рычания, пиццания, сипения самых разных инструментов. Но офицерский ремень отчима дома всегда висел на видном месте, как раз недалеко от пианино. Мама указывала на него всякий раз, когда я не желала делать музыкальные уроки.

— Роза, играй!

Что ж, Роза играла.

* * *

Нужно хорошо изучить своего врага, чтобы превратить его в друга, услышала я где-то.

Я открывала стенку фортепиано под клавиатурой. Внутри стояли две большие банки с водой — их ставили, чтобы инструмент не рассыхался. Деревянные приводы педалей внизу и две плоскости со струнами под верхней крышкой — и больше там ничего не было. Просто механизм, все в нем натянуто и закреплено. Музыка всегда приурочена к инструменту. Она могла быть прекрасной, но всегда чужой, исходящей от чего-то постороннего, от умения сочетать возможности инструмента и способности исполнителя. Она может только быть похожей на что-то. Это лишь грандиозная система имитации. Абсолютное созидание, чистое и незамутненное, предполагает волю творца и как материал, и как инструмент. Другая музыка обитала в природе.

Репетиторша, к моему ужасу, скоро стала часто появляться у нас дома — потому что мама с ней задржила не на шутку. Наши семьи ездили вместе по грибы или на шашлыки в лес или на реку загорать. Скоро она сообщила матери, что я прогуливаю занятия.

Последовала буря — потому что на музыкальное образование были истрачены уже немалые средства, которые укрепили надежду, что дочь все-таки вырастет «девочкой из хорошей семьи». Чем противостоять этой буре, мне было неизвестно.

К счастью, во Дворце культуры открыли самодеятельный цирк. Занятия в детской студии по времени как раз совпадали с музыкальными. Не то чтобы я любила цирк. Скорее даже и не любила. И даже терпеть

не могла. Но с музыкой должно было быть покончено любым способом. Я знала, что мать с отчимом не потерпят пустоты в моей юной жизни, и детская хитрость подсказала заполнить время чем-то другим.

Клоуном быть неинтересно — они никогда не смешны, только убоги. Дрессированных животных я жалела. А вот акробаты под куполом — сказочные создания, прямые, как стрелы, и сияющие, как звезды. Блеск костюмов и восхищение — это отличная взятка юному честолюбивому созданию.

Мама смирилась с бунтом — потому что «ребенку надо развиваться физически». И занятия музыкой были упразднены. Гроб на колесиках, наверное, отдыхал от меня с не меньшей радостью, чем я от него. Пион, вероятно, с облегчением вздохнула.

В цирковой студии все шло трудно и больно. У меня многое получалось, но настоящего успеха не было. На ведущие номера преподаватели всегда выбирали других, более складных, сформировавшихся девочек, которым уже шли блестящие костюмы. За некоторыми девочками уже приходили мальчики — их не пускали в класс, но они подглядывали в приоткрытую дверь. Они подглядывали, конечно, но кому понравится тощая рыжая девочка в веснушках — страх же, ужас! Какие-то поклонники водились и у меня — в двенадцать-тринадцать лет уже обязательно есть кто-то, кто смотрит на тебя пристальнее других и гадости делает с большим удовольствием. Но поклонники были пока бесцветны, легки, как привидения. Они были ровесники, одноклассники, болтуны и придурки. Они прятали девчачьи портфели в мужском туалете и воображали, что это остроумно.

* * *

Когда мне исполнилось четырнадцать, о цирковой студии было забыто. Мы вернулись в свой город, я пошла в новую школу, где честолюбие изыскало для себя другой путь, подсказанный учительницей биологии: она поведала о престижном лицее, где ее предмет изучался глубоко. Я любила книги — все, какие можно было найти, особенно о дальних странах, о путешествиях и экзотических животных. Живая природа, хранилище тайн, ждущих своего героя, была величественна и бесконечна, и уж явно главнее нас, людей.

Родители внезапно вдохновились фантазией о моем будущем в науке (недаром мы устроились на жительство в городке ученых, а мама поступила в научный институт начальником снабжения). Вступительные экзамены в лицей сдавали дети со всего города. Их было так много, что, получив задание и листы для ответов со штампом в углу, я решила бежать, побоявшись провала, — столько умных людей одновременно я видела только на городской олимпиаде по биологии, которую недавно как раз провалила. Но бежать было поздно, меня усадили за парту.

А когда через два дня результаты вступительных испытаний огласили, меня, безмерно гордую собой от успеха, отправили к бабушке на дачу.

До новой — совершенно, абсолютно новой! — жизни оставалось каких-то два с половиной месяца.

Все так же на даче бабушка варила компоты из ранеток, а ее брат боролся с травой мокрицей. Он уже редко брался за фотоаппарат, в компании с которым теперь выглядел все жалче и жалче — у деда здорово тряслись руки. Тщедушный его облик как-то вылинял, Иван Сергеевич сливался теперь с окружающим миром. Где бы дед ни находился, казалось, он часть места, дома, часть кресла, в котором отдыхал, стола, за которым сидел. Зато фотоаппарат на его шее выглядел огромным черным куском, камнем Каабы. Вещь перевешивала материальность деда. Он стал заговариваться, терять ориентацию в пространстве, и его уже не выпускали за пределы дачи одного — бабушка боялась, что брат заблудится. Дед Иван Сергеевич всегда был единственным близким мне по духу взрослым. Но разум его день ото дня таял, что было заметно даже мне, ребенку. Мы почти не разговаривали, я теперь сторонилась его. Мне казалось, что, обратившись к нему, я верну его туда, откуда он убегает. Он смотрел иногда, радостно улыбался — но радость его была грустная.

Иногда ему становилось холодно и его кутали в пледы. Он сидел беспомощный, обернутый в десяток толстых разноцветных тряпок. Тогда казалось, что есть только клубок тряпок, а деда нет — весь вышел в тряпки. Потом я трогала пледы — когда их снимали и складывали на кровати, — не мокрые ли, потому что растворение Ивана Сергеевича как будто происходило прямо на глазах. После раскутывания, после того как бабушка убирала пледы, дед всякий раз казался еще тоньше, ничтожнее, чем был. Но эта телесная ничтожность завораживала — как ничтожность былинки, которую покрывает снег. Было страшно, что он испарится. Иногда он сидел в своих пледах до поздней ночи. Я сидела с ним, наблюдала, чтобы в случае чего, в случае, если, например, он начнет исчезать, позвать скорее взрослых для его спасения.

В такие вечера я поняла, что мир никогда не спит. А когда мы, люди, спим, он бодрствует вокруг нас — и мы спим под чьим-то пристальным взглядом. И сны нам навевают. Или нас навевают миру через сны. И я дула на спящую маму, а утром спрашивала, не приснилось ли ей чего необычного. Мама отмахивалась, потому что я была «слишком большой девочкой для таких дурацких шуток».

В один из вечеров дед тихо растаял. В один из прозрачных вечеров, пахнущих вареньем, дед Иван Сергеевич тихо растаял в пледах. В один из вечеров, спелость которых можно было пробовать зубочисткой, как спелость варенья.

Бабушка захандрила. На какое-то время ей пришлось переехать к нам.

— Роза, играй! Не ломайся! — к вечеру бабушка подбирала ладошкой морщинистую щечку и ставила на кресло тонкий локоток. Она готовилась, что однажды я наконец научусь как следует играть и буду ее гордостью. Но все никак не могла дожидаться. Так и умерла, не дождавшись.

Это случилось на следующий год. Она гостила у нас или, как говорила сама, «присматривала за ребенком», то есть за мной.

В тот день разыгралась буря, за окном носился пересушенный песок, пробирался на подоконники, сыпал на пол под окном. А вдруг нас заметет — весь город? И какие-нибудь паладины, которые возвращаются на усталых конях через пески к себе домой, к своим возлюбленным, к своим жалким домам вторых сыновей, найдут нас, откопают еле живых. И один влюбится в меня, и мы будем жить долго и счастливо среди пахучих лавандовых полей... Что скажешь, бабушка?

Посмеиваясь над моими средневековыми книжными фантазиями, бабушка уселась в широкое кресло, закуталась в яркий, как лаванда, платок и перебирала лоскутки в корзинке — она любила на досуге мастерить крошечные коврики. Я же забралась на подоконник и ждала, когда начнут падать деревья, полетят крыши и взмоют в небеса строительные вагончики. Но хотя небо становилось все темней, а ветер не стихал, деревья стояли как ни в чем не бывало. Вдруг бабушка ойкнула, хрюкнула. Потом выпрямилась на кресле, будто собиралась встать, вытянула руку в сторону окна, за которым гуляли золотистые пылевые клубы, — закрыла глаза и обмякла. Что-то внутри меня понимало происходящее куда лучше, чем я сама. Оно велело мне слезть с подоконника и уйти в ее спальню. Там в тишине бабушкиного шкафа темными книжными корешками застыли Стендаль и Диккенс, зеленел Блок, пыжились исторические романы, которые часто доставали, и коченели забытые производственные. Первая попавшаяся книга, открытая наугад, предупреждала меня: «Но о сохранении человеческого рода природа подобным образом не позаботилась. Наоборот: она создала человека голым, нежным и хрупким, не снабдив его ни наступательным, ни оборонительным оружием, создала в состоянии полной невинности еще в золотом веке; она сделала его существом одушевленным, а не растением; существом, рожденным для мира, а не для войны, рожденным для радости и наслаждения всеми плодами и растениями, для мирного владычества над всеми животными». Это был Рабле, полный веселой околесицы. Он занимал и в каком-то смысле утешал меня до вечера, пока нас обоих, и меня и Рабле, не настиг сон. Потом мама разбудила меня тихим всхлипыванием. За бабушкой приехали *какие-то*. Потом родители уехали покупать гроб и венки. Бабушкино книжное достояние с того вечера стало моим.

Означала ли бабушкина смерть что-то страшное? Ничего. Так же, как смерть Ивана Сергеевича, так же, как смерть кота, жертвы кошачьей чумы, которого мы зарыли под березой недалеко от дома. Это только кончилось утомительное, страдательное лето и началась огромная тайная метаморфоза. Во славу этого превращения, в память о бабушке, которая всегда хотела видеть меня высокообразованной девицей, я первые месяцы после ее кончины занималась музыкой даже усердно. Гроб на колесиках стал частью претворения, в нем поселилась благородная память. Его место у стены стало для меня законным.

Однако же новая моя жизнь началась, когда бабушка еще была жива. Она снарядила меня в лицей, предусмотрев все, вплоть до бумажных салфеток, которыми я смогу вытереть руки после того, как съем пирожок, предусмотрительно сунутый ею в сумку. Школьную форму отменили, и по этому поводу бабушка очень сетовала — ей хотелось сообразить внучке замысловатый парадный фартук, как дочери когда-то. Но я на фартук ни за что не соглашалась.

— Смотри, не проедь свою остановку, — они с мамой на пару тревожились о том, что новая школа очень далеко, в самом центре города, в часе езды от нашего микрорайона. Я не говорила им, что уже давно без спросу совершила разведку — в один из душных летних дней, когда взрослые уехали на кладбище с телом Ивана Сергеевича. Металлические лавочки и детские лазалки в этот день обжигали пальцы, а воздух люди заглывали, как рыбы, — отрывисто. Тополя в середине лета стояли уже наполовину голыми. Коричневые полусухие листья завихрялись в горячем воздухе и ползли по асфальту, переворачивались — это напоминало биение умирающих бабочек. А лицейское здание напоминало склеп. Там было сыро и холодно. Я прогулялась по коридору первого этажа, никого не встретив. Под первым этажом кисли гулкие дореволюционные подвалы. Туда, очевидно, несли гнилые парты, жесь, рваные учебники, старые журналы, тетради и другое — все это было навалено в нише возле открытой двери в подвал. Подвалы, впрочем, произвели на меня самое благоприятное впечатление, там было не страшно. Любой дом должен иметь свое зазеркалье, свои узкие лестницы и запретные углы.

Школа в этом смысле была правильным зданием, в чем удалось убедиться сразу после начала учебы. Директор — тучная женщина с огромным белым начесом на крупной голове — провела для нас экскурсию. Когда-то давным-давно здесь был госпиталь для раненых: сначала Русско-японской войны, потом — Гражданской, а потом и Великой Отечественной. В классах стояли не парты, а кровати, в самых светлых — операционное оборудование. Небольшие частые окна в таких классах доходили до потолка.

Другие классы напоминали университетские аудитории-амфитеатры. Лестницы приятно закруглялись на поворотах. Огромные и грустные витражи — заснеженная девушка с печальными глазами, Маяковский, весь пропитанный красным, — бросали на ступеньки разноцветные радостные отблески, которые тлели под нашими ногами. Под лестницами — входы в подвал, всегда приоткрытые для вентиляции.

Лицейсты проникали туда и рылись в старых учебниках, в старых дневниках и журналах. Иногда находили записки прежних школьников, и любопытство награждало их живописными образами чьих-то удач, неудач, любовей — дети отзывчивей на чужое счастье или несчастье. И в четырнадцать лет, когда понятие любви закружено до нереальности,



когда оно бесплотно и бездвижно висит, как горячий воздух, над городом, каждый готов его разделить — то есть сузить от вселенской любви, общей, до какой-нибудь отдельной и конкретной.

Тася

Из позднего детства, из подросткового огорода, как из земли, произрастают самые причудливые человеческие формы. В это время уже видно многое, но ничего еще не ясно. Подросший ребенок — самое бесправное, самое жалкое существо на земле. Он осознает свое равенство в этом мире, но не может аргументировать его. Он хочет справедливого отношения — и защищается постоянно. Он не может рассчитывать на особое внимание к своей душе, хотя она изначально полноценна, душа не растет уже в течение жизни, а только просветляется или загрязняется, прозревает или зарастает бельмами. Дитя рождается с полной душой. Подрастая, оно не может высказать свое волнение и боль — потому что еще не научено этому. А волнение и боль растут. Его трудно ненавидеть, но не менее трудно и любить. Взрослые, помните это!

Я ждала момента, когда смогу взмахнуть документом, заявив о правах и свободе, — паспортом, школьным аттестатом. В моих взрослых все казалось мне смешным или неприятным, надоедливым. Особенно их забота о здоровом теле — главное, чтобы ребенок не болел, был сыт и одет. Они как будто отказывались понимать, что я уже давно не младенец и в моей голове побольше мыслей, чему у иных взрослых. Но какими словами сказать им об этом? Почему они сами ничего не видят и не слышат? Не догадываются, что нужны мне не только как кормильцы, но больше — как собеседники?

И мы не шли навстречу друг другу, потому что всех сковывал страх: взрослых — подсознательный страх потерять того ребенка, который еще недавно гукал и тянулся к ним в безотносительном приятии, меня — страх быть непризнанной, страх оставаться в их глазах существом, просящим помощи. Я решила быть сильной и непреклонной — и тогда во мне увидят взрослую. Но возникла тогда и какая-то странная душевная уязвимость. Нежное детство стало вырождаться во что-то грубое, твердое, но страшно уязвимое, негибкое.

А тут еще родители вдруг начали ссориться между собой — и вовсе забыли обо мне. Когда же мирились, то вязли в своей мелкой птичьей суете, заколачивая гвоздики в погорелый остов семейного счастья, таская в скворечник всякие нужные вещи. Пытались, говоря шаблонно, спасти брак.

В семейной агонии до меня доносились лишь их поучения, сухие и правильные. Да, у меня «на подкорке» записано все, что они говорили. Но это были пустые слова — сами они не соблюдали своих правил. Что было, например, делать с постулатами «врать нехорошо» или «человек должен быть гордым», если сами они врал и пропадал и вся их

гордость заключалась в том, чтобы уязвить друг друга сильнее.³ Поэтому простые моральные понятия, естественно присущие любой душе, существовали для меня отстраненными идеалами — буквальными, чистыми. Идеалами из книг. В настоящем мире им не было места. Ради них появился другой, особый мир. Скрытый от всех, это был мир той комнаты, белоснежной террасы, который исчез в глубинах моего нежного детства. Допуск в этот мир был ограничен.

И все же кое-кто мог туда попасть — такие же подростки, которые существовали в своем идеальном пузыре. Например, одноклассница Тася, которая лишь от чистоты души завидовала двум подружкам-неразлучницам, гладким, загорелым, подобранным, уже — маленьким женщинам и при этом — нашим одноклассникам. Они бродили, как привязанные, вместе о чем-то шушукались, не подружки, а варежки на веревочке, деятельные, веселые. Тася смотрела на них издали с чувством даже некоторого недоумения, происходящего, естественно, от ее собственных скучных четырнадцати лет, от книжных интересов, от противной зеленой лампы в библиотеке школы, где работала ее мама и где она сама проводила большую часть времени после уроков. Она считала состоявшимся будущее наших неразлучниц — они обе, должно быть, невероятно удачливы во всем. И сосредоточенно, удивляясь такому феномену, разглядывала их на уроках. В ее воображении они были идеальны. Каким и должен быть человек в идеальном мире.

Тася была смирным подростком. Таковой ее считали все взрослые. Учителям ее заторможенность казалась божьим благословением, они сосредотачивали на оцепенелой девочке все свое внимание, когда класс шумел, — пятнадцать минут от начала урока и пятнадцать минут до его конца. На Тасю устремлялись глаза педагогов, и она напрягалась, выпучивала глаза, так что казалось — из глаз у нее посыплются искры. Она стремилась быть идеальной ученицей. Мне довелось сидеть с ней за одной партой пару месяцев, и это была сущая пытка. Все казалось, что бледное существо упадет в обморок от напряжения. У нее была толстая жилка на виске, и она все терла ее — в первые и последние пятнадцатиминутки уроков. Эту жилку она могла бы однажды протереть до дыр.

Но Тася вовсе не была камышом, стоящим в своей воде, и все тут. В ней булькала какая-то особенная жизнь, редкое напряжение, которое выдавала обрывистая речь, всегда подрагивающие руки и очень-очень напряженная шея. Я знала, что Тася мечтала о славе. Все равно какой, но лучше — в качестве эстрадной звезды. Петь она не умела, танцевать тоже, но зато мама таскала ее на репетиции областного конкурса чтецов, и Тася сосредоточилась на победе.

Конкурс она проиграла, но мысль «иметь значение» в этом мире — в мире взрослых, в мире нешуточном, блестящем, серьезном и малопонятном нам тогда — захватила ее полностью. Фантастическая сосредоточенность Таси достигла предела к последнему классу, и какая-то неуловимая навязчивая мысль, альфа и омега, заключив в себе все устремления

и мечты, поглотила будто бы ее волю. Она не старалась стать красивой, заметней, она словно готовилась к настоящей значимости, которая, безусловно, наступит — как наступает вдруг неожиданно взрослая жизнь.

Однажды в библиотеке, войдя в состояние предельной задумчивости и стеклянными глазами уставясь в стену, Тася ухватила шнурок от лампы и дергала его до тех пор, пока из-за книжных полок ее коротко не позвала мать: «Иди-ка». Тася встала, пошла, зацепляя собою книги на столах. Читавшие подростки отвлекались, склонялись в проход поднимать упавшие книги, смотрели вслед, как она, раскачиваясь, шла и шла. И так бы она дошла куда угодно, если бы мать не вынырнула из-за полок на звук падающей литературы, скривила лицо в досаде и дернула дочь за расслабленную руку: «Ну, что ты?» Тася же, не слыша будто матери, плыла в мыслях, и плыла, и уже выплывала из библиотеки. И уже опускалась на нежную травку в скверике. И травка приближалась, приближалась и уже зелененько, сладко расплывалась в глазах. Мать еле успела подставить под спину Таси свои тонкие интеллигентские руки. Не удержала бы, если б из-за ближайшего стола не метнулся мальчик.

* * *

Мальчик был одет в синюю самовязаную кофту. Эта кофта застряла тогда в моей памяти, провоцируя воображение: наверное, у него добрая мама-рукодельница, дома пахнет пирожками, еще чем-нибудь, бегают собака, кровать аккуратно застелена (моя собственная кровать, или, как называли ее родители, лежбище, была вечно закидана книгами, тряпьем, это срам для подростка, который только что стал красить ресницы).

Звали мальчика Егор. Мы считали его слишком обыкновенным. Нам нравилось все яркое, все необычное.

Но тогда Егор спас Тасю от сотрясения мозга и для библиотекарки Зои Васильевны стал героем. Ему выдавались на дом книги из читального зала, у него и Зои Васильевны случались продолжительные беседы, так что Тасе, а порою и мне, ожидающей Тасю, приходилось по два часа зевать, слушая их споры о книгах. И это казалось, по правде говоря, беспокойным сотрясением прямого и честного воздуха. Мы хихикали в пустующем зале — вот два чудика! А то и раздражались — если библиотекарьша и мальчик сильно увлекались и беседы затягивались.

Потом мы стали просто убежать в гости к Тасе, оставляя Егора и Зою Васильевну трещать, например, о поэзии.

Их дом, небольшой, старинный, каменный, был настоящим семейным гнездом — его построил прапрадед Зои Васильевны, то ли купец, то ли богатый мещанин. Наследницы славного предка, впрочем, занимали только четвертую часть — то есть одну квартиру из трех комнат на втором этаже.

Тасины соседи были людьми если не весьма достойными, то, безусловно, интересными. Алкоголик Александр всегда ставил за своей

дверью пустое ведро. Иногда — ведро с парюю опустошенных бутылок, если сильно напивался накануне и не чуял в себе силы проснуться на звук пустого, когда придет с ночного дежурства его дочь Соня. Напившись, он мог заснуть где угодно, и дочь его за это ругала. Ведро сигнализировало, что опасность на пороге, и он мог метнуться до своей койки. Соня была блеклой женщиной лет сорока, безмужней, бездетной. Находя отца пьяным на общей лестнице, она орала в расстроенных чувствах: «Иди в дом, старый ты пердун!» Короче, старик боялся Сони, которая, видать, время от времени его поколачивала — не жестоко, а так, под горячую руку. Соноу всегда было жаль. Да и его тоже. Тасю старик привечал и, бывало, любовно пускал её вслед одно-два матерных ласковых словца. Зоя Васильевна часто ругалась с ним из-за этого. Она была самым интеллигентным человеком в доме. Ее и в глаза и за глаза называли «библиотекаршей» и признавали безусловное ее превосходство.

В другой квартире на этаже проживала старушка Леонида Азимовна. Она с трудом вспоминала Тасино имя, не узнавала соседей, зато очень подробно рассказывала, как работала на патронном заводе в войну, так подробно и ясно, будто только вчера отошла от станка. У нее была дочь и трое внуков — двое одинаковых белоголовых мальчиков лет десяти и девочка постарше. Девочка молчала и чуралась нас, хотя мы пытались подкупить ее конфетами. Дочь же свою Леонида называла «оторвой». Красивая «оторва» Татьяна Павловна была уже немолода, но у нее водились еще кавалеры, на которых мать, седая старуха, всегда шипела. Татьяна Павловна шикарно одевалась, детей своих подкидывала Леониде, сама жила в удовольствие в собственной квартире. Нам особенно нравилась ее обувь — в пору дефицита всегда яркая и на высоком парадном каблуке. Ни моя мама, ни Зоя Васильевна такой не носили.

Еще одни нижние соседи нам не нравились. Кто они такие, Тася толком не знала, да и все равно — они были серые полные люди, совершенно обычные. Они были похожи на серое скучное лето. У них жила, правда, прекрасная собака — грациозная, тонкая афганская борзая. Потом Тася сказала, что соседка — заведующая институтской столовой, и поэтому богатая. Собака у них скоро умерла. А больше ничего в них такого и не было.

Тасин дом стал для меня почти своим. Во всяком случае, так хотелось думать. Мои семейные обстоятельства смешались настолько, что все превратилось в хаос, все части семьи двигались независимо друг от друга — каждая движущая часть выражала свою волю и настаивала на ней. И наконец все разошлось в разные стороны, и забыли про других, и устраивались сами как хотели. Теток и дядьев давно уже не было на горизонте, после смерти Ивана Сергеевича и бабушки все связи прервались.

Драма, нет, даже не драма, а какой-то стыдный маскарад разыгрывался матерью и отчимом. Со сценами, вмешательством каких-то знакомых. Так что я подолгу сидела или в школе, или дома у Таси. Зоя Васильевна не возражала, зная мои обстоятельства, лишь велела звонить

родителям, чтоб не теряли. «Когда уже твои предки разбегутся?» — вздыхала Тася понимающе. Ее отец слинял из дома несколько лет назад. Она была опытна в таких вещах.

Конечно, в моменты просветлений мать требовала моего присутствия дома, пекла пирожки и кричала: «Роза, играй!» Пианино, казалось мне, горестно вздыхает от этого крика ровно так же, как и я, — ведь мы сразу не подошли друг другу... Что она от меня хотела? Показать, что воспитывает?! Я замыкалась и прекращала разговаривать. Сказать предкам мне было нечего, разве что они надоели мне хуже горькой редьки и я мечтаю сбежать от них в морское путешествие или потеряться в джунглях Амазонки. Меня бы обсмеяли. Мать прищурилась бы и сказала ехидно: «Ну-ну». Сама она не ощущала, какое унижение можно испытывать от этого ее «ну-ну». Тихое «ну-ну» выросло до звезд. Я как будто плыла по реке в корзинке, несчастная и не нужная никому, в пустоте. Мне как будто сказали: будешь жить под луною «ну-ну». Может, когда-нибудь кто-нибудь выловит меня, удочерит, поцелует и откроет мир. А пока — помолчу. И я старалась молчать.

Однажды отчим собрал чемодан и уехал. Наверное, от такого же ехидного «ну-ну», которое мама освоила в совершенстве. Она порыдала, но скоро успокоилась, взяв дополнительную работу. По выходным оставляла меня дома с напутствием: «Играй!» Пианино в комплекте с дочерью сначала оставалось для нее бревнышком в бурном потоке, за которое она цеплялась — чем-то из старой жизни, над чем она была властна. Но все чаще она играла сама, как будто разговаривала сама с собою. Обо мне она словно стала забывать. Я как будто испарялась из ее памяти. А она — из моей жизни. Она уходила в свою, новую.

Когда родители наконец разменяли квартиру, мне выделили желтую, всю в кленовых листьях, сделанных известкой по трафарету, комнату в квартире матери. Жить в ней было тесно не только физически, но, главное, морально: мне казалось, что я в нее не вмещаюсь, что я — в коробке. Поэтому плотно, как изнутри чемодан, заклеила ее картинками и репродукциями, вырезанными из журналов и книг, — чтобы создать пространство. Но это мало помогло. Стало только хуже. Поэтому я задерживалась у Таси сколько могла.

Наша с ней дружба не была дружбой в прямом смысле слова, потому что оказалась лишена главного: бескорыстия. Она была корыстна. Мы сосуществовали: у Таси было родовое гнездо, где и я могла сколько-нибудь согреться; а Тася видела во мне того, кто не обидит ее, — она всегда и больше всего боялась быть обиженной.

Я не говорила матери о частых посещениях дома Таси. Она теперь хотя и мало замечала меня, но при любом удобном случае становилась подозрительна — выработалась у нее какая-то особая странная привычка во всем видеть подвох. Она машинально выполняла ряд функций — карательную, питательную, объяснительную. К сострадательной и чувствительной она была не готова. Она казалась мне необыкновенно черствым

взрослым, хотя, как я понимаю теперь, это была лишь растерянность не определившегося в жизни человека. В свои годы она была похожа на меня, подростка, — тем полудетским эгоизмом, который провоцирует необходимое в этом возрасте одиночество. Но в ее возрасте эгоизм отравлял, как яд, одиночество становилось невыносимо. Чем она жила, за счет чего существовала? У нее не было ни любимой работы, ни особенных увлечений... Что ж сказать? Мы требовательны к нашим взрослым.

Может быть, она ждала проявлений дочерней любви от меня, а получала только угрюмое молчание и хриплые отговорки. Может, тогда она ответила бы мне материнской взаимностью?

Я наблюдала, как вели свою жизнь Тася и Зоя Васильевна. Тася недовольно бубнила, отчитываясь перед матерью, смотрела исподлобья, когда та принималась расспрашивать ее, спорила, кривя некрасивое личико. Зоя Васильевна обычно сохраняла добродушное спокойствие, но проявляла мягкую строгость, осаживая дочь, когда та перебарщивала. И я замечала, как бдительно и ненавязчиво библиотekarша наблюдает за ней. Она не стесняла ее в действиях, но каким-то ловким, незаметным способом — то интонацией, то намеком — направляла ее бунт в благоприятное русло. А когда замечала мой изучающий взгляд, то хитро улыбалась. Она сопутствовала нашей дружбе, не забывая вовремя накормить и дочь, и ее приятельницу, подсунуть вовремя учебники обеим. А Тася могла вспомнить о матери ни с того ни с сего — сидит на уроке и вдруг: «А мама собирается к тете Вале в гости». Их взаимная естественная привязанность вызывала у меня зависть.

Тася заходить ко мне не любила. Мамино неделикатное вторжение, которое могло произойти в любой момент наших секретных разговоров, ее подозрительное, на высоких нотах «Чем это вы тут занимаетесь?» («Чемэтовы тут занимаетесь», ха-ха) производило совершенно убийственное впечатление не только на пугливую Тасю, но и на меня. Чем мы можем тут заниматься? Бомбу делаем, что же еще. «Не огрызайся на мать!» — тут же подкручивала децибелы мать. «Не забывай, что тебе еще уроки делать!» — возвещала она, как оракул, и переводила взгляд на Тасю, намекая, чтобы та поскорее убиралась. «Школу не окончишь, кому ты будешь нужна, куда ты пойдешь? В дворники?» — следующий разряд предназначался также мне. Казалось, кто-то другой, не моя мама, ее устами произносит все эти глупые и злые слова. Обычно Тася сразу уходила, я задерживалась дома на полчаса, якобы для приготовления уроков, а потом спешила к ней, в бухту спокойствия, где мы быстро делали эти самые уроки, а потом могли спокойно помечтать.

Ум наш занят был мечтами, одними только мечтами. Я мечтала о цивилизации китов, которую открою и песни которой станут всеобъемлющим объяснением устройства Земли и Вселенной. Тася мечтала о своей будущей славе на избранном пока поприще. Но в одном наши мечты совпадали — по части романтических иллюзий мы были сестрами по разуму. Рыцари, мушкетеры, принцессы в башнях, магия Востока. Вся

телесность, вещественность была удалена из этого воображаемого мира, он существовал на каком-то бесплотном облаке. Мы и сами в этом смысле были пока ничто — что-то, не способное осознать в себе созидательных сил материи. Все вещественное и телесное нас оскорбляло, казалось избыточным, вульгарным. Тася морщилась, когда учительница профильного предмета произносила «жидкости организма», мы сбегали с урока, если изучалось размножение. Наша собственная природа тихо спала где-то внутри, дожидаясь нужного часа.

Мария

Однако в реальной жизни все старое, что лежало вокруг, и все новое, что появлялось, имело форму, цвет, запах, потребности. Поэтому всякий раз во мне поднимались неопрятные вопросы. Например, есть ли мужчины у Тасиной Зои Васильевны? И как с ней вообще кто-то может встречаться, она некрасивая, от ее одежды пахнет затхлостью?

Я лично не желаю быть как учительница литературы, бесцветная, полная, преклонных лет женщина, страдающая отрыжкой, думала я, понимая, что ничего другого про литераторшу нельзя сказать — только то, что она страдает отрыжкой.

Я не желала знать себя с физической стороны — уродливую человеческую фигуру из мяса и костей, прибитую к земле. Я с детства училась презирать тело: в семье — пока это сомнительное образование могло еще называться семьей — учили меня обращаться к возвышенному, не к вере, правда, а к идее. Книжки пропагандировали царство духа — даже если это был, например, Рабле. Физическое считалось неприличным, о нем говорили шепотом, хотя поцелуи в кино допускались. Но чем теснее и плотнее закутывали это «неприличное» в драпировки, тем более вязким, липучим оно становилось под ними, тухлым каким-то.

И тут в моей жизни, подтверждая благородство духа и тривиальность плоти, появилась Мария. Воздушная Мария принесла с собой ту физическую несостоятельность, которая так несвойственна взрослым и особенно — взрослым женщинам. Она была феей, наилегчайшим улыбочивым существом в голубой широкополой шляпе и голубом же длинном пальто. Мария была очень маленькой, ниже нас, пятнадцатилетних детей, очень хрупкой. Ручка ее напоминала птичью лапку, сухонькую, грациозную. Носила она всегда что-то воздушное, длинные разноцветные юбки. В Мариином лице — одна широкая улыбка, неправильный большой рот. В расслабленном положении верхняя губа немного приподнималась, обнажая зубы. Пшеничные волосы всегда распущены и завиты на концах. На шее звенят бусы и цепочки. Она казалась не одетой, а наряженной. И не человеком, а фарфоровой куколкой. Я даже сейчас иногда сомневаюсь, была ли она настоящей. Я не знала и не знаю до сих пор, сколько было ей лет, — хотя, безусловно, она была молода. Не имею понятия, где она училась и пришла ли к нам сразу после института, или же до нашей

школы она работала где-то еще. Может быть, я и слышала об этом, но память ничего не удержала. Я знала ее имя, знала ее адрес, видела ее мать, ее подругу и пару ухажеров. Она была радостной и воздушной, очень легкой. Она в ответ считала, что я похожа на Наташу Ростову в юности, — ну конечно, мне ведь стукнуло пятнадцать.

В Марии не было ничего лишнего, никакой человеческой избыточности. Она стала символом, перстом судьбы, ткнувшим в грубое пространство и обозначившим мне место — мое законное место среди чьих-то посторонних жизней.

* * *

Мария пришла в школу работать психологом. Считалось, что старшеклассники, которые углубленно изучают предметы и одновременно развиваются во всех направлениях, переутомляются. Помимо всего, Мария дважды в неделю читала нам, профильному классу, короткие лекции. Но нам куда больше нравилось, когда она приносила какие-нибудь тесты и мы «разгадывали» их. Всем хотелось узнать о себе, по большей части для того, чтобы показаться другим — друг другу — с особенной стороны. Мария, к нашему удовольствию, тут же подсчитывала, сводила и озвучивала результаты этого баловства. И тогда мы гордились собою, результаты пустяковых тестов тешили наше самолюбие. Неудивительно, что она быстро стала центром нашей маленькой компании.

Нас собрали из разных городских школ. Мы, в общем, оставались мало знакомы и после первого года обучения. Ежедневно, закончив занятия, ребята разъезжались по домам, кто на одну окраину, кто на другую. У каждого были свои друзья в прежних школах и дворах. После уроков по школе бродить не разрешалось — там занималась следующая смена. Но теперь после основных уроков мы под предводительством новой прекрасной учительницы уходили в небольшое здание вблизи от основного.

Неуютное, с узкими, холодными, очень высокими комнатами, оно в пасмурную погоду напоминало череду склепов, которые не могла осветить собой даже Мария. И однажды прямо оттуда — кажется, это было поздней, невероятно промозглой осенью — она вдруг пригласила нас, замерзших и загрустивших, к себе домой, в гости. Нас было человек шесть или семь. Что побудило Марию позвать нас к себе? Может быть, ей было одиноко? Или она сильно замерзла в каменном мешке? Мы, конечно, с радостью согласились.

* * *

Мария была одинока — в общепринятом смысле. То есть не замужем и без детей. Но у нее имелась какая-то своя жизнь, родители, взрослые, как и она, друзья. Наверное, она чем-то занималась в свободное время, не только же нами, недорослями. Но чем — трудно было даже предста-



вить, ровно настолько же, насколько трудно представить, чем занимаются феечки, когда не порхают.

В квартире ее, небольшой, уютной, на первом этаже линиялой пятиэтажки — две комнаты. В одной, закрываемой от посторонних глаз, громоздились двуспальная кровать и широкая зеркальная тумба. Это все, что удавалось разглядеть через щелочку — дверь закрывалась неплотно. В гостиной — стол у окна, покрытый вязаной бело-розовой скатертью, за ним мы обычно и сидели. Шкаф, два кресла, диванчик, большой бобинный магнитофон на тумбочке и старый проигрыватель в ней, с набором пластинок. Все — как везде, как в любых типовых квартирах, кроме, пожалуй, магнитофона. Но эта обычность ничуть не умаляла для нас привлекательности этого места — все эти обычные вещи принадлежали не кому-нибудь, а Марии.

Хотя сама Мария настолько не гармонировала со всем этим, с вещами, что казалось, зачем ей вообще все это? Она пила кофе — но казалось, что ей совсем необязательно иметь для этого свой кофейник. Летая с помощью пестрого зонтика, паря на огромных полях голубой шляпы, Мария могла бы перемещаться по всей земле. Она могла бы появляться в любом месте — зачем ей эта старая квартира с решетками на окнах, с кухней размером с кубрик? Здесь, на газовой плите, она по вечерам подогревала, вероятно, амброзию — ну не макароны же, в самом деле.

Иногда приходила ее мама — тогда становилось понятно, кто здесь хозяин. Мария лишь занимала эти помещения. Мама, если заставляла нас, была вежлива и доброжелательна. Однако мне казалось, что в ее взгляде просвечивало недовольство. Еще бы, ведь вместо того, чтобы заниматься своими делами, ее дочь якшается с подростками. Моя мама, будь она на месте мамы Марии, отреагировала бы точно так же.

С некоторых пор мы стали бывать у «психологички» чаще. Сидели у окна за столом, малознакомые друг другу вырастающие дети. Она поила нас чаем или варила кофе. Занятия психологией постепенно перешли в посиделки. Не дружеские, не школьные — какие-то другие. Говорили о музыке — Мария, кажется, была любительница западного рока и классики. В нашей компании тоже были любители — и не только послушать, но и поиграть: на гитаре, на трубе. Говорили о многом, обо всем, вперемешку с тестами, с незамысловатыми психологическими играми, взятыми из популярных книжек. Постепенно «мы» — общее, несозревшее, неразделимое — дробилось, разделялось. Когда бобины на доисторическом магнитофоне начинали вращаться, звук доходил до ушей, начиналось превращение, «мы» лопалось, словно мыльный пузырь, — и возникали «я». «Я» в каждом из нас как будто ждали этого, присмирив и стесняясь больших рук, своего удивления и жажды быть взрослыми. «Я» говорили, но сдержанно и тихо. Мария не могла их развеселить или успокоить.

Обычно я выходила из этой квартиры в некоторой растерянности. Мне казалось, что те самые «мы», которые вдруг под влиянием извне превращались в «я», не становились ближе, ничего не узнавали друг о

друге — ну, в самом деле, нельзя же было верить этой чепухе из книжных тестов. Однако некоторые и Мария говорили друг с другом свободнее и, судя по всему, знали друг друга лучше, чем я предполагала.

Вскоре стало очевидно, что я не понимаю многого из того, о чем они говорят, — темы становились все специфичнее, уже. У Марии и некоторых появлялись общие знакомые, которых они обсуждали, встречи, на которые они ходили вместе. Мне становилось обидно — меня никогда с собой не звали, хотя договаривались о встречах в моем присутствии, не стесняясь. Внутри себя я вдруг обнаружила какое-то подобие ревности — меня словно не брали в расчет. Заявлять об этом и напрашиваться было унижительно. И тогда во мне закипало подозрительное возмущение. Ну почему Мария тратит свое время, самое лучшее вечернее свободное время на то, чтобы слушать детскую болтовню?!

Бывали моменты, когда я склонялась в пользу Тасиного мнения — точнее, не мнения даже, а ощущения. Почему-то Мария была ей неприятна. Неприязнь свою Тася объяснить не могла, на все вопросы угрюмо отмалчивалась. Это было что-то вроде органического неприятия — некоторые не любят жаб, некоторые пауков, а Тася не выносила Марию. Зоя Васильевна относилась к Марии сухо. Все, что она говорила о ней, можно было уложить в два слова: молодой специалист.

* * *

Мне хотелось разделять чьи-нибудь интересы. Хотелось самой быть интересной для кого-то. Есть ли во мне что-нибудь ценное, что могло бы всех удивить, заинтересовать и оказаться вдруг полезным? Может, сгодились бы для начала навыки, полученные на фортепианных уроках «Роза, играй!»? Увы, у Марии не было инструмента!

Впрочем, если бы он и был, вряд ли я смогла бы очаровать кого-то своей жалкой игрой, пустой и равнодушной, которую подстегивали бы лишь минутная заинтересованность и тщеславие. Ведь я не любила музыку, а такое не скроешь. Даже в собственных глазах это музыкальное равнодушие теперь снижало мне цену. А уж остальные, ясное дело, начнут меня еще и презирать — как дуру, которая заучила пару мелодий из сборника «Фортепианные уроки для начальной школы», чтобы понравиться... Поэтому хорошо, что у Марии не нашлось инструмента. Ведь четверо из нас плюс Мария понимали в музыке. К тому же, как я знала, они вращались среди взрослых художников и музыкантов, сами были почти богемой — во всяком случае, хотели ею быть.

Как же стать интересной? Этот вопрос мучил меня. Наверное, беспокойство заметили. Иногда я улавливала взгляд Марии, в котором читала не то жалость, не то снисхождение. А, может, она что-то знает про меня — то, чего сама я не знаю, о чем не подозреваю? Я улавливала что-то тревожащее, какие-то вибрации в воздухе — ощущала их как какое-нибудь насекомое. Но что они значили, определить была не в силах.

Спрашивать казалось стыдным, вроде как я подозреваю ее в чем-то нехорошем.

Я стала бывать у Марии все чаще. И уже не только в компании, а одна, на правах как бы друга. Как бы — потому что малолетней девчонке странно иметь такие права по отношению ко взрослому. «Можно, я приду?» — спрашивала по телефону. Она жила недалеко, в пяти минутах быстрой ходьбы. «Сегодня у меня дела, но завтра приходи», — отвечала она. Я напрашивалась — она позволяла попроситься. Всякий раз я прощала себя за свою навязчивость, оправдываясь тем, что, может быть, и я скрашиваю ей жизнь, вдруг ей так же одиноко, как и мне.

Мама, зная, как часто я бываю у нечаянной соседки по микрорайону, недовольно фыркала (точь-в-точь как фыркало внутри меня, но очень тихо, аналогичное недоумение): чего это взрослая девушка якшается с вами, детьми, что-то здесь не так. На этом она не останавливалась, а развивала свои сомнения куда дальше, в области тьмы: может, она какая-то ненормальная? или преследует свои цели? зачем это вы все там собираетесь, что за секта? сколько вас? и мальчики есть?

Мамины подозрения расплывались необъятно, охватывая все возможные человеческие пороки, формируясь в подлые вопросы, которые звучали невероятно оскорбительно. Я почти перестала разговаривать с ней и только вяло огрызалась на допросах — наше общение отныне протекало именно в этой сомнительной форме. Мое отношение к Марии — вопреки и наперекор — не терпело никаких грубых вмешательств. Мне хотелось оправдать Марию в маминых глазах. Но получалось плохо. У меня не находилось аргументов, которые могли бы убедить ее. А может, ей вовсе не хотелось быть переубежденной?

* * *

Чем же ценна моя собственная жизнь — ну, помимо того, что она — жизнь как таковая? Ничего особенно ценного или хоть сколько-нибудь выдающегося, на первый взгляд. Да и на второй, пожалуй. Я выпросила у мамы гитару, решила научиться играть — и однажды всех поразить. Отныне после уроков я шла не к Тасе, не к Марии, а домой, в свой листопадный чуланчик, к потрепанному самоучителю из школьной библиотеки. Дело давалось тяжело, ничего, по правде говоря, не получалось — и, главное, было совсем неинтересно. Может быть, мое предназначение откроется в будущем? Может быть, я все-таки стану знаменитым ученым?

Но до этого так далеко! К тому же от моего интереса к науке остался лишь интерес приключенческий. На уроках биологии ложноножки, митохондрии, гаплогруппы, виды и подвиды — весь этот скрытый состав науки выказал себя в самом унылом виде. Раздробленная природа — разложенная на детали, анатомированная, систематизированная — не имела смысла. Ее тайна не имела больше смысла. Ее не было.

— Ты уже знаешь, что будешь делать после школы? Какие у тебя честолюбивые мечты? — приставала я к Тасе. Хотя знала, что она легко меняет свои планы и пристрастия, примеривает себя к разному. Актрисой она быть расхотела, последним ее увлечением стала хирургия. Тася работала над тем, чтобы не бояться человеческой крови. Она смотрела на нее, как последняя извращенка: пялилась на чужие и свои ссадины или укалывала палец иглой и наблюдала, как образуется гигантская красная капля.

Над чем же поработать мне? Какой же интерес выбрать?

Новая школа потеряла свое очарование, как только стало понятно, что она — такая же, как и старая, скучная и не очень добрая школа, только в другом здании, только с усиленной нагрузкой по некоторым предметам. Школа, к которой мы не успеем даже привыкнуть, так как всего лишь доучиваемся здесь два последних школьных года. Ничто в ней меня больше не привлекало.

Уныние сидело со мной рядом на любом уроке. Особенно на тех, которые с самого начала, с самого первого класса были заражены для меня бактерией заурядности и глупости. С историей и географией я еще как-то справлялась, но вот литература...

На уроке литературы училка Татьяна Александровна, отрывгающая, как всегда, свой обед, любила декламировать что-нибудь. Раз от раза с одинаковым вдохновением она зачитывала нам какого-нибудь классика, а потом приставала к нам:

— О чем это? Кто расскажет краткое содержание? О чем хотел сказать автор?

Было трудно определить, любит Татьяна Александровна свой предмет или просто тащит профессиональный возок с упрямством потрепанного ослика. Никто из нас не симпатизировал ей — потому что и ей, по большому счету, не было до нас никакого дела. Об этом она объявила на первом же уроке:

— Я понимаю, что вы всего лишь биологи, поэтому мы будем двигаться строго в рамках школьной программы, быстро и без потерь. Лишних знаний выдавать не буду.

Ее уроки, где знания выдавали пайками, напоминали сумрак, в котором звучит какой-то голос, но непонятно, чей и где. Ощущение усиливалось тем, что окна кабинета выходили во внутренний дворик, вечно затененный, где тоскливо торчала невысокая яблоня. Лампы же под старинными неровными потолками вечно перегорали, а заменять их школьный электрик не торопился, наверное, потому, что был он человек хромым, а лампы висели высоко.

Единственным спасением ото сна, в который здоровые молодые организмы погружались в беспросветном климате, были, как ни странно, книги, припрятанные под партами. Хотя Татьяна Александровна на любую литературу реагировала ревниво, считая, что ничто не заменит ее сольного выступления, многие готовы были рисковать. Прийти на урок

без занимательной книги было делом глупейшим, особенно если следом шел практикум по профильным предметам: задремлешь на литературе, будешь вялым и в лаборатории. Когда читателя ловили, его ждало изгнание из этого сумрачного рая. Если он вдруг протестовал, добавлялась двойка в дневник.

К нашему счастью, школьная программа вышла наконец за пределы старого скучного века, предлагая чуть более свежие образцы, о которых еще что-то говорили и даже немного спорили в мире взрослых, — Булгаков, Замятин, Ахматова. О них Татьяна Александровна мимолетно упомянула, давая на то, что мы уже взрослые и нам позволено заглядывать в такие книги.

Однажды она трясла перед нами невыразительной книжкой — темная ледериновая обложка, овощная фамилия курсивом. А потом открыла ее на середине и затянула свою обычную песню. Ее выразительное чтение имело странное свойство — содержание оставалось для нас за кадром, мы слышали только звучание. В этом бурлящем речевом потоке мы барахтались — и тонули.

Книги по теме урока мы тоже иногда приносили с собой. Впрочем, открывать их запрещалось (а в бездне пустого звука так хотелось зацепиться за какой-нибудь уступчик!). Они покоились на краях парт, как грустные могилы нашего пропавшего зазря любопытства. Тася, как дочь библиотекаря, всегда приносила с собой что-нибудь и на этот раз раздобыла такой же темно-синий «овощной» фолиант, каким восторженно трясла Татьяна Александровна. И когда Татьяна Александровна отвернулась, Тасина книга вмиг оказалась в моих руках, под партой. «Я дал разъехаться домашним, все близкие давно в разброде, и одиночеством всегдашним полно все в сердце и природе...» Он был рад, что домашние разъехались. Пасутся где-нибудь на воле, под соснами, на солнечном берегу Волги или, может, сидят на даче где-нибудь на станции Огоньки, выщипывая у погреба траву мокрицу. Ну да, ему хорошо потому, что он один. Хм, но он вовсе не один, а с любимой — в платье или без платья, красного, в белую птицу. Брать преград они не обещали. Умереть согласны. Ну, понятно. Но есть какой-то секрет. В чем же там секрет?

— Ну, кто воспроизведет краткое содержание того, что я вам зачитала? — Татьяна Александровна тыкала в нашу парту прозрачной указкой. Тыкала, правда, с Тасиной стороны. Но хищно смотрела прямо на книгу, которую я под партой держала открытой. Уголок книги выглядывал, она засекла постороннюю литературу.

— Роза идет гулять, — весомо произнесла Татьяна Александровна. — И литературу свою прихвати, нам она тут не нужна.

— Но... — я хотела заявить, что читаю по теме урока.

— На выход! — прогремел гром в скалах.

Тася сочла благоразумным не возражать и отпустила книгу со мной. И мы с книгой, прокравшись мимо вахтерши, вышли во двор через

запасный выход. На старых качелях, которые застряли между спортивной площадкой для малышей и спортивной площадкой для старших, мы раскачивались и открывали друг друга. Качели скрипели... Звук, наполняющий жизнь, — вот в чем секрет, звук слова, которое написано, — тишина звука, который заключен в символах. Одновременно — немота и звучание.

Написанное слово звучит как бы про себя, через образ буквы. Звук без звука, звук в тайне, звук в кущах, звук как шум, звук как шорох, как тревога — как миллиарды ощущений, которые не нужно упорядочивать, которые живут, потому что родились. Их упорядоченность задана — и это не краткое содержание, которое можно пересказать. Они владеют силой, способной сращивать и оживлять, делать безличное личным. А сам сочинитель? Что в нем воспроизводит — и само же слышит и понимает этот звук? Чудо написанного слова — звучать не звуча — пробудило для меня мир.

С тех пор Татьяна Александровна могла сколько угодно гудеть, как гудят майские жуки в дубовых волжских рощах. Вот-вот она расправит крылья и покинет класс через окно. Или будет кружить у лампы, бессильная вырваться из светового лабиринта. Ничто не могло омрачить моего нового интереса, который превратился в тайную страсть к сочинительству. Она развилась скоро до помрачения. Факт ее существования и плоды ее были тщательно скрываемы ото всех, даже от Тази. Листы с написанным помещались на тайной полочке в задней стенке домашнего письменного стола, под самой крышкой. Я пыталась осознать величие свалившегося на меня открытия.

Я часто вспоминала о Гречишном боге, который с давних пор вел полулегальное существование среди наплывающих на меня знаний и новых ощущений. Он притворялся то цветком, то солнечной дорожкой, виляющей в соснах, то островом в тумане — разной красотой. В ранних воспоминаниях поля гречихи, низкорослой и нежной, шли почти до горизонта, обрамляясь темным лесом вдалеке. Так же теперь, спустя время, они стояли в моей душе розовым пряным туманом, пространственным пределом которому была лесная граница. За ней, в темном лесу человека, манящая темень распухала таинственными звуками, слоилась. Ее невозможно было схватить, поместить в бутылку, исследовать. Она ничему не поддавалась, сохраняя мои тайны в недосыгаемости от меня же самой. Но вот что оказалось: она отвечает говорящему.

Бородатый, облачный, тяжелый, Гречишный бог сам собой, в своем истинном облике, сочетая и свет и тьму, приходил осенью — и погружал нас в неизбежность, и показывал смерть листьев и хрупкий гербарий телесного. Утром, когда луч пробежал по лицу, я шептала своей тайне: «Здравствуй! Здравствуй!» И открывала глаза. В окне шуршали облака и прощально билась в стекло убегающая листва.

Секреты воображения



Множились страницы, исписанные, а потом, после воцарения до- исторической, но еще живой пишмашинки, испечатанные в столбик. В институте, где работала мама, раздавали списанное барахло. Оттуда прибыла и царица с расхлябанными клавишами, и огромная стопка тонкой, пожелтевшей от времени бумаги.

Серые буквы на старой бумаге — вот чем были мои стихи. А точнее, то, что весьма условно можно было назвать таковыми. Они корчились на листах, пытаясь выйти совершенными. Но в них была только воля к жизни — и ни капли совершенства. Во мне были только подозрения и намерения, слова подчинялись нехотя, чувствуя неопытность. Как с этим быть?

Я могла сочинять о чем угодно — но это были не мои, а книжные переживания или же чистые эмоции, не сдерживаемые ни мудростью, ни здравым смыслом. Мне, по сути, было нечего сказать — до этой поры я лишь наблюдала, как могла наблюдать за окружающим миром, например, божья коровка. Взгляд ее, без сомнения, естествен и прекрасен — но может ли коровка выразить хотя бы то, что увидела?

Особенные сомнения вызывала романтическая лирика, образчики которой то и дело вырывались из-под расхлябанных лапок печатной машинки. За неимением живого материала каждый раз приходилось заглядывать в какой-нибудь традиционный источник, вопрошать Тристана с Изольдой, Ромео или Джульетту. Но все, что я получала оттуда, — это масса вопросов, на которые не было ответа. Все в этих историях не сходилось. Я подозревала, что они не так просты, как об этом судит расхожее мнение. «Это ужасно глупо!» — предполагала я, глядя на свежеспеченные пышные четверостишия, где хоть и не встречались рифмы «кровь — любовь», были не обнадёживающие «луна — вина», сердечные колики и душевные разрывы. Казалось, они пыжались, стараются казаться серьезными, эти слова, эти столбики. Как глупо! Предельно глупый вид бывал у людей в кого-нибудь влюбленных, будь то взрослые или подростки, например, из соседних классов. Какой-нибудь мальчик ждал какую-нибудь девчонку, потом они, потупив очи, шли, оба полные то ли страха, то ли кокетства. Мне казалось, что со мной такой глупости и явной неловкости никогда-никогда не случится.

Не то чтобы мне не нравились мальчики, не то чтобы им не нравилась я. Но все это пролетало как ветер, не затрагивая ничего, кроме самолюбия: здорово, когда ты кому-то нравишься, и неприятно, когда не нравишься тому, кто симпатичен тебе. Это твое собственное взрослеющее «я» подает сигналы и ничего не требует взамен. Но однажды вдруг кто-то осмеливается сказать: «Я тебя люблю» — отчаянно, в телефонную трубку. И то ли плачет он там, то ли смеется... Ляпнет вдруг кто-то, а ты этот груз еще и не поднимешь, не унесешь. Стоишь и потеешь, и бледнеешь: как же глупо! Но надо отвечать — и в лучшем случае промьчишь в трубку что-то вроде «ну и что теперь?». В худшем — бросишь трубку, как

дохлую мышь, которая неизвестным образом попала тебе в руки. Бро-
сишь и убежишь, потому что «ужасно глупо». Ощущение такое, будто
тебя машина-поливайка окатила своей праздничной водой.

Однажды это случилось.

— Роза, ты телефон греешь или, может, передаешь ему свои самые
умные мысли? — ехидно спрашивает мама как раз в этот момент, когда
я стою и чувствую себя прескверно. Выбираю, что мне сделать: бросить
трубку или сказать в нее надменное «нуичтотеперь». Я говорю: «Понят-
но» — и отключаю связь. Иду спать — не потому, что поздно, а потому,
что не знаю, куда деваться.

Когда же это все началось? Как такое вообще могло произойти?!
Я думала над этим до следующего утра, до самой школы, куда шла очень
медленно, чтобы оттянуть неловкий момент встречи... Людей иногда
вдруг ошпаривает чувством. Это ужасно глупо! Это страшно, страшно
неловко! Сейчас я зайду в класс, а он сидит там как ни в чем не бывало.
Но нет, лучше я еще погуляю...

Уроки я прогуляла. Потом таилась в библиотеке, за столом между
стеллажами, на самом мрачном месте — из-за длинных стеллажей из
мрачной подсобки в конце ряда могло появиться что угодно. Зоя Ва-
сильевна сделала вид, что не заметила меня. Но потом я пошла к Ма-
рии — пойти к Марии казалось мне даже спасительным, хотя я и знала,
что Егор, тот самый мальчик, звонивший мне вечером, тоже будет там.

* * *

Группа Марииных почитателей состояла к началу второго полугодия
из нас, пятерых одноклассников. Павел — худой, длинный, музицировал
все время, чуть ли не на ходу и без инструмента, цепляясь пальцами за уз-
кий тонкий шарф, втрое намотанный на кадыкастую шею. Было похоже,
что в шарфе этом заключается какая-то особая сила, потому что Павел
никогда его не снимал. Так и родился, и шарф, потерявший к моменту на-
шего знакомства былой цвет, рос вместе с ним. Павел держал себя немно-
го пафосно и по-взрослому. Даже, если сказать по правде, корчил из себя
сильно взрослого. В общем, до появления в школе Марии он представлял
для меня лишь неинтересную тощую фигуру, тень отца Гамлета. Его на-
смешливое обаяние воспринималось как неприятное, поскольку держался
он среди нас несколько надменно.

С ним дружил Егор, постоянный собеседник Зои Васильевны. При
ближайшем рассмотрении он оказался приветливым, импульсивным маль-
чиком, очень живым, с теплыми подвижными глазами. Его движения и
мимика выдавали натуру беспокойную, порывистую. В нем существовала
неуправляемая глубина, прекрасная и опасная, способная всколыхнуться
и затопить это симпатичное существо и нас вместе с ним. Все, что мне
было известно о нем, — случайные сведения, полученные из наблюдений
или подслушанные: жил неподалеку от школы, учился играть на гитаре,

родители в разводе, отец — известный в городе художник. И зачем было знать больше? Егор почему-то дружил с Павлом, хотя они были такие разные. Водил его по мастерским отцовских друзей. Там, в мастерских, собирались и поэты, и музыканты, и актеры — весь культурный цвет городского общества. Павлу это, судя по его интригующим и хвастливым замечаниям, сделанным будто бы невзначай, очень нравилось. Егор никогда ничем не хвастал. Впрочем, для него, в отличие от всех нас, это общество было самым привычным. Оба мальчика увлекались рок-музыкой, пересекались с хайрастыми неформалами в заклепках, потихоньку курили за углом. В общем, у них были какие-то свои мальчишковые дела. Они говорили о чем-то понятном только им двоим. Нет, троим — вместе с Марией.

Еще был Сережа, который состоял со всеми в приятельских отношениях, но в друзьях — ни у кого. Он был ровный и спокойный одиночка, спокойно учился, спокойно передвигался. Но, вероятно, он происходил из тех людей, которые спокойны до определенного предела. А перейдя предел, они становятся неуправляемы. Неуправляемость развивается внутри них и выходит на поверхность плотной пеной, сквозь которую трудно прорваться, она ровно, спокойно и смертельно заполняет все вокруг. Иногда ноздри его тонкого носа раздувались, казалось, он накинется на кого-нибудь из нас. Но такого ни разу не произошло, хоть иногда его больно задевали. В Сереже была одна раздражающая негармоническая черта — он словно хотел быть взрослее и серьезнее, отчего многое в нем проявлялось нелепо: какие-то движения, тупые фразочки.

Лиза любила расчесываться при всех, привлекая внимание к темнорусым ухоженным волосам, любила широкие юбки и была благостна ко всему окружающему — но только если оно льстило ей и не доставляло неудобства. В ином случае благостность переходила в осторожную брезгливость, а потом в брюзжание и досаду. Но она все равно олицетворяла собой радость жизни, потому что все, исходившее от нее, казалось милым. Я всегда удивлялась, как это некоторым людям удается быть такими милыми, даже изрыгая ругательства или возмущенно повизгивая. Лиза смотрела на Марию как на образец хорошего вкуса. Ее главный интерес в наших сборищах был Павел.

Все уже собрались, когда я вошла и устроилась в углу у окна. Молча слушала, как они втроем — Мария, Егор и Павел — разговаривают. Лиза тупила в окно, а потом испросила у хозяйки разрешения сварить кофе. Сережа не пришел. И когда мне надоело молчать, я спросила у собравшихся, надеясь как-то вклиниться в разговор:

— А Сережа не придет?

Мой вопрос остановил их беседу, напоминающую со стороны гудение работающих пчел над гречишными полями. Пчелки словно с размаху налетели на бетонную стену и очень удивились. Повисло молчание, на которое из кухни высунула свою милую мордашку Лиза:

— Милиционер умер у вас?

Ее шутка осталась без ответа. А на мой вопрос Егор резко и тихо ответил: «Не знаем», — и посмотрел на меня отчаянным, почти злым взглядом. Мария перехватила этот взгляд и послала в мою сторону свой, умоляющий. Павел просто таращился, не мигая и дергая за концы шарфа, как за веревочку-выключатель от торшера, того и гляди засияет. Похоже, у них заговор! Взгляд Марии сказал о многом: о том, что вчерашний телефонный звонок для нее не тайна. И для Павла, пожалуй, не тайна. И, похоже, они мной недовольны. Но при чем тут бедный Сережа? Хм.

Я усиленно изображала спокойствие, хотя внутри росло, пропорционально их осторожному вниманию, паническое смятение. Егор глядел тихо и напряженно своими темными глазами — но, как и вчера, я не могла придумать, что ему сказать. Павел обходил меня взглядом — словно обходил неудобно стоящий стул в середине маленького помещения. Мария обдавала внимательностью, как будто изучала хрупкую старую книгу на малопонятном языке. От этого веяло тайной, в которую меня еще не посветили. Как будто они хотели убедиться, что я достойна ее. Лиза что-то почувствовала и насторожилась. Конечно, ей они ничего не сказали, она — чужая, приходит сюда для красоты.

Все было словно повергнуто в тишину, несмотря на смех, на живой разговор. Казалось, в одном месте проявились две параллельные реальности и каждый из нас раздвоился. Одна ипостась болтала, другая пребывала в полной тишине ожидания...

Когда мы расходились, Лиза оборвала деревянную вешалку, прикрученную к стене. Но на это никто не обратил внимания. Мария не сказала нам «пока», а лишь улыбнулась. Ребята застряли у подъезда, дожидаясь Лизу, а я отправилась домой. И пока не завернула за угол, чувствовала за спиной взгляд Егора.

На этом все не закончилось, так продолжалось. Он смотрел темнеющим взглядом, то ли вопрошая, то ли ужасаясь. Чем я могла заслужить такой взгляд или его вопросы? Звонил, и я бросала трубку. Или говорила «нуичтотеперь», или вздыхала, или панически причитала: «Ну что я должна тебе сказать?» Мы встречались у Марии. Я делала вид, что ничего не происходит.

Но что-то происходило. Воздух у нас над головами всякий раз закипал. Ситуация принимала взрывоопасный характер. Лиза подозрительно щурилась. Похоже, она начинала догадываться.

Наконец, спустя время, я поняла, что они все чего-то ждут от меня. Но что я должна сделать? Когда Мария бывала одна и мы старались вести непринужденные разговоры, она всякий раз пыталась подвести — я чувствовала — к чему-то важному. Возможно, она и говорила со мной о чем-то важном, но не прямо, а как-то углами. Я не могла взять в толк, чего она хочет, и все больше и больше вязла в ее словах.

Пока ситуация имела комнатный характер, пока она не превратилась в грозное облако, еще можно было томиться, вопрошать, не обращать внимания.

Мы с Тасей выбегали после уроков из школы, устремляясь в нашу будущую взрослую интересную жизнь, переживая нынешнюю, которая казалась нам совсем не интересной. Мы почти выросли, Тася влюбилась в поклонника дочери бабки Леониды — усатого, сдобного молодца с животиком и узловатыми короткими пальцами. Она хихикала и вздыхала, как дурочка. Зоя Васильевна сердилась и жаловалась на Тасю вслух, очень громко, так, чтобы Леонида и ее дочка, забегаящая в гости к матери и ребятишкам, слышали и что-нибудь с этим сделали. Библиотекарше было неудобно напрямую пойти и сказать: уберите вашего молодца от моей дочери, приревнуйте, что ли. Тася же приписывала молодцу необыкновенные мушкетерские качества, хотя, на мой неискушенный взгляд, он был просто уродом и сальным дураком.

Наконец он женился на Леонидиной дочке, чета забрала от Леониды белоголовых пацанов и съехала. Внучку Леониды забрал родной отец. И Тасе стало скучно. Но тут жертвою чрезвычайно глупого амура пала я. Избранник мой не отличался ни умом, ни сообразительностью. Точнее, я не могла засвидетельствовать в нем этих необходимых качеств, так как не была с ним даже легко знакома и не говорила ни разу. Только изредка встречала в школьном коридоре очень обыкновенного выпускника, заносчивое чиновничье дитя. Мы с Тасей — а скорее, хитроумная Тася — придумали занимательный план. Он состоял в написании лирической записки и передаче ее лично в руки.

Тасины глаза горели, она была увлечена куда больше меня. В ней что-то кипело, булькало. Откуда в этом неуверенном субъекте, хилом, некрасивом, брались такие сверхъестественные силы к любовным переживаниям, пусть даже к чужим? Да, мы выросли, но Тася выросла так, словно извергался вулкан, — мощно, опасно. Так мне казалось. Наверное, она просто выросла быстрее. Она отныне всегда была влюблена, всегда старалась проявить свое чувство, добиться ответного внимания. Я неожиданно стала предметом ее жалости.

— Это из-за твоего воображения, — важно говорила она, прихорашиваясь, чтобы идти с кем-то кино. А я вздыхала. Я тогда не понимала, о чем она. Да и сама она вряд ли понимала, о чем говорит.

А ведь она была невероятно права, как не может быть прав ребенок — но как может быть права природа, находящая свое выражение в расцветающем существе. Буйное воображение — помеха любви. Все, что рисует воображение, — идеально. И ты, раб воображения, веришь ему. Но вокруг меня не было идеальных мужчин и женщин (разве что Мария), идеальных обстоятельств. Зато были обстоятельства сомнительные, заставляющие чувствовать неловкость и без конца ее

переживать — за счет подлого воображения. Но это и есть та самая взрослая жизнь, в которой мы делаем выбор. В нем реальность и воображаемое сходятся в невероятных балетных пируэтах, и это прекрасно, потому что — по-настоящему...

Но там, в том времени, мы жили только нашими фантазиями. Накануне романтического подвига по вручению записки я бегала в учительскую к Марии. Мария куталась в красную дырчатую шаль, зябко поводила плечами, поправляла очки, которые надевала изредка, — она была близорука и стеснялась этого. Я вызвала ее в коридор и заговорщицки обрисовала ситуацию, присовокупив к рассказу идею с запиской. Она поджала губы. Но, хоть и сухо, все же высказала одобрение — вроде того, что записку вручить можно, нет в этом ничего такого. Потом сняла очки и долго щурилась на меня. Я вежливо стояла перед ней. Все это, без сомнения, была игра.

Но часть этой игры от меня ускользала — какая-то важная часть, которая определяла и серьезную позу Марии, и ее затянувшееся молчание. Пожалуй, нечто внутри меня догадывалось: отдать себе отчет в том, что происходит, проникнуть в темную часть этой игры, означало оставить мир детства, перейти в иное состояние, пребывать отныне собой в реальности — стать тем человеком, которого я в себе еще не знала.

Конечно, мы с Тасей стремились вырасти, воображая, что это освобождает нас от зависимостей — родительской, школьной. Свобода была нашим кредо. Но, увы, ничего мы о ней не знали. Никто не сказал нам, что главное в свободе — это осознанная и принятая несвобода, как выбор, как волеизъявление. Понимай мы это, не торопились бы настаивать на своей взрослости.

Записку Тася отдала. Ответа не было. Только одна раскованная девица с очень крутой завивкой и широкими ноздрями, до смеха похожая на негритенка-альбиноса, прижав меня к стене, пригрозила настучать по моему сопливому организму всею силою своего молодого здорового задора. Она состояла с моим избранником в отношениях, о чем заявила сразу и бесповоротно, как только прижала к стене.

— У нас вообще все было, понятно, коза!

Мне нечем было крыть, да и, честно говоря, не хотелось. Я прилипла спиной к неровной глянцевой стене и холодела с каждым словом. На «козе» стало стыдно: оттого, что я представляла все, что можно представить в словах «вообще все», видя вот эту девицу, которая едва не касалась меня своей выдающейся грудью. Она была выше, и я, опустив голову, утыкалась глазами в кусочек бюстгальтера, который торчал из выреза ее платья. На ум мне наворачивались, как слезы на глаза, всякие сцены. Я оттолкнула ее и пошла. Она кричала что-то вслед, совершенно неважное. Она била копытом так, что тряслись окна. Мой объект с серыми глазами передал ей записочку, и она пошла отстаивать честь их пары, мстительная богиня.

— Ты поняла?! — вопила она мне вслед.

— Да я все поняла, отстань!

Я все поняла. Она, со своей нелепой прической, с крупными серьгами, уже напоминала стареющих маминых подружек, которые по одной приходили к нам на кухню и ныли о своей пропащей жизни. Меня выставляли вон, но кухонная дверь хорошо пропускала звуки. Поэтому мне было известно, за что они (в том числе и моя мать) бились всю свою жизнь, долгие унылые годы, как пытались удержать мужей, вразумить детей. Я наблюдала, как они, пытаясь проконтролировать цветущий мир вокруг, теряли себя самих, распадались на детали и функции в поисках гармонии и равновесия, которые легкомысленно называли «счастьем». Счастье для них непременно сопровождалось всеобщим послушанием, предельной понятностью, комфортом последней стадии. Они всегда были всем недовольны. Им всегда было мало. И они грубо угасали, как срезанные цветы, от них оставалась сухая оболочка, видимость. Это были существа, напоминающие женщин. В ту пору, как природа демонстрировала благородное старение, наливая осенние листья разноцветным нектаром, скручивая их, пуская по ветру волшебными лодками, эти подобию просто гасли с возмущенным шипением, обвиняя все вокруг в том, что им не досталось «счастья».

На уроке я с легким сердцем, с приятным опустошением внутри слушала о законах Менделя. Генетика по сравнению со счастьем — плевое дело.

* * *

Тасе, узнавшей, что я решила не бороться за свои чувства, стало окончательно скучно. И тогда все усилия она направила на получение золотой медали — нашла наконец, как воплотить свое желание быть звездой, скопищем ума и таланта. И мы стали видеться значительно реже.

Она не знала, что происходит между мной и Марией, не знала о телефонных звонках Егора. Конечно, в школе она кое-что наблюдала, от ее взгляда не скрылись его протяжные взгляды, запускаемые в мою сторону, злые намеки и недоговоренности от него и Павла.

Я скрыла от нее абсолютно все, ибо, как думала я, она постаралась бы сделать из этого спектакль ради собственного развлечения, не сдержалась бы — такой уж она была. Я отмахивалась от ее вопросов, смеялась на ее предположения — в общем, вела себя как заправская врунья. Конечно, Тася что-то подозревала. Она отдалилась. Может быть, что-то узнала от Зои Васильевны. Но ничего не было сказано — а раз так, то словно ничего и не было.

Да и что бы я могла ей рассказать? Я никогда не обращала на Егора особенного внимания. Мы были в одной компании, но и только. Мы ходили к Марии — но и только. Он был приятелем для нас всех, которые были уже не «мы», а отдельные «я», только-только отколовшиеся от детства. Я замечала, что он подолгу смотрит в мою сторону и, когда говорит,

голос его становится как струна. Я улавливала напряжение, если мы долго находились рядом. В такие моменты мне хотелось убежать, испариться, стать травой в океане трав, листиком в вихре листьев — слиться с окружающим. Главное, чтобы никто ничего не заметил. Главное, чтобы это не вышло за границы комнаты, не нагрелось выше средней температуры.

Но вдруг это чудное, нелепое, уже не детское: «Я тебя люблю». В школьном коридоре, на том же месте, где немногим раньше досталась мне «коза!». Раскаленное, будто выпавшее изо рта. Будто выпавшее, оброненное — но как вернуть его хозяину? И вот что главное: как вернуть к обоюдному удовлетворению? Если обнаружишь себя, если скажешь, что нашла, от тебя потребуется соучастие. Но в тебе нет соучастия, только смятение. А еще неловкость — вдруг кто-то еще услышал, увидел. Поэтому вместо соучастия — демонстрация равнодушия, испуганное и жестокое: ну и люби себе, пожалуйста, кто мешает...

У взрослых, среди которых я выросла, было одно неприятное выражение — «на людях», подразумевающее нечто стыдное или неудобное, происходящее на глазах у посторонних. Конечно, в глубине души я понимала, что мальчик бросил в меня свое признание, как будто это камень, только потому, что пытается достучаться. Ответы на расстоянии, телефонные ответы не удовлетворяют его, он не может понять их значения. Ведь порой легче один раз взглянуть на человека и все понять, чем вымалывать у него право на разговор. Но он сделал это в школе — то есть «на людях», совершенно презрев опасность быть услышанным и обсмеянным (ведь взрослые дети страшно жестоки). Это выглядело как ультиматум.

В этот день я поняла, что ситуация переросла Мариину комнату, она была отныне велика для телефонных бесед, вышла из сумрака и заявила о себе.

Оставалось только бежать, спасаясь от того неизвестного, навязанного, необузданного, что вышло на маршрут преследования. Стихия в лице Егора настигала меня в разных местах — я видела, что она следит за мной, что едет со мной в троллейбусе. Я заходила в подъезд своего дома и ощущала спиной ее присутствие. Перед носом Егора я хлопала дверью.

Надежды на то, что все обратится в пепел, тихонечко перегорев, таяли с каждым днем. Утешая себя, я думала: вот если бы он был другим, то я бы обратила на него внимание. Но каким — другим? Рыцарем в доспехах? Выше? Краше? Идеальный мир трещал по швам. Я неумолимо взрослела.

Слова

Жар лестничных клеток навязчив: мы с Тасей поднимались с первого на второй — жар следовал за нами, со второго на третий — жужжал за спиной. Наконец, на восьмом отстал — потому что к восьмому мы здорово вспотели, а с восьмого и выше в коридорных окнах не было стекол, рамы сняли, чтобы отремонтировать к зиме. Так что ранне-осенний ветер прохладно щекотал.

Мы ползли к Тасиной бабушке Ольге Семеновне — Ольсеменне, как мы говорили, — с тяжеленными сумками продуктов. Тася причитала: боже мой, сколько можно... Но Бог занес бабулю на последний, двенадцатый этаж, лифт не работал. Сама она поэтому сходить в магазин не могла.

Старушка, на редкость бодрая и общительная, подводила губки розовым, как привыкла в молодости. Она была семидесятилетней кокеткой. Она всегда отчитывала дочь Зою Васильевну за ее пучок на макушке и синюю «старушечью» юбку. А Тасю всегда подбадривала и дарила ей пожилые, истертые временем безделушки. Они у Таси покоились в свиньекопилке с отбитым рыльцем.

Зоя Васильевна отправилась сегодня к зубному и не могла снести матери продуктов сама. Поэтому бабуля, которой некого было отчитывать, вдруг принялась отчитывать Тасю за то, что она «вертихвостка», а меня — за то, что я «угрюмая бука». Но мы только посмеивались и выдавали, подыгрывая старушке, соответствующий спектакль: Тася порхала и верещала, а я изредка бубнила и навешивала на глаза челку.

Но Ольсеменна на этот раз ощущала себя не такой активной, как обычно. Она скоро устала, приняла внутрь «взрывпакет» — так именовался нитроглицерин — и устроилась в качалке. Качалка скрипела. Из кухни доносились постукивания, это Тася ставила чайник, строгала овощи для салата, разогревала рагу и борщ, которые мы принесли. Под мой вялый рассказ о том, как мы готовимся к экзаменам, старушка захрапела.

Воздух на кухне от всех приборов и кастрюль уже вскипал волдырями — Тася выскочила оттуда красная, как креветка. Она припрыгивала, бормотала что-то, садилась на бордовую тахту, вскакивала с нее. Тем временем пелена пара из кухни распространилась в комнату. И я тоже стала как вареная рыба. Кажется, влага конденсировалась в капли на ресницах и на кончиках пальцев.

Наконец засвистел чайник, и Тася на цыпочках ускакала в кухню отключать плиту. Все это делалось тихо, чтобы не разбудить Ольсеменну и не получить, во-первых, трепку, во-вторых, — в качестве позитивного примера для «безрукой современной молодежи» — рассказ о ее собственной героической и многострадальной юности.

Высунувшись из кухни, Тася поманила меня. И там, в чрезвычайно влажном климате, закатив хитрые глаза, виновато растянув губки, она отдала мне мятую бумажку, которую, судя по всему, носила в кармане не один день. Записка была от Марии. Она просила прийти к ней в пятницу. Пятница была вчера.

Странность ситуации состояла не в том, что Тася забыла про записку, она вечно все забывала. Но в том, что Мария могла сказать мне это и сама, без посредников и письменных приглашений. Могла бы вызвать в учительскую, что ли. В чем же дело?

Я тут же попрощалась с Тасей, махнула на всякий случай Ольсеменне — вдруг та не спит. Нахальная Тася висла у меня на руках и просила

прощения. Конечно, я была на нее сердита, ведь это была первая в моей жизни записка по делу от взрослого человека, да еще от Марии.

...Но что заставило меня так спешить? Ведь назначенное время встречи прошло, спешить было незачем. Потертая курточка аж вздувалась на спине, так я торопилась. Из-за Таськи стыдно явиться Марии на глаза — никчемная, даже по записке не смогла прийти вовремя. Я пытаюсь представить, как скажу из-за двери: «Это я, Роза».

* * *

— Это я, Роза.

В этот раз Мария была определенно озабочена. Что, впрочем, не выражалось явно, а лежало на дне ее серых, немного навывкате, глаз. И в том, как она подбирала губы, съедая бледную помаду. Мария посадила меня за стол у окна, сама ушла в кухню. Распространился запах кофе, а она все не возвращалась. В запахе кофе содержится какая-то утерянная история, он выравнивает мысли в голове.

Когда мысли выровнялись, я нырнула за шуршащую бамбуковую занавеску, заменяющую дверь в кухню. Мария стояла у окна. Легкая, в голубой кофте и длинной, в пол, юбке, стояла и дергала грубые каменные бусы на своей цыплячьей шее. Я была выше и крупнее в мои пятнадцать, и вся ее инфантильная хрупкость, прозрачность (словно она — часть оконного стекла или изображение на картине) представлялась настолько нечеловеческой, что хотелось сбежать, только бы не сломать чего-нибудь вдруг в этой тонкости. Она обернулась. Потом сняла турку с огня и медленно повернула газовый вентиль.

Вдруг она стала говорить о пустяках. Ее присутствие в моей жизни было важным, словно я сдавала ей нетрудный, но длительный экзамен перед выходом на какую-то целину, в предполагаемо трудную взрослую жизнь. Она слушала и могла дать ненавязчивый совет, необходимо поправить, всегда с уважением относясь к детским ошибкам. А сейчас она — вот тебе на! — несла ахинею.

Чувствовалось, что она совсем не то собиралась сказать. Это была какая-то необычайная провокация, которую детское ухо уловило в самом воздухе, натянутом, как мокрая прозрачная простыня.

Об опасности сигнализировало все: и стол, отодвинутый от стены, и турка, поставленная мимо фарфоровой подставочки, и тонкая штора, отдернутая так, что обнажалась под окном уродливая чугунная батарея с жирными наслоениями краски. Надо встать и уйти — пицало внутри меня. Но куда уйти, зачем и от чего? Мы все — рациональные люди, и предчувствия только угнетают нас.

Кофе был особенно горький, пришлось попросить молока. Возникла хозяйственная пауза, после которой Мариин голос стал острым и тонким. Она была похожа на растерянного пловца: то его придушит сильная длинная волна, то он вынырнет и вдохнет, а то и чего-нибудь выкрикнет.

Несчастливая, однобокая любовь романтична только в книжках, в жизни она у всех вызывает неловкость. И Марии, должно быть, становилось неловко, хотя она и была лишь посредник. Она вмешивалась в жизнь своих юных подопечных — наверное, так ей казалось. Мне, во всяком случае, казалось именно так.

Егор не заходил уже недели две, говорила она. А потом, вчера, вдруг пришел, но один, чего раньше никогда не бывало. Они с Павлом никогда не приходили поодиночке, говорила она. Еще она говорила о прекрасных чувствах, еще — о мечтах, которые заводятся вдруг у каждого мало-мальски достойного молодого человека. Тон ее был слишком осторожен, она как бы извинялась.

И Мария, наверное, ждала моего ответа, какой-то реакции на свои слова. Это было, конечно, глупо с ее стороны. Именно так: глупо! Тем более что она знала о моем увлечении этим несчастным дурацким старшеклассником, которому мы с Тасей сочинили записку. И я ведь ей даже не рассказала о том, что все закончилось!

Очень хотелось мне знать, что же она говорила Егору в ответ на его откровенность. Она всегда была деликатна, наверное, просто выслушала, рассказала в ответ какую-нибудь романтическую историю... Но я бы никогда не осмелилась ее об этом спросить.

Мариина деликатность и сделала нас, пятнадцатилетних, ее горячими поклонниками. Мы были влюблены в нее за то, что она могла, не нарушая тончайшие наши самолюбивые оболочки, быть с нами взрослой. Она не презирала наш возраст, как делали обычно родители и учителя. Но что она думала наедине с собой? Этот вопрос я старалась себе не задавать — какая разница, если я показывала ей свои стихи, а она над ними не смеялась. Хотя они, по правде, были довольно неловкие. Теперь я задавала себе этот вопрос: что она думала о нас, оставаясь наедине с собой?

Мария ждала ответа, судя по тому, как она молчала — настойчиво, долго. Было понятно, что ей хотелось определенности. Было понятно, что не она одна — они оба — ждали моего ответа.

Она вертела бусы в пальцах, ветер из форточки развеивал светлый локон ее тонких волос.

Если бы я не пошла к Марии, бросив Тасю у Ольсеменны! Или, придя, сделала вид, что не до конца понимаю, о чем она говорит!

Но теперь оставался только один шаткий мостик для отхода: смолчать, не ответить. Просто нечего было ответить. Я чувствовала себя принуждаемой к ответу. Нужно ли что-то делать, если все вокруг ждет, что именно ты возьмешь и разрешишь ситуацию, сложную для всех?

Поэтому-то на все телефонные звонки, на все Мариины немые вопросы, на взгляды наблюдательного и, конечно, все знавшего Павла, насмешливые, но вместе с тем ожидающие, — на все ответом было молчание. Амебы так прячутся в своей корочке — на время, до влажного сезона.

Поэтому теперь я сидела на стульчике в углу ее квартиры и тихо наблюдала. Осень принесла с собой навязчивые тревожные состояния — и небо было навязчиво серым, и тополя навязчиво роняли лиственную

массу, не желтую, а какую-то прогоркло-коричневую, пахнущую тленом, почти землей.

Неспокойствие навалилось на маленькую квартирку мокрой ватной тучей, выставлялось на стол в качестве угощения, булькало в кофейнике, забиралось в наши ботинки, сообщая им какую-то потустороннюю сытость. Нужно ли что-то делать, если все от тебя этого ждут, но твой собственный организм сопротивляется этому?

* * *

В неудобстве и неразрешимости прошла осень — и последний школьный год. Учеба была невероятно запущена — из-за всего. Из-за взросления, из-за поэтических тренировок, которыми я занималась с усердным отчаянием гладиатора.

Родительский контроль надо мной совсем ослаб, только посещение школы еще как-то интересовало маму, но все меньше — не вызывают к директору, и ладно. Поэтому на стареньком бабушкином диване, или на балконе, или бродя по каким-нибудь проулкам, я предавалась безудержному сочинительству, производя что-то маленькое, дрожащее.

Обременяло чужое чувство, лежащее в моем кармане, как подтаявшая конфета, липкое, обжигающее. Какая уж тут школа! Нужна была не школа, а незаинтересованный собеседник.

Тася, с которой мы разошлись во мнениях насчет Марии, охотно меня слушала, но собеседовать отказывалась. Она витала в своих небесах, ее устраивал мир, который состоял из формул и карт. Тася была счастливчик, ее ждала-таки блестящая золотая выпускная медаль. Она, бросив все прежние увлечения, решила идти в медицину — спасать жизни. Записалась на подготовительные курсы и после уроков целеустремленно исчезала где-то в листопаде, в дремучей стороне города, и возвращалась совсем поздно, по темноте. Так что Зое Васильевне, как я знала, приходилось встречать ее возле остановки. Наверное, они вместе заходили в магазин, потом шли домой, пили чай с магазинскими коржиками. Потом, наверное, они сидели в зале, включив оранжевый торшер, — Зоя Васильевна что-нибудь читала, и Тася что-нибудь читала, например, про то, как спасать людей.

А мои идеи и мечты не имели теперь никакой конфигурации. Их расплывчатая форма раздражала Тасю. После того как слово обнаружило себя, такое текучее, сложное, свободное, его невозможно было поместить в клеточку мечтаний. Да и мечтания больше не имели смысла — в словах они умирали, как будто бы тонули. Мне ничего как будто не хотелось, но одновременно хотелось многого. Тася делилась своими мечтами, допрашивала меня о планах на будущее и злилась от бесчисленных «наверное» и «может быть».

Несмотря на занятость на пути к благородной цели, Тася находила возможность влюбляться — легко, необязательно, безболезненно. Наши



одноклассницы за глаза называли ее «деревяшкой» и «синим чулком». Но это только с виду Тася казалась занудной, скованной цепями учебы отличницей, которая живет от книжки до книжки. Я-то знала, какая буйная натура скрывалась под этим угрюмым видом. Ее осенило влюбиться в Сережу из нашей психологической компании, к которой она, в общем, относилась надменно. Но вот Сережа ее задел. Сережа, красивый и стройный, был до смешного неловок. Тасе всегда нравились мальчики или мужчины, у которых были маленькие забавные качества. Зять Леониды, к примеру, забавно морщил нос и шевелил усами, из-за чего становился похож на гигантского таракана. Это было довольно противно, но Тасе казалось ужасно забавным. Сережа спотыкался на каждом шагу, говорил невпопад и мило краснел по сто раз в день. Нам недавно исполнилось по шестнадцать. Он был старше нас на целый год. Ему было уже семнадцать. Нам он казался непоправимо, отчаянно взрослым. Наверное, только из-за Сережи Тася проявляла какой-то интерес к моим рассказам о Марии, о визитах к ней. Выспрашивала про Сережу, который к Марии заходил все чаще.

Собеседник мне был нужен до такой невыносимой степени, что я пошла на хитрость — подкупила Тасю, устроив совместные прогулки с Сережей. После уроков в те дни, когда нас ждала Мария, мы втроем бродили по городу, коротая время до назначенного часа, потом Тася провожала нас на остановку, и мы уезжали. Она сердилась, потому что могла бы тоже поехать, а потом бы Сережа точно проводил ее до дома. Но ей слишком не нравилась Мария, это было какое-то органическое неприятие или страх, я не знаю — как не знала и Тася.

Потом Тася стала зазывать нас с Сережей в гости в любые другие дни. Когда Зоя Васильевна ночевала у Ольсеменны, мы засиживались допоздна, не делая ровно ничего, даже уроков. Болтали, бесконечно пили чай. Потом Сережа, сбывая на своем пути этажерку с телефоном, обрывая вешалки у пальто, торопился, чтобы мы успели на последние троллейбусы — я в свою сторону, он — в свою. Тася на кухне уговаривала меня остаться, тогда можно оставить и Сережу.

— А что ты будешь с ним делать? — шептала я.

— Найду что, — шипела Тася, таинственно округляя глаза.

— Не могу, домой надо...

— Тебе какая разница, где ночевать, — Тася подводила грубый, хоть и правильный, но несколько обидный итог: Роза — бездомное никто.

Однажды мы действительно засиделись. Когда в коридоре загремело, мы с Тасей поняли, что вернулась Соня и опрокинула сигнальное ведро, выставленное отцом. Значит, уже около часа ночи. Сережа, услышав о времени, засуетился, смахнул на пол книги.

— Не переживай, мама сегодня ночует у бабушки, мы спокойно останемся здесь до утра. Роза, в кладовке есть раскладушка. Мы ему на раскладушке постелим, да? Ну куда ты пойдешь, там смотри какой снег. Намело снегу-то, батюшки! — по-деревенски запричитала Тася, раздвигая

шторы. Голос у нее был какой-то не такой, не обычный. Какой-то завлекательный, что ли.

— Я пойду. Пешком дойду. Не волнуйся. — Сережа волновался, и голос у него стал скрипучий. Он посмотрел на меня как-то жалобно.

Я молчала. Ясно, ему здесь неохота оставаться. Тасину хитрость даже курица сможет разгадать. Сережа покраснел и хотел что-то сказать, но Тася опять заворковала, захлопала своими невидимыми крылышками. Когда хотела кого-нибудь прельстить или уговорить на что-нибудь, всегда начинала суетиться и низким голосом несла какую-нибудь чушь. На людей действовало. В этот раз тоже подействовало. Сережа не стал ломиться в дверь, а покорно вернулся в комнату.

Разговор не клеился. Тогда Тася решила устроить очень поздний ужин и расхлябанной (она называла ее элегантной) походкой вышла в кухню.

— Вы с Егором дружите? — сказал вдруг Сережа.

Неужели невозможно избежать этой темы?

— Нет. И вообще я о таких вещах не разговариваю. Я пойду, пожалуйста, спать, спокойной ночи. А вы тут беседуйте.

Диван в комнате Зои Васильевны был слишком мягок, уснуть долго не получалось. В окне мелькал стремительный снег. Из кухни доносилось Тасино дурацкое хихиканье. Потом все слиплось в нечто смутное — и снег, и хихиканье, и теплый басок Сережи. Наконец и фонарь у окна погас.

Ночью я встала попить — ночью почему-то всегда хочется пить, как будто темнота высасывает из тела всю влагу. На кухне было очень светло — шторы раздвинуты, белый снег везде — и лежит и падает. У форточки курил Сережа. Я в первое мгновение его и не заметила, он прислонился спиной к стене. Я наливала воду. А он вдруг сказал тихо и каким-то надломленным голосом:

— Все белое...

— Ну понятно. Снег же.

— Ты красивая...

Только тут я сообразила, что стою в одной футболке и нескромно сверкаю ногами, которые рядом с белым холодильником хорошо отсвечивают в черноте кухни. Из глубины квартиры позвала Тася:

— Сережа, ты куда ушел?

Он вдруг очень взрослым и резким голосом сказал:

— Иду.

И выбросил окурок в форточку. И аккуратно, стараясь не задеть меня — и, удивительно, не задев в этой узенькой кухне, — проскользнул в коридор. Мне захотелось быстро одеться и уйти. Но уходить было еще слишком рано, первый троллейбус только через час. Я оделась, стараясь не прислушиваться к звукам из-за Тасиной двери (но все же прислушивалась), легла одетой, засунула голову под подушку. А в шесть часов шагнула в зачаточную темноту утра, скорее, к первому троллейбусу.

Я стала избегать Тасю. Реже соглашалась на совместные посиделки. Потом не захотела прийти к Тасе на торт. Потом, сказавшись больной, не пошла на ее день рождения. Там везде был этот дурацкий Сережа. К Марии Сережа больше не ходил.

И как будто бы взамен завязались дружеские отношения с Лизой.

Она тоже редко бывала теперь у Марии. Этому способствовал Павел, которого Лиза раздражала. Он не говорил ей о наших сходках «в штабике» — так он называл квартиру Марии. Мне же, напротив, общал о встречах с завидной аккуратностью. Мне очень хотелось быть полноправным членом нашей общей маленькой вселенной. Однако расстояние между мной и остальными, казалось, только увеличивается. Я чувствовала себя посторонней.

Лиза тоже была ущемлена в правах, хотя и не догадывалась об этом. В школе мы все чаще находили темы для разговоров, но я не открывала ей маленьких секретов нашего тайного сообщества. Эта маленькая подлость искупалась будто бы тем, что Лиза и впрямь раздражала. Слишком румяная, слишком чернобровая, ядовито аккуратная — этакая хрестоматийная русская красавица в современном исполнении, она казалась надменной. При ближайшем знакомстве, впрочем, стало понятно, что это лишь раковина, домик, в которую она пряталась, как улитка, когда обстоятельства смущали или пугали ее. Тогда она начинала капризничать, демонстрировать свою привлекательность и начитанность, а в крайних случаях начинала расчесывать волосы. Выглядело это странно, вызываяще (особенно на экзаменах), но так она успокаивала себя. А в общем она была милой девочкой, которая любила петь.

Иногда, если бывало мало уроков, она звала в гости. Мы на пару пели песни из старых кинофильмов или обсуждали школьную жизнь. Лиза настойчиво расспрашивала о Павле. Но мне нечего было ей рассказать — я ничего о нем не знала. И, по правде, не хотела знать — настораживала ироничность, которой он все чаще протыкал, как булавками, наших одноклассников, посмевших обратиться к нему. Мог презрительно отпустить что-то вроде: «Вы что, не читали Кастанеду?» — или процитировать что-нибудь этакое. Кастанеду никто из нас, конечно, не читал. Мы даже не знали, кто это. Признаться бывало стыдно, и все делали многоумные лица. Но он изображал такую мину, что каждый униженно понимал свою ущербность и его превосходство. За такой стиль общения Павла не любили. И мне казалось, что он считает себя выше других. Но, может, это только так казалось — ведь мы все хотели стать взрослыми и пыжились как могли. Тем более что с Егором он был совсем другим, как будто сбрасывал свое самомнение, как змея шкурку. Он будто считал, что только они — на равных, остальные ничего не понимают. Ну да, был еще третий равный — Мария.

Однажды я попала к нему домой — случайно, в числе прочих, компания зашла за гитарой. Сталинских времен дом, выкрашенный красным,

казался крепким грибком. В подъезде трогательно пахло даже не старостью, а памятью, не раздражающее, а как-то щекочущее. Мать Павла, серьезная приземистая женщина, вежливо встретившая нашу ораву на пороге, держала свою квартиру в идеальном порядке. Казалось, ни один угол не остался без внимания — такими вычищенными они были. Комната Павла удивляла ярким полом салатového цвета и большим красным попугаем в округлой клетке. Никто из советского поколения взрослых, наших родителей, не покрасил бы по доброй воле полы в такой неожиданный цвет. А уж где можно было достать такую редкостную птицу, я даже представить не могла — сама мечтала о такой, но в единственном городском зоомагазине предлагали только блеклых волнистых, неинтересных, как воробьи. В комнате царил яркий порядок — то ли мама приложила руку, то ли сам Павел относился к своему обиталищу настолько серьезно. Была некоторая театральность в том, как размещены вещи — виниловые пластинки, гитары, невероятная шляпа с красными и зелеными перьями, какие-то сувениры и многочисленные плакаты с физиономиями рокеров. Слишком все аккуратно, слишком декоративно. Казалось — как можно здесь спать, жить? Мне было любопытно, кем работает невзрачная очкастая Павлова мама и чем занимается отец. Впрочем, никаких следов присутствия мужчины я в квартире не обнаружила. А задавать Павлу вопросы было рискованно.

В общем, минимумом наблюдений мне приходилось удовлетворять Лизино любопытство. Лиза недовольно оттопыривала нижнюю губу:

— Ты такая нелюбопытная...

Но недовольство быстро проходило, потому что в ее собственной голове созревало много мыслей о Павле, и она охотно ими делилась. Он казался ей загадочным, невероятно талантливым, вхожим в таинственные кружки местной богемы. Мы пили чай, хрустели печеньками, она раздухарялась все больше, сулила Павлу невероятные свершения в музыке и науке. Она бы и Нобелевскую премию ему пообещала, и «Оскар». Но тут обычно заявлялись ее родители.

Отца, высокого и лубочно румяного военного (чьей изящной копией была Лиза), я редко видела. А вот мать, очень некрасивая и, наверное, больная женщина — такими устало некрасивыми бывают обычно больные — всегда являлась к пяти часам после полудня, окончив свою бухгалтерскую работу. Мы слышали шуршание, потом она снова уходила — об этом свидетельствовал характерный щелчок замка на входной двери. Ей нужно было забрать из детского сада младшую дочь.

Мать Лизы имела обыкновение возникать в разных местах квартиры неожиданно и тихо, как привидение, в разговоры с нами не вступала, как будто не замечала. Но, как настороженный дух, веяла здесь надо всем. Казалось, она видит нас сквозь стены. Маленькая сестра Лизы была слишком похожа на мать — некрасивая, тихая, какая-то шуршащая. И когда они вдвоем возникали вдруг на пороге квартиры, я обычно спасалась бегством, как от чего-то потустороннего.

Лиза провожала меня, но никогда не пыталась задержать — даже если мы не доделали урока. Она никогда не уходила вместе со мной — например, погулять. Ее бледные молчаливые родственницы стояли позади нее и настойчиво ожидали моего ухода. После того как дверь квартиры закрывалась, я прислушивалась. Но кроме шаркающих шагов из-за двери не раздавалось больше никакого звука. Этот дом был похож на склеп, куда случайно попала человек Лиза.

Слово, парящее над водой

Говорят, что юные девушки ждут романтических признаний. Так природа сохраняет один из своих видов. Говорят, что человек ничем в этом смысле не отличается от прочих живых существ, — как вид он должен сохраниться во что бы то ни стало. Но вот, например, самки жуков-плавунцов, не желая размножаться, защищаются от самцов, пока хватает сил. В процессе защиты они из поколения в поколение приобретают такие видовые изменения, чтобы процесс получения потомства был максимально осложнен. Высшей точкой противостояния становится разделение самок и самцов одного вида на два отдельных. Мужчина и женщина — не два ли отдельных человеческих вида? Юные девушки, думала я, очень похожи на самок плавунца — ждут, чтобы их оставили в покое. Я, например, только этого и жду...

Биологичка, маленькая, гладко зачесанная, блеклая, ходила по рядам, смотрела, кто и как выполняет самостоятельную работу.

— Роза, не отвлекайся. Выполняй... — и ткнула пальцем в мою тетрадь и закрыла книгу про плавунцов. В общем, как сказала бы мама: «Роза, играй!»

В соседнем ряду, ближе к «камчатке», корпел над генетическими категориями Егор. Время от времени я начинала беспокойно ерзать, чувствуя спиной его взгляд.

— Никто не отвлекается! У вас осталось десять минут. Егор, на перемене будешь гипнотизировать одноклассниц.

Биологичка не была злой или противной. Но, как и большинству училок (да что скрывать, как и подавляющему большинству взрослых), ей претила деликатность в обращении с нами, все еще недолюдьми. Существами, не доросшими будто бы до права на уважение. Главная причина подростковых бунтов — неуважение взрослых к младшим — опускалась, и бунты рассматривались взрослыми как неизбежное бремя, которое вынуждены нести они по завещанию предков, и никуда от него не деться. Это была их главная и роковая ошибка.

— А можно я вас загипнотизирую, Раиса Михайловна? — сострил Егор, ставя биологичку в неудобное положение перед школотой.

Класс зашумел, захихикал.

Но Раиса Михайловна не зря была еще и завучем, а значит, умела отбивать подобные атаки:

— Ты не в моем вкусе, Егор.

Класс загоготал.

— Так и вы уже давно не в моем. Это я так, из любезности, из уважения к возрасту предложил.

Класс замолчал, словно пролетел над ним какой-то стремительный ангел. Выпад Егора был, пожалуй, чересчур агрессивным, немилосердным по отношению к этой стареющей женщине.

— Хам, — слишком уж спокойно сказала Раиса Михайловна и невозмутимо собрала тетради.

Но мы поняли, что дело пахнет керосином.

После уроков Егора отправили в школьные подвалы разгребать хлам. Мне в учительской вернули книгу о плавунцах.

Естественно-научные копания в жизненном опыте плавунцов ничего не добавили к моему личному опыту.

* * *

Поначалу, пока все происходило негромко, медленно, я почти не делала попыток возражать против тихого поклонения. В какой-то момент стало даже приятно, что и ты наконец превращаешься (если уже не превратилась) из чего-то некрасивого, непривлекательного во что-то хорошее или по крайней мере хорошенькое.

Егор не вызывал никаких острых эмоций, но располагал к себе. Я заметила, что он порывист, ему трудно бывает держать себя в руках. Когда он нервничал или злился, глаза начинали опасно сверкать. Совсем темные, они становились каким-то лихорадочными, когда я заговаривала с ним. В классе я чувствовала этот взгляд спиной, макушкой, ушами и даже, казалось, волосами. Меня одолевала смутные чувства. Возникло любопытство. Даже после того, как Мария сообщила мне о том, что я стала предметом особого интереса, все это пока еще могло существовать в рамках комфорта.

Но когда домашний телефон начал ежевечерне дребезжать — настойчиво, нудно — все изменилось. Когда он сказал *это* вслух в школьном коридоре, все изменилось. Я почувствовала себя пленницей его слов. Он, казалось мне, освобождается, делится своим грузом, который я должна разделить. Но у меня не было такого желания.

Не стоило говорить *слов*, которыми пространство вокруг и так было порезано, истыкано, как ножами. И в раны затекал неизвестный, пугающий мир. Мой прежний мир я пока еще узнавала, но и он сильно менялся. Добавлялись детали, прояснялись обстоятельства. Новые вещи требовали пристального изучения. В этом заново возникающем мире я должна была жить самостоятельно. Слова произносились, рана расширялась — и никто не мог мне помочь.

Вечера наполнились бесконечными требовательными объяснениями по телефону, пугающими полнотой и глубиной тона, одной нотой, тревожной, на которой все и держалось. Огромной нотой, которая своим

звучанием перекрывала смысл и сама, одна содержала его как истину, непонятную, ничему не подвластную. Слова возражения или увещевания только добавляли ей силы, она гудела, как труба, с каждым разом все ярче и ярче. Это была уже чистая вибрация. То самое, что открывается в истинном, — то самое Слово, парящее над водой. Суть соединения духа и тела — и все тяготы этого соединения, лишаящие свободы. И я, еще подетски свободная, увязала в этом Слове, как в болоте. Что оно значит? Что мне с ним делать? Как я буду с этим жить? Что я скажу маме? Как будут на меня смотреть окружающие? Что ему нужно от меня?

Звонки гудели в квартире, как колокола. Они становились настойчивей, разговоры продолжительней. Отстань! Не звони! Надоед! Освободиться от этого любым способом! Мама упрекала — зачем же так грубо, надо помягче, чтобы не обижать человека. Даже мама начинала за него, чужого, неизвестного, переживать! Но как еще остановить это безумие, мама? Чужое, которое, как собака зайца, гонит меня куда-то. То, что возникло не по моей воле, требует отчета от моей. Закипала обида: моя собственная мать укоряет меня, но сама не делает никаких попыток повлиять на ситуацию. В глубине души мне бы хотелось, чтобы она взяла и поставила все на свои места, все исправила. Но было понятно, что она ничего не может сделать. И даже не будет пытаться: ей все это кажется несерьезным и она видит только мою грубость, за которую следует поругать.

Поэтому я огрызалась на ее просьбы быть помягче. Мать обижалась и уходила в свою комнату.

Оставалась одна надежда — на Марию. В ее силах, думала я, развязать все узлы. Но Мария выжидала, не вмешивалась. И все спрашивала, как я отношусь к Егору.

— Нормально отношусь. Но какая разница, Мария?

— Он тебя очень любит... — Она отводила глаза и тонкими пальчиками ощупывала кофейную чашку, как это делают слепые. Думаю, она все же была очень молода, поэтому бессильна даже посоветовать. Наверное, она робела перед тем отчаянным чувством, которое, как шаровая молния, летело от Егора, сшибая все, что стояло на пути. Скорее, оно металось между всеми нами: взрослеющими детьми и одним взрослым, который сам еще недавно был ребенком. Это была энергия в чистом виде, неприкаянная.

— Но что мне делать, Мария?!

— Я с ним поговорю, — водя пальцами по краешку чашки, отвечала она. — Будем надеяться, что все будет нормально.

«Будем надеяться?! Зачем здесь нужна надежда?» — думала я.

* * *

В конце зимы созрел бунт.

Зима навалилась всей своей белой тушей, отупила холодом. Была в ней мертвецкая неподвижность, над которой не властны самые порыви-

стые ветры. Потрескивали деревья от мороза, и казалось: мир лежит на дне глубокой ослепительной ямы — хотя в школе началась горячая пора, учителя натаскивали классы по самым важным предметам. Оставалось полгода до того, как все мы разбежимся, предположительно — по университетам и академиям. Школа вяло гудела, как сонный улей. Засыпая на уроках, мы пытались сражаться за условные знания, которые должны были привести нас к счастью.

В этой рутине, которая, казалось, сдавливает нас смирительной рубашкой, всякое живое чувство раздражало. Если он подойдет, заговорит — а в школе мы не общались, — то все сразу подумают, что это — «отношения», фантазировала я. Девочки любили посплетничать о парочках. Мальчики выносили это дальше, на громкое хохотливое обсуждение в коридоры. А оттуда сплетни доплывали до учительских, оттуда — до родителей. А родители, как обычно, приставали с гнусными объяснениями вреда и пагубы — ибо готовы внести свой непосильный родительский вклад в сохранение нравственности поколения, которое, по их мнению, заведомо хуже и распущенное их самих. Все это выглядело грязным, недостойным — и сами «отношения», и поджатые губы учителей, и оскорбительные родительские речи.

После сонного бреда уроков я старалась быстро улизнуть из школы, убежать на дальнюю остановку и спокойно дожидаться там автобуса или сюрреалистичного, заросшего изнутри льдом троллейбуса. Тася почти ежедневно уходила на курсы в свой медицинский, и теперь мне нечем было прикрыться от преследования. Егор шел следом, прятался за деревьями, ехал со мной в одном троллейбусе, шел, пока я не скрывалась в подъезде своего дома.

А вечером раздавался телефонный звонок. Я вела себя как умалишенная, то кричала, то ласково издевалась, то принималась врать. Он обещал разом покончить со всем. Жизнь, говорил он, только ступенька в цепи перерождений. Так, говорил он, считают буддисты, а он — буддист.

Религиозно ориентированный кошмар скоро окутал все вокруг. У Марии он становился определеннее — потому что подросткам свойственно обсуждать центральные вопросы жизни и смерти, и Мария, закончившая свой психфак, велась на эти разговоры. Егор шумным голосом рассказывал всем нам, что жизнь не стоит ничего, что не жаль ее потерять, а если сделать это в нужный день и час, то можно обрести новую, перевоплотиться в кого хочешь. Так что старая, говорил он, не стоит ничего. И Павел вдруг поддерживал его. А Мария аккуратно слушала. А потом они шумно обсуждали, что происходит с человеком после смерти. Только Сережа, который иногда заглядывал на наши сборища из какого-то своего отдельного, необъяснимого любопытства, молчал, иногда шумно выдыхая что-то вроде «м-да» или «хм», как всегда невпопад. Но эта его комичность больше никого не веселила.

— А ты, Роза, любишь жизнь? Она стоит чего-нибудь? — усмехался Егор, обращаясь ко мне, но глядя на Марию. Как будто ожидал,

что я своим ответом должна подтвердить нечто, что они с ней обсуждали, какую-то его правоту.

Да, люблю. А о цене никогда не думала — я же не собиралась покупать ее или продавать. Так и сказала. В ответ зависла тупая тишина. Наконец, не выдержав, застрекотала Лиза. Я теперь исправно таскала ее с собой — в качестве щита. Чем больше народу, тем меньше внимания будет ко мне. А Лиза хорошо отвлекала на себя внимание — она, как назойливое насекомое, раздражала Павла. Но скоро уже и Лиза стала в нашей компании почти своей — куда более «своей», чем я. Кажется, Павел привлек ее на свою сторону, все ей рассказал.

Понимала ли Мария, что ситуация выходит из-под контроля? Мы все жили в напряжении. Егор стал резким, грубил и смотрел незнакомо, совсем изнутри, как будто новыми, какими-то острыми зрачками, открывшимися в глубине его теплых глаз. Павел же смотрел хищно, переживая за друга. Мария совсем отстранилась — наверное, ждала, что я скажу им всем нечто такое, что восстановит мир. Мира не было. Мы обсуждали смерть. Так прошла еще одна зима.

Однажды позвонил Сережа. Этому чего еще надо?

— Я зайду, я тут рядом. Поговорим...

Поговорим? Но у нас нет важных общих тем, чтобы так значительно сказать: «Поговорим».

Он никогда не был у меня в гостях, и теперь я его не пустила дальше порога. Потом только, когда замерзла сидеть на ступеньке в подъезде, обсуждая предстоящие экзамены, провела в кухню и в огромную кружку плеснула чай. Кружка была в грубой цветочной росписи. Откуда взялась такая уродина? Надо будет ее разбить. Но Сережа разглядывал ее вполне благосклонно. Разговор об экзаменах, который начался в подъезде на ступеньках, замер и не продолжился. Сережа будто собирался сказать что-то, но молчал, поглаживал толстый кружкин бок.

— Дурацкая, да? — стыдно стало, что у меня есть такая жуткая кружка.

— Зачем ты туда ходишь? — он перестал разглядывать посудину и стал разглядывать меня.

— К Марии?

— Ну... Зачем?

— Ты же к Тасе ходишь, и я не спрашиваю зачем... — показалось, что ловко парировала. Но, конечно, на самом деле вышло очень глупо. Сережа покраснел.

— Нет, не хожу... Что, интересно, он в тебе нашел? — Сережа выпятил слово «он».

— А что, кто-то еще во мне что-то нашел? Во мне много чего можно найти. Ты даже не представляешь, что во мне есть. Я просто склад интересного! — хотелось уже дерзить, потому что я начинала робеть, не понимая, в какую сторону развивается наш разговор. Неужели он тоже просит быть снисходительной к поклоннику?

— Ага, не представляю... Он тебе нравится? — Сережа противно сощурился.

— Кто?

Главное — это вовремя сделать глупое лицо. Чего этот Сережа-переросток хочет сказать?

Тут он вдруг встал, сказал «спасибо», намотал на себя свои одежды — и ушел. Просто невероятно! Молча вдел ноги в дурацкие огромные ботинки, напялил дурацкую пижонскую куртку — и ушел! Чепуха какая-то. И сверху, с площадки пятого этажа, я крикнула ему вниз, поиздевательски:

— Это что же, все?! Это называется «поговорили»?!

— Ага, — донеслось снизу.

И чего приходил?

* * *

На носу были выпускные экзамены. Я пробовала догнать упущенное: алгебру, химию. Сидела в своей каморке, вздыхая над учебниками.

В одну из пятниц, когда твердый, как рис, острый мартовский снег сек стекла, мама, придя с работы, воспрянула духом. Она вдруг принялась за пирожки. Это было невиданно и неслыханно. Пирожками в нашем доме давно уже не пахло.

Маленькие тугие кудельки ее, вытолкнув шпильки из прически, задорно болтались над доскою, где она раскатывала тесто. Мама напевала. А потом попросила:

— Ты бы сыграла что-нибудь. Когда в последний раз инструмент открывала? Крышка уже приросла, наверное...

Инструмент всю зиму зря пылился в зале. Мама, хоть и подливала воду в банки, спрятанные в его чреве, до клавиш почему-то не дотрагивалась, хотя раньше время от времени играла. Не часто, но все же... Мы с ней словно жили теперь на разных планетах. Чем она занималась, как жила — я не имела об этом ни малейшего понятия. Так же и она, присматривая за мной, не вторгалась ни в какие сложные области. Она кормила меня, кое-как одевала. Она была занята чем-то своим, что-то копилось у нее в душе. О моей душе она не сильно пеклась. Иногда мне казалось, что мама не верит в то, что я вообще умею думать и чувствовать. Казалось, что она вообще не уверена, что у меня уже зародилась душа. Мол, нормальная душа появляется у человека, только когда он становится взрослым, — разве не так думают все взрослые?

— Давай-ка, поиграй! — скомандовала она, видя, что я не тороплюсь.

Просто закрепились в ее жизни такая традиция: когда настроение хорошее, когда праздника хочется, нужна музыка. Стряпая пирожки, она почувствовала, что музыки нам сейчас не хватает. У нас был, по ее мнению, праздник спокойствия и радости. Поэтому, не удивляясь

настроению мамы и ценя это редкое настроение, я подняла черную крышку. Желтые зубы фортепиано обнажились, как зубы обглоданного тлением покойника. Покойник был сильно расстроен.

— Роза, скорей играй! — кричала мама, радостно и громко напевала что-то популярное. Я понимала, что она боится упустить свое настроение.

— Не пой эту гадость! Давай другое! — нужно было поддержать ее, чтобы она видела и радовалась — я не только исполняю ее волю, но и сама принимаю участие в радостной жизни с пирожками и музыкой. Мама принялась напевать романсы.

— Роза, пиано! Там пиано! — она возмущенно хлопала в ладоши. Я слышала этот глухой от налипшего ей на руки теста звук и представляла, как по кухне стелется мучной туман. Это было детское воспоминание: бабушка и мама лепят беляши, белые ватрушки наполняют липкой красной начинкой. По кухне гуляет белое облако. Оно путешествует то за мамой, то за бабушкой. Шипение в большой зеленой утятнице пугает облако, и оно убегает, растворяется. В утятнице белое и красное превращается в румяное, слабое, душистое. Вся квартира наполняется каким-то древним теплым духом. Я знаю, что к вечеру соберутся гости. На середину комнаты выдвинут большой полированный стол, достанут плотную, как лаваш, скатерть... Еще я предвкушаю заключительную часть кулинарного таинства — скоро, как только будут готовы беляши, по кухне снова загуляет белое облако, которое принесет большой брусничный пирог, сладкий и кислый одновременно. Я шлепаю по желтому полу и прячусь под кухонным столом, с которого свисает клеенка с синими гусарами. Меня не видно. Но облако оседает вниз — и видит меня под столом. Раздается звонок. Наверное, пришли первые гости...

Звонок не унимается. Трель его набирает силу, что кажется невероятным. Звонок становится каким-то злым, раздраженным, хотя обычно он мелодичен и добр — у него добрый голос. Он принимает образ пожарной сирены, и уже ветер от его звука пошевеливает синих гусаров на той стороне клеенки. Гусары едва просвечивают с обратной стороны, но я вижу все равно, как тревожно двигаются их усы, а руки ложатся на рукоятки сабель. И вот звонковый ветер срывает шапку с головы одного гусара, и все они на своих синих конях уже несутся вперед, защищать наш праздник, наш семейный уют...

— Роза, ты оглохла? Возьми уже трубку! Телефон сейчас взорвется! Я не стану врать твоим поклонникам, что тебя нет дома! — мама быстро переходила из любой благодати в состояние раздражения. Было поразительно, как ее настроения сменяют друг друга и конфликтуют между собой. Десять минут назад она мурлыкала романс, укладывая на жирный противень кусочки теста, а теперь вот вопит, словно ее обокрали. Ты уже выросла, кричала мама, перебивая звонок, ты можешь дружить с мальчиками, и даже странно, что ты такая упрямая...

Ладно.

Бывает, вокруг наступает звенящая тишина — в больнице, где громко дышат тяжелые, в родильной палате, на шумном перекрестке, среди веселья, истерики, суеты. Ты ее слышишь, а никто другой не слышит, они по-прежнему занимаются своими делами, плачут или смеются. А у тебя тишина стоит в ушах. И оттого становится не по себе — словно жизнь остается, а ты уже уходишь в тишину, будто умер. Для этой тишины словно бы вовсе не надо причин — она появляется вдруг и ниоткуда. Синие гусары рубятся в битве, усы их развеваются, кони топчут врага — но все это погружено в тишину, больше похожую на вечность. «Алло» в такой тишине звучит как салют, как гром.

— Алло... ну и что... а я нет... отстань... не звони. Ну и прекрасно... пока.

Телефон стукнулся о стол. Тишина как эхо повторила краткий отрывистый разговор: один голос сказал: «Я нашел веревку и мыло...»; другой голос ответил: «Ну и прекрасно...»; первый голос попросился: «Прощай»; второй голос ответил: «Пока».

Это все были только слова, только голоса. Они искали опору друг в друге, чтобы не погибнуть в этой тишине.

Ну разве словам вообще можно верить? Ну и прекрасно, ну и пока. Ну и прощай. Легкие же слова. Слово, рассеянное над водой, слово, обнимающее воду. «А ты, Роза, любишь жизнь?» Ерунда, мальчишество.

— Ма, пирожки готовы?

Белым облаком таяла над столом, над мамиными кудрями предыстория будущего — мое детство.

* * *

Бред отчаяния знаком теперь и мне. Остановить его, я знаю, может только чья-то посторонняя сильная воля, которая, может быть, передавит тебя, обуглит чистоту переживания, которое кажется идеальным. И ты увидишь: нет ничего. И ты увидишь: все распадается. Предмет твоего чувства ничтожен.

Нельзя забываться иллюзиями — говорит тот, кто обладает волей. Он говорит, что настоящая любовь не разрушает. Он заставляет признать заблуждения. Процесс отречения мучителен, ты готов убить своего спасителя, проклинаешь и обещаешь ему кары небесные. Но все заканчивается благодарным целованием рук, которые изъяли тебя из убийственной фальсификации. Так заканчивается несчастная неразделенная любовь для тех, кого могли подхватить настоящие любящие руки.

Но какие руки могли ухватить Егора? Ни Мария, ждущая на своем берегу, ни Павел, проявляющий молчаливую мужскую солидарность, не могли запретить ему. Только любящий может проделать такое.

(Окончание следует.)

«Я НЕОПОЗНАННЫЙ СОЛДАТ...»

В 2015 году, в юбилей Победы, мы печатали стихотворные подборки сибиряков, погибших на полях сражений. Теперь предлагаем вашему вниманию стихи тех, кому удалось вернуться с фронта и застать переломные 80-е и 90-е годы века двадцатого и даже начало века двадцать первого. Поэтов, так или иначе связанных с Сибирью. Кто-то здесь родился и вырос, кто-то волею случая попал сюда в молодости и отсюда уже не уехал, кто-то — уехал, но нити, соединяющей его с Сибирью, не оборвал.

Юрий Левитанский, Леонид Решетников, Марк Юдалевич, Иван Краснов, Марк Сергеев, Михаил Борисов — всех их объединяет еще и то, что они были постоянными авторами нашего журнала. А стихотворения их, написанные уже в мирное время, в зрелом возрасте, роднит схожий пафос — это тексты по глубинной сути своей антимилитаристские, оголенно правдивые, тексты, продиктованные страшной и горькой памятью о прошедшей войне.

Юрий ЛЕВИТАНСКИЙ

Левитанский Юрий Давидович (1922—1996) родился в г. Козельце (Украина). В июне 1941 г. ушел добровольцем на фронт. Отечественную войну окончил в Чехословакии, пройдя путь от рядового до лейтенанта. Затем участвовал в советско-японской войне. После капитуляции Японии жил в Иркутске, где вышли его первые книги. В конце 1950-х годов переехал в Москву.

Земля

Я с землею был связан немало лет.
Я лежал на ней. Шла война.
Но не землю я видел в те годы, нет.
Почва была видна.
В ней под осень мой увязал сапог,
с каждым новым дождем сильней.
Изо всех тех качеств, что дал ей бог,
притяжение лишь было в ней.

Она вся измерялась длиной броска,
 мерам нынешним вопреки.
 До второй избы. До того леска.
 До мельницы. До реки.
 Я под утро в узкий окопчик лез,
 и у самых моих бровей
 стояла трава, как дремучий лес,
 и, как мамонт, брел муравей...
 А весной цветами она цвела.
 А зимою была бела.
 Вот какая земля у меня была.
 Маленькая была.
 А потом эшелон меня вез домой.
 Все вокруг обретало связь.
 Изменялся мир изначальный мой,
 протяженнее становясь.
 Плыли страны. Вился жилой дымок.
 Был в дороге я много дней.
 Я еще деталей видеть не мог,
 но казалась земля крупней.
 Я тогда и понял, как земля велика.
 Величественно велика.
 И только когда на земле война —
 маленькая она.

(Публикуется по: Левитанский Ю. Теченье лет: стихи. —
 Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1969.)

* * *

Ну что с того, что я там был.
 Я был давно. Я все забыл.
 Не помню дней. Не помню дат.
 Ни тех форсированных рек.

(Я неопознанный солдат.
 Я рядовой. Я имярек.
 Я меткой пули недолет.
 Я лед кровавый в январе.
 Я прочно впаян в этот лед —
 я в нем, как мушка в янтаре.)

Но что с того, что я там был.
 Я все избыл. Я все забыл.
 Не помню дат. Не помню дней.
 Названий вспомнить не могу.

(Я топот загнанных коней.
Я хриплый окрик на бегу.
Я миг непрожитого дня.
Я бой на дальнем рубеже.
Я пламя Вечного огня
и пламя гильзы в блиндаже.)

Но что с того, что я там был,
в том грозном быть или не быть.
Я это все почти забыл.
Я это все хочу забыть.
Я не участвую в войне —
она участвует во мне.
И отблеск Вечного огня
дрожит на скулах у меня.

(Уже меня не исключить
из этих лет, из той войны.
Уже меня не излечить
от той зимы, от тех снегов.
И с той землей, и с той зимой
уже меня не разлучить,
до тех снегов, где вам уже
моих следов не различить.)

Но что с того, что я там был!..

(Публикуется по: Левитанский Ю. Письма Катерине,
или Прогулка с Фаустом: стихи. — М.: Сов. писатель, 1981.)

Марк ЮДАЛЕВИЧ

Юдалевич Марк Иосифович (1918—2014) родился в г. Бого-толе. В 1941 г. добровольцем ушел на фронт. Был рядовым, командиром роты, военным корреспондентом. После войны жил в Барнауле. Был главным редактором альманаха «Алтай», журнала «Барнаул», руководителем Алтайской краевой организации Союза писателей России.

* * *

Поземка вьется, как змея,
а кто ползет по льду?
Совсем не я, совсем не я —
у смерти на виду.

А пули — вжик, а пули — вжик,
 опасен их полет.
 Предсмертный стон и дикий крик...
 И вдруг команда:
 — Взво-о-од!
 И вот бойцы встают, встают...
 Прощай, шершавый лед,
 уют последний и уют...
 — За Родину, вперед!
 А пули — вжик, а пули — вжик...
 А взвод бегом, бегом...
 Кто добежит, тот добежит,
 и — грудь на грудь с врагом.
 Ваш крестный путь еще далек,
 окопные друзья.
 И с вами юный паренек,
 не я, совсем не я.

(Публикуется по: Обратный отсчет: поэт. антология. —
 Барнаул: ЛФ «Август», 2010.)

Леонид РЕШЕТНИКОВ

Решетников Леонид Васильевич (1920—1990) родился в д. Малый Ноледур (д. Мари-Ноледур, Республика Марий Эл). С 1941 г. воевал на Западном фронте. Был разведчиком, наблюдателем, связистом, политработником, военным газетчиком. После войны жил в Новосибирске, много лет возглавлял Новосибирскую писательскую организацию.

Ночная атака

Прожектор, холодный и резкий,
 Как меч, извлеченный из тьмы,
 Сверкнул над чертой перелеска,
 Помедлил и пал на холмы.

И в свете его обнаженном,
 В сиянии дымном, вдали,
 Лежали молчащие склоны
 По краю покато́й земли.

Сверкая росой нестерпимо,
 Белесая, будто мертва,
 За еле струящимся дымом
 Недвижно стояла трава.

Вся ночь, притаившись, молчала.
Еще не настала пора.
И вдруг вдалеке зазвучало
Протяжно и тихо: «Ура-а-а!»

Как будто за сопкою дальней
Вдруг кто-то большой застонал,
И звук тот, глухой и печальный,
До слуха едва долетал.

Но ближе, все ближе по полю
Катился он. И, как игла,
Щемящая ниточка боли
Сквозь сердце внезапно прошла...

А рядом — с хрипеньем и хрустом —
Бежали, дыша горячо.
И сам я летел через бруствер,
Вперед выдвигая плечо.

Качалась земля под ногами.
Моталась луна меж голов.
Да билось, пульсируя, пламя
На выходах черных стволов.

(Публикуется по: Помнит мир спасенный: стихи поэтов-сибиряков о Великой Отеч. войне и Совет. Армии. — Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1970.)

Иван КРАСНОВ

Краснов Иван Георгиевич (1923—1997) родился в д. Висяге, Чувашия. На фронте — с осени 1941 г. Был стрелком лыжного полка, автоматчиком, пулеметчиком, впоследствии — военным журналистом. После войны жил в Новосибирске, работал в окружной газете СибВО «Советский воин».

В гостях у старого учителя

И. А. Юдину

Мир сиял, алел и голубел.
И казалось: он такой нарядный
Оттого, что я мундир парадный
Напоказ учителю надел.

Кто из нас о случае таком,
Честно говоря, не грезил с детства?
Я мечтал, в его вступая дом,
Поскорей до орденов раздеться.

Как я жаждал ослепить его
Солнечным сиянием регалий!
Как терзался втайне оттого,
Что шинель снимать не предлагали!

О, я блеска прятать не хотел.
От смущенья, раздумывая ярко,
Сам себя торжественно раздел,
Бормоча, что в доме очень жарко.

Пять минут продлился мой парад.
А потом... Потом столбом нелепым
Стыл я у портретов двух солдат,
У портретов с погребальным крепом.

Парни, не пришедшие с войны,
Знавшие бог весть какие бури,
На меня смотрели со стены,
Испытующе глаза прищурив.

Довоенные мои друзья,
Сверстники, учителей дети...
Как же мог, как смел не вспомнить я,
Что сегодня нету их на свете!

Пусть я в том ничуть не виноват:
Надо мною те же бомбы выли,
И в дивизии не напрокат
Мне созвездье это прицепили...

С той поры, как выйду на парад,
Грусть и боль меня не покидают.
Раньше знал я — ордена звенят.
Нынче — слышу, как они рыдают.

(Публикуется по: Краснов И.
Рукопожатье: стихи разных лет. —
Новосибирск: Новосибирское кн. изд-во, 1993.)

Марк СЕРГЕЕВ

Сергеев (Гантваргер) Марк Давидович (1926—1997) родился в с. Енакиево (Украина). С 1939 г. жил в Иркутске. В 1943 г. был призван в армию, служил в Забайкалье, принимал участие в войне с Японией. Долгое время возглавлял Иркутскую писательскую организацию.

Возвращение с войны

Эшелоны гремят обратные,
посреди зимы,
и китайские аккуратные
отстают дымы.
По теплушкам снует метелица.
Караулим груз.
И еще в наши жизни целится
по ночам хунгуз,
и еще, куржаком оправленный,
от тревог устав,
через пули и спирт отравленный
наш гремит состав.

...Глинобитная улица узкая,
чей-то грустный взгляд.
Но все ближе граница русская,
и сердца горят.
И уже нам ночами снится:
над волной ракиг,
распластавши крыла, как птица,
эшелон летит.

Смотрят матери удивленно,
детвора бежит:
журавлиная стая вагонов
в небесах кружит.
И садятся напропалую,
развернув крыло,
кто на улицу городскую,
кто в свое село.

Мы выпрыгиваем на травы,
ордена звенят,
ах какие, о боже правый,
очи у девчат!
Как целуют они нас сладко
у речных ракиг...

Голова на шинельной скатке,
 эшелон гремит.
 Зори — мимо,
 пространства — мимо,
 в ледяной красе,
 и колеса неутомимо
 все отстукивают с нажимом:
 «Живы, мальчики... живы, живы...
 Да не все...
 не все...»

(Публикуется по: Сергеев М.
 Вечерние птицы: стихи. —
 М.: Современник, 1987.)

Михаил БОРИСОВ

Борисов Михаил Федорович (1924—2010) родился в пос. Михайловском (Алтайский край). В 1941 г. ушел добровольцем на фронт. Служил в артиллерии, участвовал в Керченской десантной операции, в битвах под Сталинградом, Курском, в штурме Берлина. Герой Советского Союза. После войны жил в Новосибирске, в Кузбассе, затем в Москве.

На дорогах войны

Горечь памяти...
 А не много ли
 Накопилось ее в груди?..
 Только мне фронтовыми дорогами
 Захотелось опять пройти.
 Степь под Курском щебечет птицами,
 Заливаются соловьи...
 Позову —
 Может быть, откликнутся,
 Отзовутся друзья мои?
 Но друзья фронтовые, близкие,
 Не услышат ни слов, ни строк...
 Память серыми обелисками
 Замерла вдоль степных дорог.
 В теплом дождике,
 В снежной замяти,
 В переплеске листвы она...
 И стоит на часах у памяти
 Придорожная тишина.

(Сибирские огни. 1965. № 5.)

* * *

Я возвращаюсь всякий раз туда —
В окопный быт,
В обугленные дали,
Где мы не так уж много и познали,
Но без чего не вышли бы сюда.
Тогда ни ночи не было,
Ни дня,
Тогда земля и небо цепенели,
И мы нередко различали цели
В пределах только сектора огня.
Без выси, широты и глубины
Казался мир в винтовочную прорезь.
Он и сейчас спрессован,
Словно совесть
Мальчишек, не вернувшихся с войны.

(Публикуется по: Борисов М. Река времени: стихи. —
М.: МОФ «Победа — 1945 год», 1995.)



Павел ОРЛОВ

СИБИРСКИЕ БРОНЕПОЕЗДА. НАЧАЛО ПУТИ

Эта история началась десять лет назад, когда в отмечающем нынче столетний юбилей Новосибирском государственном краеведческом музее объявили конкурс в честь 65-летия Победы. Требовалось разработать экскурсию по трем-пяти нашим фотографиям времен Великой Отечественной войны. Участие было обязательным, а материала имелось немного — степень оцифровки фондов на тот момент была близка к нулю, и то, что не лежало в папке «Великая Отечественная война», так на глаза никому и не попало. Но именно тогда я впервые и увидел фотографии бронепоезда «Сибиряк-Барабинец».

Конкурс я выиграл, за что и был премирован командировкой в составе ежегодно (с 1995 г.) курсирующего по Новосибирской области «Поезда памяти» или, как его сейчас обычно называют, «Поезда за духовное возрождение России». Причем задачу мне поставили в наших лучших традициях: через полтора месяца едешь с лекцией по дальним селам и деревням; готовой темы нет, материалов нет; то, что ты — хранитель, никого не волнует... просто сделай это! Я сделал, и знаете, мне понравилось. Вот уже десять лет я участвую в этом мероприятии.

Более того, именно «Поезд памяти» пробудил у меня интерес к поиску документов о сибирских бронепоездах в Центральном архиве Министерства обороны, расположенном в Подольске. По-хорошему, тема дивизионов бронепоездов, построенных и сформированных в Новосибирской и соседних областях, достойна отдельной книги, но... Пока есть только лекция с фотоматериалами, которую уже прослушали несколько тысяч школьников Новосибирской области, а теперь еще и эта статья, появившаяся, что ничуть не удивительно, в результате общения с такими же увлеченными людьми, едущими в отдаленные районы в рамках все того же «Поезда памяти»...

* * *

Бронепоезда... Первое чувство, которое испытывает современный человек, услышав о бронепоездах Великой Отечественной войны, — удивление. Потому что уже в советское время бронепоезда стали одним из символов Гражданской войны, а про их участие в боях 1941—1945 гг. было не принято вспоминать.

В «войне моторов» середины XX в. «рулили танковые клинья и ковровые бомбардировки», и локомотив с пушками здесь воспринимался как неуместная архаика. Статьи и тогда, конечно, были — об отдельных представителях: наиболее известных и отличившихся в боях бронепоездах ПВО, серийных бронепоездах второй половины войны. Но так, чтобы обо всех, с подробностями и анализом — нет.

Лишь ближе к концу XX в. вышли книги, посвященные данной теме. Самыми заметными стали работы А. В. Ефимьева, А. Н. Манжосова и П. Ф. Сидорова в самом начале 1990-х, Л. И. Амирханова — к 60-летию Победы и, конечно, М. В. Коломийца уже в наши дни. А вот вспомнить или найти художественную литературу о «бронепоездниках» (так было принято писать в документах времен войны) мне не удалось.

Эта статья — первая попытка обобщить имеющиеся материалы по истории дивизионов бронепоездов, построенных в Новосибирской области и окрестностях зимой 1941—1942 гг., первая попытка дать картину пусть и неполную, пусть со спорными моментами, требующими дополнительной проработки, но основанную на реальных документах. Вырастет ли это в полноценную историческую работу — время покажет.

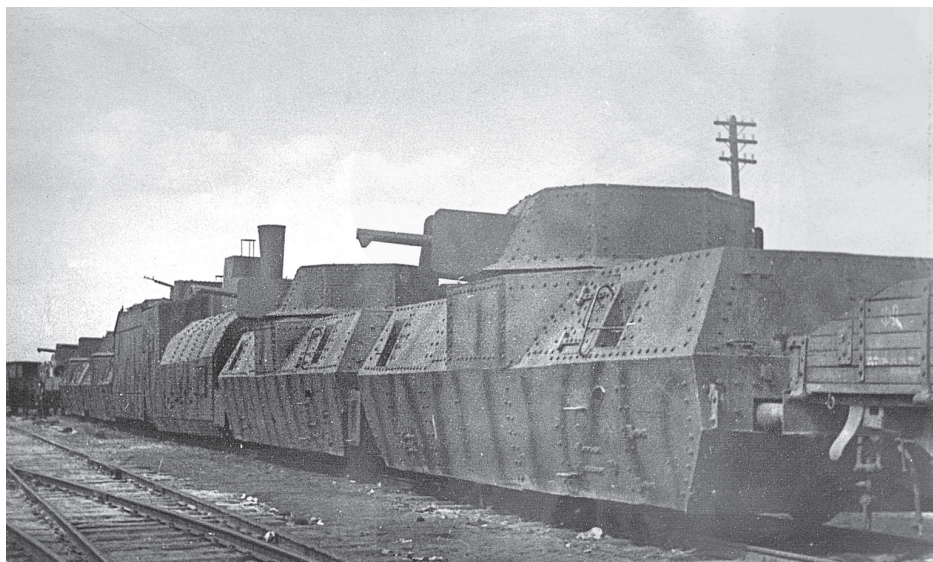
Итак, в 2012 г. у меня были: две фотографии бронепоезда «Сибиряк-Барабинец», историческая справка о нем, написанная Ф. Т. Беспаловым еще в 1965 г., и шок от осознания того простого факта, что у нас подобных бронепоездов было построено тринадцать, а мы о них ничего толком и не знаем.

«В первые месяцы войны паровозное депо Барабинск, бывшей Омской железной дороги, получило задание ГКО о постройке бронепоезда. В короткий срок при участии бывшего начальника депо К. Н. Голикова, инженера К. И. Веревкина, мастеров К. П. Мецнера, С. А. Рогулева, Д. А. Шмагнова был построен бронепоезд, названный “Сибиряк-Барабинец”. В строительстве БП принимали участие: токарь Н. И. Таюров, слесари И. К. Ивохин, Н. Т. Бойков, В. С. Акимкин, В. В. Тюльков, А. М. Бирюков, А. Г. Моков, И. М. Басалаев, И. И. Драгомиров, электро-газосварщик Ф. А. Ващенко и другие. Работы по строительству велись круглосуточно.

Вот что рассказывает участник постройки БП Николай Тимофеевич Бойков: “Я тогда работал слесарем. Работы вели, не прекращая ни на минуту. Приходилось быть сутками на бронепоезде. Особенно ответственной была работа по монтажу башен и установке орудий. Находясь в тылу, хотелось больше сделать для фронта”.

Сразу же после постройки в 1942 г. БП “Сибиряк-Барабинец” был отправлен на фронт. Машинистами на него добровольно пошли Петр Константинович Мялицын, Андрей Иванович Воложанин, Василий Феофанович Литвинов и Николай Семенович Чернов. Старшим машинистом был назначен П. К. Мялицын. Мастером-путейцем на бронепоезде служил Сергей Дмитриевич Устьянцев, пулеметчиком — работник отделения Лаврентий Дмитриевич Кизилов, они тоже были барабинцами. <...> (Здесь опущен фрагмент о боях на Можайском направлении — не подтверждено. — П. О.)

На Карельском фронте БП играли важную роль, так как передвижение войск осуществлялось по железным дорогам. Множество озер и болот этого края создавали трудные условия для строительства шоссейных дорог, а следовательно, затруднялось и передвижение войск. БП находились в распоряжении командования 32-й армией. Их действия подкреплялись знаменитыми “Катюшами”.



Бронепоезд «Сибиряк-Барабинец» на приемке. ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11358. Д. 38

Во время боевых действий экипажу приходилось сталкиваться со многими трудностями, которые перечислить из-за их множества невозможно. Однако следует вспомнить хотя бы такие: в момент бомбежки станции Сегежа Кировской ЖД БП вел артиллерийскую стрельбу по самолетам, однако одному стервятнику удалось сбросить бомбу в непосредственной близости от БП, в результате чего был перебит соединительный рукав пневматических тормозов поезда. Выход из строя тормозов — потеря маневренности БП. Несмотря на ураганный обстрел, машинист А. И. Воложанин и помощник машиниста Батищев произвели замену рукава, тем самым восстановив маневренность бронепоезда.

Экипаж все время вел переписку с работниками депо Барабинск и с честью оправдал доверие коллектива.

Машинист В. Ф. Литвинов вспоминает: «Мы называли П. К. Мяслицына счастливым, так как он всегда выводил бронепоезд из боя невредимым». Вот один из эпизодов этого «счастливого»: в момент артиллерийского огня, который вел бронепоезд по уничтожению огневых точек врага на Масельском направлении летом 1944 г., и при прокачивании колосников топки паровоза между колосником и трубчатой решеткой попала тормозная колодка. Добрая половина огня провалилась в зольник, и давление пара в котле стало быстро падать. Противник начал артиллерийский обстрел БП. Для спасения боевой техники и экипажа необходимо было удалить злосчастную колодку; нужно было лезть в горячую топку, извлечь ее и установить колосники на место. Именно Мяслицын смог устранить неисправность в топке. Давление пара было быстро поднято, и БП вернул боеспособность.

Из войны бронепоезд вышел технически исправным и был передан на базу для учебных целей. Члены экипажа Мяслицын, Литвинов, Воложанин, Чернов, Устьянцев вернулись в Барабинск. Их боевые действия были отмечены правительственными наградами.

В послевоенное время А. И. Воложанин длительное время находился на командной должности в Барабинском отделении дороги в качестве участкового ревизора по безопасности движения поездов. П. К. Мяслицын являлся депутатом Новосибирского областного Совета депутатов трудящихся.





В настоящее время все четверо работают машинистами локомотивного депо Барабинск. К боевым наградам прибавились награды за доблестный труд.

В Барабинске проживают и работают строители БП Н. Т. Бойков, И. М. Басалаев, В. С. Акимкин, Ф. А. Ващенко, А. М. Бирюков, И. И. Брагомиров...» (Запись Ф. Т. Беспалова, ноябрь 1965 г. — П. О.)

...Вот с этим багажом я и поехал в Подольск, в ЦАМО (Центральный архив Министерства обороны) — читать материалы, лежащие в фонде УБПиБМ (Управления бронепоездов и бронемашин) Главного бронетанкового управления. Естественно, документы по нашим бронепоездам можно и нужно искать и в других местах: в материалах фронтов и армий, которым были подчинены дивизионы, дивизий, с которыми они взаимодействовали, но начать с Управления показалось проще. Опыт показал, что даже дела Управления бронепоездов, бывая в архиве лишь наездами, изучить практически нереально.

Так к чему же привели архивные изыскания? В первую очередь к мысли о том, что историю мы не знаем и знать, в общем-то, не хотим — некоторые дела (в том числе и содержащие документы, раскрывающие интереснейшие подробности строительства бронепоездов начала Великой Отечественной) после сдачи их в архив в 1940-е гг. до 2010-х никем не брались для изучения.

Архивные данные, кстати, заставили с недоумением смотреть и на имеющиеся публикации — взять, к примеру, только 49-й отдельный Шепетовский дивизион бронепоездов: его боевые действия в 1942 г. и зимой 1943 г. до последнего времени не описывались, несмотря на то что один из боев вошел в годовой отчет УБПиБМ в качестве примера успешности и тактической грамотности; опубликованный список командиров дивизиона отнюдь не полон; место формирования дивизиона (Новосибирск) половиной документов (в том числе историческим формуляром 1944 г.) не подтверждается и как минимум требует уточнения. И это не говоря уже о традиционных «фантазиях на тему», относящих начало постройки бронепоезда «Луинец» чуть ли не к лету 1941 года!

Возвращаясь к 49-му отдельному Шепетовскому дивизиону, ниже привожу выписку из его исторического формуляра (здесь и далее все источники цитируются с сохранением орфографии и пунктуации оригиналов).

Штаб 49 ОЩДБП 10.09.1944 года. Действующая армия.

НАЧАЛО ФОРМИРОВАНИЯ ДИВИЗИОНА И СТРОИТЕЛЬСТВО БРОНЕПОЕЗДОВ

49 Отдельный Шепетовский Дивизион Бронепоездов начал свое формирование 8 декабря 1941 года на станции Тайга Томской железной дороги (Новосибирская область) на основании директивы Народного Комиссара Обороны Союза ССР от 29 октября 1941 года за № 22сс.

Первый приказ по Дивизиону был издан 5 января 1942 года, где и установлена была дата годового праздника Дивизиона 5-е января. Приказ был подписан ВРИД Командира Дивизиона капитаном Кононенко, Военным Комиссаром Дивизиона Старшим политруком Поляковым и Начальником Штаба лейтенантом Розенко...

Бронепоезда №№ 663 и 704, входящие в состав Дивизиона построены на средства рабочих, служащих и колхозников Новосибирской области.

В то время враг подошел к сердцу Родины — нашей любимой столице Москве, он подошел к красавцу городу Ленинграду и угрожал нашей родине

разгромом ее. По призыву Всесоюзной Коммунистической Партии /большевиков/ и ее вождя тов. СТАЛИНА сибиряки поняли, что нависшая угроза немецко-фашистских захватчиков стала опасна для родины как никогда, поэтому трудящиеся Новосибирской области все как один с большим воодушевлением вносили средства на строительство бронепоездов, желая этим быстрее ликвидировать опасность — разгромить немецко-фашистских оккупантов под Москвой и Ленинградом и изгнать их с советской земли. Средства от рабочих, служащих и колхозников Новосибирской области с каждым днем нарастали все более и более. Рабочие и служащие Томской жел. дороги взяли на себя обязательство построить для Красной Армии бронепоезда в самый наикратчайший срок и это они выполнили с честью.

Бронепоезд № 663 — четыре 2-хосных бронеплощадки, построены в вагонном депо ст. Рубцовка Томской железной дороги. Паровоз серии Ов № 5983 покрыт броней в паровозном депо Рубцовка.

Бронепоезд № 704 — 4 двухосных бронеплощадки, построены в вагонном депо ст. Новосибирск. Паровоз серии Ов № 5520 покрыт броней в паровозном депо ст. Новосибирск. Закалка брони, установка артсистем и окончательное дооборудование производились на заводе в Кузнецке.

Готовые бронепоезда Дивизион получил 8 марта 1942 года.

СКОЛАЧИВАНИЕ ДИВИЗИОНА И ПОДГОТОВКА ЛИЧНОГО СОСТАВА К БОЯМ С НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ

С 1 января 1942 года по 3 апреля 1942 года Дивизион дислоцировался на станции Тайга Томской железной дороги. За этот период времени производилось сколачивание Дивизиона и подготовка личного состава к грядущим боям с немецко-фашистскими захватчиками. Особо было обращено внимание на изучение материальной части бронепоездов, артсистем, а также изучались боевые опыты бронепоездов. Одновременно уделялось большое внимание и политической подготовке личного состава. В личном составе воспитывалась ненависть к немецко-фашистским стервятникам за их причиненные ущербы советскому народу, за муки советского народа и истязание их немцами небывальными пытками, избиениями и умерщвление их десятками сотен и тысяч ни в чем не повинных людей (так в тексте. — П. О.).

Личный состав Дивизиона с большим воодушевлением и ненавистью к немецким разбойникам, нагло напавшим из-под угла на нашу Родину, ждал того дня, когда их отправят на фронт, ждали все того дня, когда им представится возможность отомстить за все злодеяния, которые причинили немцы народу Советского Союза и славянам всей Европы, поработенной военной машиной гитлеровской Германии.

Не мало было уделено внимания культурно-просветительской работе проводимой среди личного состава Дивизиона и даже среди населения, где дислоцировался Дивизион. Был организован ансамбль художественной красноармейской песни и пляски, который пользовался большим авторитетом среди личного состава Дивизиона и трудящихся города Тайги и Новосибирска. Не мало было дано концертов как в Тайге, а также и в Новосибирске трудящимся Новосибирской области и личному составу Дивизиона.

Командованием Дивизиона был организован конкурс на лучшую прощальную песню бронепоездов с трудящимися Новосибирской области и города Тайги. Одной из песен была принята и пропущена цензурой при редакции газеты «Советская Сибирь» песня, составленная сержантом Папшевым М. И.



На мотив «Каховка»

С запасных уходит путей бронепоезд
Тихо на стрелках шипя,
Помчится на запад наш стальной поезд
Снежную пылью крутя.

Сибирь дорогая, ты нам подарила
Стальную броню, паровоз
Закалку суровую в сталь заложила,
Снаряды народ нам привез.

***Припев:** Пора нам с тобою теперь расставаться.
Пора, дорогая Тайга.
Прощай! Пожелаем еще повидаться
Когда разгромим мы врага.*

С твоею сноровкой сибирской суровой
Врагов будем бить не щадя.
Пусть знают, что наш бронепоезд здоровый,
Пусть знает о нем вся Тайга.

Пусть знают фашисты, что тыл неразрывен,
Что армия наша сильна.
В Советском Союзе тыл с фронтом едины
Есть фронту у нас поезда.

***Припев:** В жестоких боях за защиту родимой
Страны, где свободно цветет
Народ наш счастливый и Сталин любимый
На битвы жестоки ведет.*

Мы знаем в борьбе наше правое дело.
Мы знаем, что мы победим.
Уверены в счастье, сильно и смело
Советов страну защитим.

***Припев:** Прощайте родные таежные склоны!
Прощайте, мы помним всегда
Кто нам изготовил стальные вагоны,
Составил из них поезда.*

За ваши вагоны — подарки стальные
С фронта пришлем вам привет
Врагам зададим мы бои небывлые
И вот наш прощальный завет.

Припев.

Вся проводимая культурно-просветительская работа и политическое воспитание личного состава сыграло не малую роль в спайке личного состава с трудящимися Советского Союза. Личный состав ехал громить врага с большой ненавистью, а трудящиеся гордились тем, что они построили такую технику в непригодных условиях для этого, зная, что эта техника — бронепоезда, не мало сыграют роли в борьбе с немецкими захватчиками.

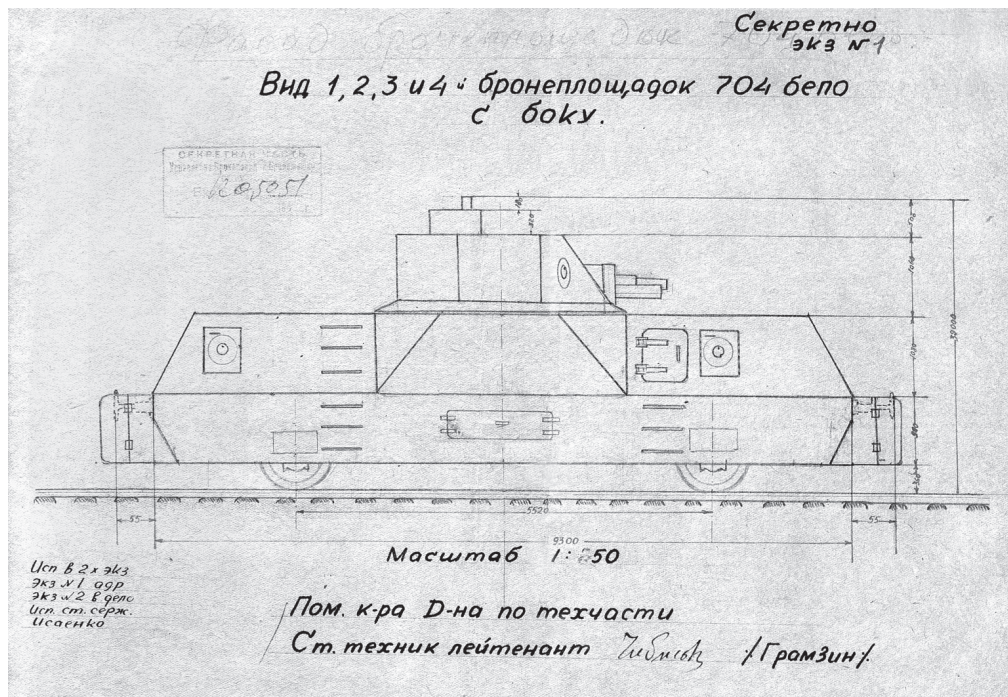


3 апреля 1942 года Дивизион убыл со ст. Тайга на ст. Новосибирск. На перроне станции Тайга собралась масса народа. Они провожали своих сибиряков громить врага и давали наказы, чтобы личный состав берег ими построенную технику и беспощадно расправлялся с покорителями чужих земель — гитлеровскими фашистами. На прощание прямо на перроне был дан концерт всем присутствующим участниками ансамбля художественной красноармейской самодеятельности 49 Отдельного Шепетовского Дивизиона Бронепоездов.

С 4 апреля по 2 мая 1942 года Дивизион дислоцировался на станции Новосибирск. Здесь также проводилась упорная подготовка к борьбе с немецкими захватчиками, а также Дивизион готовился к генеральному смотру и проверке представителями Управления Бронепоездов и Бронемашин ГБТУ КА.

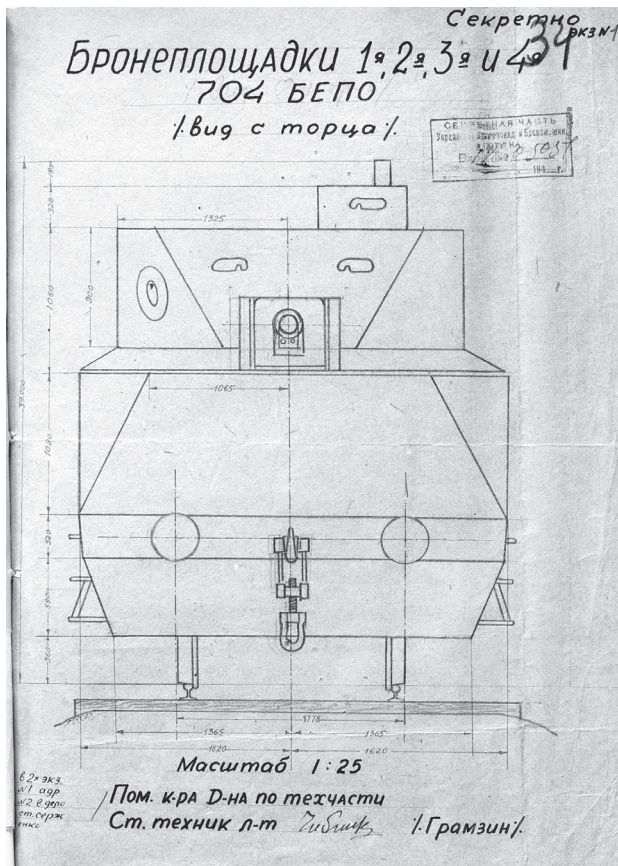
Трудящиеся Новосибирской области продолжали собирать своих сибиряков на фронт. Много ценностей было подарено личному составу Дивизиона. Дивизион был полностью снабжен как продовольствием, пряностями, а также культпросветимуществом. Это говорило за то, что под руководством Всесоюзной Коммунистической Партии /большевиков/ и ее мудрого вождя тов. СТАЛИНА, все трудящиеся Советского Союза спаяны в одну семью вокруг нашей Коммунистической Партии /большевиков/ на борьбу с немецкими поработителями чужих земель, это говорило за то, что наш советский народ любит свою Красную Армию, снабжает ее всем необходимым и не хочет (так в тексте. — П. О.) иностранного рабства.

2 мая 1942 года был назначен прощальный день с трудящимися города Новосибирска и железнодорожного узла. На обед были приглашены представители партийной и профсоюзной организаций города Новосибирска и железнодорожного узла. Здесь также присутствовали участники строительства бронепоездов, кроме того был приглашен Герой Социалистического Труда Союза ССР тов. ЛУНИН, в честь которого был наименован бронепаровоз № 5520 «Лунинец». Обед превратился в торжественный митинг, который подтвердил



Чертеж бронеплощадки бронепоезда «Лунинец» (вид сбоку).

ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11358. Д. 259



Чертеж бронеплощадки
бронепоезда «Лунинец»
(вид с торца).
ЦАМО. Ф. 38.
Оп. 11358. Д. 259

еще раз, что Советский народ спаян как никогда вокруг нашей Коммунистической Партии /большевиков/ и ее вождя тов. СТАЛИНА, вопреки неправдивым предположениям гитлеровских фашистов, что тыл Красной Армии не прочен, что советский народ вот-вот должен расколоться на составные части и впадет в неверие о непобедимости Красной Армии. Вся эта фашистская брехня трещала по своим уже гнилым швам на глазах у всего народа.

Митинг вынес наказ убывающему Дивизиону на фронт, чтобы личный состав берег построенную трудящимися материальную часть бронепоездов, беспощадно громил врага и не забывал своих сородичей сибиряков. В свою очередь личный состав Дивизиона торжественно поклялся выполнить наказ добросовестно беречь свою технику и беспощадно уничтожать врагов Советского Союза — немецких захватчиков напавших на нашу Родину для ее порабощения. На этом митинг личного состава Дивизиона с трудящимися города Новосибирска был окончен.

2 мая 1942 года Дивизион выехал со станции Новосибирск и 16 мая 1942 года прибыл на станцию Коломна, где была произведена техническая проверка материальной части бронепоездов.

25 мая 1942 года Дивизион выехал со станции Коломна в Москву на Брянский вокзал. В Москве Дивизиону была произведена генеральная проверка подготовки его на фронт, а также была произведена чистка личного состава Дивизиона. Недоукомплектованность подразделений была окончательно доукомплектована всем необходимым по штату № 016/303.

Непосредственное формирование Дивизиона и сколачивание его производилось командиром 49 Отдельного Дивизиона Бронепоездов подполковником Гершберг Яковом Исааковичем, военным комиссаром 49 ОДБП старшим



политруком Поляковым Петром Антоновичем, начальником штаба старшим лейтенантом Стариковым и парторгом Дивизиона воентехником Кричевским Александром Ивановичем и Оперуполномоченным ОО НКВД старшим лейтенантом Якимовым Николаем Васильевичем. Формирование Дивизиона было закончено 15 мая 1942 года.

26 июня 1942 года получен приказ Зам. Наркома Оборона Союза ССР о выезде 49 ОДБП в действующую армию в распоряжение Командующего Юго-Западным фронтом.

29 июня 1942 года Дивизион отправился двумя эшелонами в распоряжение Командующего Юго-Западным фронтом. В пути следования был получен приказ Зам. Наркома Оборона Союза ССР о переподчинении 49 ОДБП Командующему Брянским фронтом.

В момент выезда Дивизиона на фронт им командовал подполковник Гершберг Я. И., Военный Комиссар старший политрук Поляков П. А., начальник штаба старший лейтенант Стариков. Командир бронепоезда № 663 старший лейтенант Реунов, командир бронепоезда № 704 старший лейтенант Данилович И. И., парторг Дивизиона воентехник Кричевский А. И.

* * *

Немного предыстории. После Гражданской войны, как известно, «наш бронепоезд стоит на запасном пути», при этом постепенно меняются взгляды на применение, штаты, обновляется матчасть. В материалах совещания ГАБТУ по состоянию и применению бронепоездов РККА от 16 августа 1940 г., в частности, указаны штат и наличие бронепоездов в Красной армии: из 33 легких бронепоездов, положенных по штату, имелось 28; из 14 тяжелых в наличии было 13 (вероятно, это без учета бронепоездов присоединенных прибалтийских республик).

С началом войны бронепоезда, дислоцированные в западных округах, пошли в бой. Читаем документы лета 1941 г. (фрагмент письма начальника ГАБТУ КА генерал-лейтенанта Федоренко и военного комиссара ГАБТУ КА корпусного комиссара Мельникова Сталину от 6 августа 1941 г.):

Опыт настоящей войны подтверждает, что бронепоезда являются реальным средством обороны железнодорожных объектов, а также с успехом используются при всех видах боя. Имеющиеся в наличии бронепоезда не покрывают потребностей Красной армии. Поставщиком бронепоездов в настоящее время является Наркомат Тяжелого Машиностроения (завод «Красный Профинтерн»).

В 1941 году утвержден заказ только на 7 БП. План производства бронепоездов на военное время не утвержден. Потребность до конца года определяется в 50 БП. Прошу утвердить прилагаемый проект постановления о производстве бронепоездов в III—IV квартале 1941 года.

К данному письму прилагался еще и проект постановления о строительстве 50 бронепоездов в III—IV кварталах 1941 г., принятый позднее с некоторыми изменениями (например, утвердили только 40 БП) как постановление ГКО № 490сс от 15 августа 1941 г., — вот только завод «Красный Профинтерн» к этому моменту уже ничего строить не мог по причине эвакуации.

Однако в это же время на Юго-Западном направлении будущий начальник Отдела бронепоездов ГАБТУ (с декабря 1941 г. — Управления бронепоездов, с декабря 1942 г. — Управления бронепоездов и бронемашин) полковник



Чабров организует строительство бронепоездов в инициативном порядке на нескольких площадках, в частности — на Полтавском заводе.

Надо отметить, что бронепоезда на тот момент были техникой знакомой и привычной, в стране многие либо воевали на них, либо строили их в Гражданскую войну. Почти любое из советских железнодорожных депо (не говоря уже о вагоноремонтных или других спецпредприятиях), имея площадки и локомотив, могло собрать бронепоезд. Да — с проблемами, да — не идеальный, но вполне боеспособный. Так осенью 1941 г. в официальной переписке появился «бронепоезд по чертежам Полтавского завода», который и должны были скопировать сибиряки осенью-зимой того же года.

Отправной же точкой в истории постройки сибирских бронепоездов, как и нескольких десятков их сородичей, стала директива № 22сс от 29 октября 1941 г.:

Начальнику Главного Автобронетанкового Управления Красной Армии.

Копии: Командующим Войсками Военных Округов

Начальникам Центральных Управлений НКО (по особому списку).

Во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны

Приказываю:

1. Сформировать тридцать два дивизиона бронепоездов, имея в каждом дивизионе по два бронепоезда.

2. Сроки готовности формируемым дивизионам бронепоездов, установить следующие: Три дивизиона в составе семи бронепоездов сформировать в октябре месяце 1941 года в Московском Военном Округе, Двадцать девять дивизионов, в составе 58 бронепоездов сформировать в ноябре и декабре 1941 года.

3. Формируемым дивизионам бронепоездов присвоить номера и установить пункты дислокации распоряжением Начальника ГАБТУ Красной Армии.

4. Материальная часть для бронепоездов будет поступать с заводов и депо по распоряжению Народного Комиссара Путей Сообщения.

5. Начальнику Артиллерии Красной Армии выделить командный состав в распоряжение Начальника ГАБТУ КА, из числа окончивших артучилища и имеющих практику в командовании, дивизионом, батареей для назначения их на должности:

Командиров дивизионов бронепоездов — 20

Командиров бронепоездов — 40

Командиров бронеплощадок — 80

Всех выделенных к 5-му ноября 1941 года командировать в гор. Магнитогорск на бронетанковые курсы усовершенствования, для прохождения специального курса обучения.

6. Начальникам Центральных довольствующих Управлений НКО, формируемые дивизионы бронепоездов обеспечить необходимым имуществом, материальной частью и вооружением, в установленные сроки готовности.

7. Военным Советам Округов, формируемые дивизионы обеспечить размещением и зачислить на все виды довольствия.

Народный Комиссар Обороны (И. Сталин)

...Октябрь 1941 г. был, безусловно, тяжелейшим месяцем войны: катастрофа под Вязмой, рывок немцев к Москве и Туле, который нечем было сдерживать, эвакуация Москвы, эвакуация танкостроительных заводов — в этих условиях в глазах советского руководства бронепоезд из архаики превращался во вполне жизнеспособный паллиатив.



Да, не танк, да, перемещается только по железнодорожным путям, но все же имеет четыре пушки, сопоставимые с вооружением среднего танка, несколько десятков пулеметов, площадку со средствами ПВО — и все это по цене (без вооружения, поставляемого со складов и arsenалов), примерно равной тому же среднему танку. Причем собирать бронепоезда можно на предприятиях, которые для фронта ничего другого дать просто не способны, зато этих предприятий — десятки!

Цену бронепоезда, строящегося по директиве № 22, можно узнать, например, из письма от 14 ноября 1941 г.:

Народному комиссару путей сообщения тов. Л. М. Кагановичу.

Все расходы, связанные с постройкой бронепоездов по директиве НКО № 22 от 29 октября 1941 г. ГАБТУ НКО принимает на себя. Предварительную смету стоимости одного бронепоезда (1 бронепаровоз и 4 двухосных бронеплощадки) в 377 724 рублей на общую сумму 25 307 508 руб. за 67 бронепоездов ГАБТУ НКО утверждает. Окончательная стоимость будет установлена при сдаче построенных бронепоездов органам НКО. Расчет будет произведен по предъявлению счетов пунктами изготовления и проверки их вышестоящими органами.

Генерал-лейтенант танковых войск Федоренко.

Вообще же, согласно финплану УБП ГАБТУ КА, расходы в I и II кварталах 1942 г. предполагались в 166 000 000 руб. — на бронепоезда и специмущество, 100 000 руб. — на ремонт бронепоездов во втором квартале (в первом — прочерк) и 700 000 руб. — на эксплуатацию и текущий ремонт.

По документам, посвященным началу строительства этой серии БП (особенно по планам поставки вооружений дивизионам), видно, как составляющих эти планы командиров бронетанкового управления постепенно отпускало напряжение осени 1941 г. Сначала войскам стремились выдать любое возможное оружие, лишь бы оно минимально соответствовало современным условиям — например, в ноябрьском плане № 428181сс «Обеспечение вооружением формирований БП на ноябрь и декабрь месяцы 1941 г. на основании директивы НКО № 22сс от 29.10.1941 г.» по запланированным дивизионам (в плане числится 31 дивизион) бронепоездов распределены 7,7-миллиметровые и 6,5-миллиметровые японские винтовки и карабины, 6,5-миллиметровые австрийские винтовки «Штейер», 7,92-миллиметровые германские «Маузеры» и переделанные под немецкий патрон финские винтовки Мосина, а также станковые пулеметы «Браунинг». Но, прослеживая эволюцию заявок, в декабре 1941-го и январе 1942 г. мы уже видим, что из иностранного вооружения (под не производившиеся в СССР патроны) используются только наиболее массовые образцы.

Так, 27, 40 и 41-й дивизионы по изначальному плану должны были получить 100 штук 7,7-миллиметровых японских винтовок «Арисака» (как минимум 27-й дивизион в итоге их и получил), а 42-му дивизиону назначили «сборную солянку» из японских 7,7-миллиметровых карабинов и 7,92-миллиметровых финских переделанных «мосинок»; правда, в итоге получил он то же, что и 47-й дивизион (в который входил «Сибиряк-Барабинец»), — 86 «винтовок со штыком «Маузер» и 14 отечественных «трехлинеек»...

При этом следует понимать, что винтовка — не основное оружие экипажа бронепоезда. Бронепоезд воюет пушками и пулеметами (под отечественный боеприпас), а винтовка бойцу нужна лишь в карауле, на построении и тогда,



когда БП разбит и экипаж вынужден принимать бой в пешем порядке; в этом случае 90—100 тысяч иностранных патронов, запланированных, к примеру, в заявке № 845сс, вполне достаточно для прорыва к своим.

Надо отметить, что конкретно нашим, сибирским, бронепоездам в такие ситуации попасть не довелось, поэтому полученные немецкие или японские патроны почти все так и пролежали до момента расформирования части и сдачи вооружения на склады.

А осенью 1941 г. в качестве пулеметного вооружения сибирякам должны были выдать на каждый из бронепоездов по одной строенной установке ПВ-1 для противовоздушной обороны и по дюжине станковых пулеметов «Браунинг» (также известных как «Кольт М1914») без станков из числа закупленных еще во времена Первой мировой войны. Только 27-й дивизион получал отечественные пулеметы ДТ (Дегтярёва танковый). Кроме того, в плане числятся: 5 биноклей, 2 буссоли, 1 стереотруба и по 4 перископа типа «Разведчик» на каждый дивизион, состоящий из двух бронепоездов.

И наконец, главное — пушки. По ноябрьскому плану 27-й дивизион получал 8 (по 4 на БП) 76-миллиметровых пушек образца 1927/32 г. (они еще известны как КТ-28), 41-й дивизион — двойной комплект из 8 французских пушек образца 1897 г., поступавших в г. Белово, и 8 пушек Л-10, направленных в депо ст. Новосибирск и ст. Инская, а 40-й, 42-й и 47-й дивизионы — по 8 пушек Л-10. Таким образом, бронепоезда комплектовались устаревшими импортными или снятыми с производства отечественными танковыми орудиями — вполне логичный вариант использования малопригодного для современных условий вооружения.

Как уже было сказано выше, по плану от 16 ноября 1941 г. для 41-го дивизиона следовало доставить один комплект пушек в Белово, а один — разделить между Новосибирском и Инской. Местом строительства 27-го и 40-го дивизионов указывался Омск, 42-го — депо ст. Инская и депо ст. Новосибирск, 47-го — депо ст. Петропавловск и депо ст. Омск, а ст. Барабинск в тот момент в планах вообще отсутствовала. И хотя датой отправки вооружения и приборов значилось 25 ноября, естественно, жизнь вносила свои коррективы.

Уже через месяц, 16 декабря 1941 г., в Главное артиллерийское управление Красной армии уходит заявка на 450 пулеметов ДТ для вооружения строящихся бронепоездов. Из них в Омск следовало доставить 60, а в Новосибирск — 80 (хотя и от использования «Браунингов» на бронепоездах не отказались). С пушками интереснее — в плане обеспечения БП пушками с ЗИПом (запчастями и принадлежностями) от 21 декабря 1941 г. для омского ПРЗ (Паровозоремонтный завод им. Рудзутака, будущий Омский танковый завод) указана поставка из арсенала № 5 французских пушек образца 1897 г. — в количестве 54 штук и двух 76-миллиметровых (в документах отечественный калибр 76,2 миллиметра часто сокращался до 76) зенитных орудий Лендера образца 1914/15 г.

А в «Ведомости потребного количества выстрелов для дивизионов бронепоездов, строящихся согласно директиве 22/сс от 29.10.1941» мы встречаем другой номер одного из омских дивизионов БП. В данном документе прописана поставка шрапнелей (по 480 шт.) и гранат (по 4000 шт.) для 76-миллиметровых французских пушек новосибирских 41-го и 42-го дивизионов и для омских 27-го и — внезапно! — 29-го дивизионов (хотя 29-й формировался на самом деле в Красноярске).

Современная легенда связывает появление этих пушек с «Освободительным походом» в Польшу 1939 г. Якобы эти трофеи затем были перестроены под выпускавшийся в то время отечественный боеприпас. Увы, эта популярная в сети версия — типичная выдумка нынешних «исследователей», никогда не бравших в руки не то что архивных документов, но и опубликованных работ по теме. Впервые данные орудия «всплывают» в поставках СССР в Испанию в 1936—1939 гг.; из партии более чем в сто единиц 60 орудий вернулись обратно, не попав в порты Республики. Вот ими-то в конечном итоге и вооружили бронепоезда.

По испанским данным, полученные Республикой пушки несли на себе следы польских и русских клейм и, по предположениям иностранных исследователей, являлись трофеями РККА времен Гражданской войны, переделанными в 1920-х — начале 1930-х гг. под массовый трехдюймовый выстрел для пушки образца 1902 г. Для того чтобы точно установить происхождение, количество и время переделки пушек, требуется дополнительная работа с малодоступными отечественными работами и документами. Однако одно можно сказать точно: в начале 1943 г. УБПиБМ был поставлен вопрос о замене всех орудий, использующих боеприпасы трехдюймовой пушки образца 1902 г., современными танковыми по причине исчерпания запасов на складах. По какой-то причине выстрел к пушке ЗИС-3 или Ф-34, выпускаемый промышленностью, не подходил для стоявших на бронепоездах танковых пушек Л-10, бывших зениток образца 1914/15 г. и самих орудий образца 1902 г. Из переписки по этому поводу следует, что замене подлежали также несколько оригинальных пушек «75-mm mle 1897» и польские переделки трехдюймовки под французский боеприпас.

...Из исторического формуляра 47-го отдельного дивизиона бронепоездов:

В день 24-й годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции Вождем советского народа, Председателем Государственного Комитета Обороны товарищ Сталин призвал народ работать не покладая рук на дело разгрома немецких захватчиков. В ответ на призыв вождя работники Омского и Барабинского депо с огромным трудовым энтузиазмом строят для Красной Армии два бронепоезда: «Омский железнодорожник» и «Сибиряк-Барабинец».

Рабочие и инженерно-технический персонал, несмотря на отсутствие специального оборудования, строили бронепоезда ускоренным темпом, не считаясь ни с отдыхом, ни со временем. Инициаторами работы являлись: начальник депо Голиков Константин Николаевич, начальник строительства бронепоездов Мещнер Константин Петрович, мастер Кемочев, газосварщик Аверкович, котельный мастер Роголев, начальник депо Омск — Солнцев, начальник строительства Белеков, приемщик НКПС Суворов.

12 декабря 1941 года Заместитель Народного Комиссара Обороны Союза ССР приказал сформировать 47-й отдельный дивизион бронепоездов: №-639 «Сибиряк-Барабинец» и №-657 «Омский железнодорожник» под командованием командира, капитана Пухова Федора Захаровича и военкома, старшего политрука Рощина Константина Петровича, которые приступили к формированию дивизиона и укомплектованию личным составом в городе Барабинск. Командование и личный состав дивизиона принимали непосредственное участие в строительстве боевых единиц, в числе которых были младший лейтенант Мошенский, лейтенанты Цимбаревич, Вялов, Широков М., младший воентехник Кроль Г. С., младший сержант Пауткин, сержанты Першин и Скулкин.

18 февраля 1942 года строители депо Омск передали дивизиону одетый в 30 мм магнитогорскую броню 657 бронепоезд. Вооружен 76 мм французскими пушками /обр. 1897 г./ и пулеметами ДТ и ДШК. Бронепоезд прибыл вместе с базой на место дислокации дивизиона ст. Барабинск Омской железной дороги.

10 марта 1942 года по окончании строительства 639 бронепоезда «Сибиряк-Барабинец» строители депо Барабинск передали дивизиону с оснащенной техникой по типу 657 бронепоезда.

Личный состав дивизиона преимущественно укомплектован участниками Отечественной войны с частичным пополнением из Омского и Барабинского РВК Сиб. ВО. Вооружение бронепоездов частично подвергалось проверке на Куйбышевской железнодорожной ветке.

* * *

Осенью-зимой 1941 г. параллельно выделению вооружения между заказчиком (ГАБТУ) и исполнителем (НКПС, Наркомат путей сообщения) шло выяснение принципиальной возможности установки на БП брони, не прошедшей термообработку, или даже простой сортовой стали типа СТ-3 вместо каленной брони, которой катастрофически не хватало.

В качестве причины задержки вооружения и сдачи БП в декабре 1941 г. также часто указывалась проблематичность установки пулеметов — отсутствовали не только готовые стандартные шаровые опоры пулемета ДТ, но и их чертежи или чертежи вариантов установки без таковой опоры. А еще была не менее серьезная проблема поиска 42 000 шариков диаметром от 35 до 50 мм, которые для монтажа БП требовались срочно, а у промышленности их в наличии просто не было.

Вообще НКПС в деле организации строительства показал себя далеко не так хорошо, как провозглашалось в лозунгах: неразбериха и нераспорядительность сопровождали взаимодействие бронепоездных частей со структурными частями НКПС всю войну.

Прошла неделя с подписания директивы № 22сс, и началось:

Ком. СибВО. В следствии изменения НКПСом пунктов строительства БП, в изменение ранее высланной заявки НКО за №-22/сс от 29.10.41 — препровождаю выписку из плана формирования дивизионов бронепоездов на ноябрь-декабрь 1941 года для исполнения. Подписано: нач. отд. БП ГАБТУ КА полк. Чабров, 6.XI.41.

Место стр-ва матчасти	Пункт формирования	Срок прибытия <личного состава>
Омский з-д	Ст. Омск	18.XII
Депо ст. Омск	Ст. Омск	12.XII
Депо ст. Белово	ст. Новосибирск	17.XII
Депо ст. Инская, депо ст. Новосибирск	ст. Новосибирск	15.XII
Депо ст. Петропавловск, депо ст. Омск	Ст. Омск	11.XII
Депо ст. Барабинск, депо ст. Тайга	ст. Тайга	15.XII

И это — еще не окончательный вариант! Вот, к примеру, фрагмент доклада о ходе строительства бронепоездов по СибВО на 15.12.41 г.:

...В депо станции Тайга — каркасы на паровозе и бронеплощадках изготовлены полностью, навешен первый слой брони (15 и 10 мм). Для навески второго слоя брони корпуса броневой стали нет. Детали поворотного механизма башни в стадии изготовления — готовность до 20%.

В депо станции Рубцовка — готовность каркасов бронеплощадок не более 20%. Депо не обеспечено угольным и листовым железом, а также не имеет броневой стали.

В остальных депо Томской железной дороги каркасы бронеплощадок и бронепаровозы готовы на 80—90%. Изготовление бандажей поворота и установки башни еще не обеспечено вследствие малой пропускной способности оборудования. Управлением дороги принимаются меры по кооперированию их изготовления на Красноярском ПВР Заводе и Яшкинском цементном заводе.

В депо Петропавловск, Ишим и Барабинск каркасы для навески брони изготовлением закончены, начато изготовление башен и внутреннего оборудования.

В депо Омск на одном поезде каркасы готовы полностью, на втором поезде каркасы установлены на 60%. В Омском ПВР Заводе изготовление 3-х бронепоездов приостановлено вследствие передачи завода в систему Наркомтанкстроя. На одном из бронепоездов каркас установлен полностью, для следующих двух детали каркасов изготовлены, но установлены только на 40%.

Броневая сталь на 15.12.41 г. имеется только в следующих пунктах:

- А) В Новосибирске — на 1 бронепоезд;
- Б) В Омске — на 1/2 бронепоезда;
- В) В Петропавловске — на 1 бронепоезд;
- Г) В Барабинске — на 1 бронепоезд.

Сталь поступила в эти пункты только 12—14 декабря. Постановлением ГКО от 1.12.41 г. выделен фонд с Ново-Кузнецкого Комбината на 800 тонн брони, но комбинат к поставке броневых листов не приступил.

1. Обеспечение вооружением.

В пункты строительства вооружение не поступало. По линии АУ СибВО выделено 100 пулеметов ДТ с шаровыми установками (потребно 320 пулеметов) и 6 пушек образца 1914/15 г. на тумбах (проходят ремонт в Омске). По линии ГАБТУ КА дана в ГАУ КА заявка на все потребное вооружение, но каких-либо данных о типах и сроках поступления вооружения в АБТВ СибВО не имеется, несмотря на неоднократные запросы. В Управлении Омской дороги имеется извещение из НКПС, что 10.12.41 г. со станции Алатырь отправлено 56 пушек.

2. Комплектование личным составом и имуществом.

Комплектование личным составом и имуществом задерживается вследствие отсутствия в СибВО штатов и табелей. Штаты и табеля неоднократно запрашивались.

3. Подготовка вагонов баз.

НКПСом для создания баз на каждый дивизион выделено 23 товарных 2-хосных вагона, 3 товарных 4-хосных вагона, 6 платформ и 3 паровоза. В целях своевременной готовности баз необходимо немедленно приступить к их оборудованию по прилагаемым кратким техническим указаниям.

Вывод.

Строительство бронепоездов крайне задержалось, при всех благоприятных условиях строительство не может быть закончено ранее 1.1.42 г.





Причины срыва сроков строительства и формирования:

1. Отсутствие должной мобилизации сил для строительства в пунктах постройки, особенно на Томской дороге.
2. Отсутствие на местах рабочих чертежей и внесение изменений НКПСом в конструкцию в ходе работ.
3. Отсутствие броневой стали.
4. Отсутствие штатов и табелей.
5. Отсутствие вооружения.

А вот так выглядел ответ на вопросы «что? где? когда?» в отчете «Дислокация строительства БП», поступившем в ГАБТУ КА 10 декабря 1941 г. от начальника отдела строительства бронепоездов при НКПС Кононова:

	Паровозы	Площадки
Омский ПРЗ	3	12
Омское паровозное депо	2	8
Петропавловское паровозное депо	1	4
Барабинское паровозное депо	1	4
Новосибирск	1	4
Инская	1	4
Тайга	1	4
Белово	2	8

Планы формирования дивизионов, сроки и места прибытия личного состава корректировались и позднее, более того — по справкам и донесениям о ходе строительства очень сложно дать окончательный ответ на вопрос, что, где и когда было построено. Так, 27-й дивизион, построенный в Омске в марте-апреле, фигурирует в справке о сдаче в феврале (и более того, в плане от 09.01.1942 г. на проверку качества бронирования обстрелом 30.01.42 г.) как уже построенный. Даже в справке, приведенной в «переписке со сторонними организациями» (в данном случае — НКВД) по поводу претензий к качеству и срокам строительства, данные не полны, перепутаны и частично искажены. Самыми надежными документами, фиксирующими постройку бронепоездов, являются акты о боеготовности дивизионов (фактически — акты приемки ОДБП). Хотя и они иногда противоречат формулярам подразделений, заполненным командирами, лично участвовавшими в строительстве бронепоездов, в вопросах точного места и времени формирования.

В конечном итоге места строительства бронепоездов, согласно справке от 15 апреля 1942 г., приведенной в вышеупомянутой «переписке», распределились следующим образом:

Дивизион, место формирования	БП № 1, место и дата выпуска	БП № 2, место и дата выпуска	Проверка по другим документам
27, Омск	Омский ПРЗ (позже — завод № 174, Омский танковый). Выпущен 04.04.1942.	Омский ПРЗ (позже — завод № 174, Омский танковый). Выпущен 17.03.1942.	

Дивизион, место формирования	БП № 1, место и дата выпуска	БП № 2, место и дата выпуска	Проверка по другим документам
40, Омск	Паровозное депо ст. Петропавловск. Выпущен 06.02.1942.	Ишим. Предполагаемая дата выпуска — 01.05.1942.	В некоторых документах местом формирования указан Петропавловск.
41, Новосибирск	Паровозо-вагонное депо ст. Новокузнецк. Выпущен 07.02.1942.	Паровозо-вагонное депо ст. Тайга. Выпущен 07.02.1942.	По акту состояния боевой готовности паровоз БП № 1 бронирован в депо ст. Новосибирск.
42, Новосибирск	Паровозо-вагонное депо ст. Белово. Выпущен 19.03.1942.	Паровозо-вагонное депо ст. Инская. Выпущен 19.03.1942.	По акту состояния боевой готовности нумерация БП обратная, две бронеплощадки изготовлены не в Белово, а в Челябинске.
47, Барабинск	Депо ст. Омск. Выпущен 06.02.1942.	Депо ст. Барабинск. Выпущен 07.02.1942.	По акту состояния боевой готовности нумерация БП обратная, оба паровоза бронированы в Барабинске.
49, Новосибирск	Депо ст. Рубцовка. Предполагаемая дата выпуска 10.05.1942.	Депо ст. Новосибирск. Предполагаемая дата выпуска 10.05.1942.	По части документов и историческому формуляру формирование шло в г. Тайга. Паровозы бронировались в депо ст. Усяты и Болотное. Формирование закончено по акту 15 мая 1942 г.

Отчитываясь о ходе работ по выполнению директивы № 22сс, Управление бронепоездов указывало, что к 01.01.1942 г. было построено 65 БП, за период с 01.01.1942-го по 17.02.1942 г. — еще 40 бронепоездов. План на февраль 1942 г. составлял 43 единицы, было сдано — 36. План на март — 7 единиц, был выполнен к 20-му числу; на апрель — 7 единиц, был перевыполнен, сдано 9 БП. С другой стороны, в упомянутой выше справке от 15 апреля бронепоездов, построенных по директиве № 22сс, к 1 января 1942 г. всего 10, то есть остальные 55 — работы по предыдущей директиве и единицы, построенные предприятиями по собственной инициативе. Всего же готовых и строящихся по октябрьской директиве бронепоездов в переписке насчитывается 87 штук.

Из «Акта о состоянии боеготовности 47-го отдельного дивизиона бронепоездов» от 5 апреля 1942 г.:



1. Формирование дивизиона начато: 1-го БП на ст. Барабинск 18 декабря 1941 г.; 2-го БП на ст. Омск 18 декабря 1941 г. Закончено 3 апреля 1942 г.

Командир дивизиона капитан Пухов Ф. З., комиссар дивизиона старший политрук Рошин К. П.

2. Дивизион сформирован по штату №-016/303 в составе двух легких бронепоездов.

1-й БП: командир — лейтенант Цимбаревич В. К.; комиссар — ст. литрук Трусов А. А.

2-й БП: командир — ст. лейтенант Колокольцев Н. А.; комиссар — литрук Киняшев В. А.

3. Постройка бронепоездов производилась:

1-го БП депо ст. Барабинск Омской ж. д.

2-го БП депо ст. Омск Омской ж. д.

4. Приемка БП от заводов в состав 47-го ОДБП оформлена актами 10 февраля 1942 г.

5. Матчасть бронепоездов проверена пробегом на 3500 км и отстрелом на Голутвинском полигоне (г. Коломна. — П. О.).

6. Личный состав дивизиона укомплектован, боекомплект и основным табельным имуществом обеспечен согласно прилагаемой ведомости.

7. Базы бронепоездов и дивизиона подвижным железнодорожным составом обеспечены.

8. Боевая подготовка дивизиона проверена на боевом выходе бронепоездов с проведением орудийных и пулеметных стрельб.

9. Дивизион боеспособен.

Материальная часть

Бронепаровозы

Бпр. №-1 Ов 5744 (срок полного освидетельствования котла — 28.12.40 г.); Бпр №-2 Ов 6211 (срок полного освидетельствования котла — 13.9.41 г.)

Депо бронирования — Барабинск (оба). Материал — сталь некаленая. Бронирование котла — 20 мм; движения паровоза — 30 мм; будки машиниста — 35 мм / 40 мм; тендера — 30 мм; движения тендера — 30 мм; командирской рубки — 30—20 мм / 30—25 мм; башни ПВО — нет.

Зенитная пулеметная установка — ДШК 1 шт. (на каждом).

Снаряжение и оборудование: рации нет, телефон есть, звуковая или световая связь — нет, рупор — есть, электрический свет и напряжение — есть, перископ машиниста — нет, приборы наблюдения в командирской рубке — стереотруба, отопление — паровое, кипятильник — есть.

Бронеплощадки

1-й бронепоезд: бронеплощадки № 125—128, площадка ПВО №-202.

2-й бронепоезд: бронеплощадки № 129—132, площадка ПВО №-203.

Бронеплощадки двухосные 20-тонные. Бронирование: депо ст. Барабинск и Омск соответственно (кроме ПВО — их заказывали другому заводу специально. — П. О.). Сталь некаленая. Бронирование борта — 20 мм + 80 мм воздушной прослойки + 10 мм / 15 мм + 80 мм + 15 мм; движения — 20 мм / 15 мм; крыши — 15 мм / 23 мм; орудийных башен — 20 + 65 + 10 мм / 15 + 80 + 15 мм; наблюдательных башен — брони нет. Площадки ПВО: 20-тонные двухосные, сталь «мостовая», 30 мм.

Вооружение: по 1 шт. французской пушки обр. 1897 г. калибром 76 мм; по 4 бортовых ДТ в шаровых установках и по 1 ДТ в башнях в шаровых установках. Пулеметных башен — нет, зенитных пулеметов — нет.

Площадка ПВО — по 2 ДШК на тренагах.

Снаряжение и оборудование: каждая бронеплощадка — рупор, телефонная связь, электрическое освещение, паровое отопление, стеллажи на 192 снаряда. Звуковой или световой связи нет.

Скорость вращения орудийных башен на 360 градусов 1—2 минуты.

На орудиях установлены панорамы УПП, в наблюдательных башнях бронеплощадок — перископы «Разведчик».

Бронеплощадки и бронепаровозы испытаны пробегом 3500 км от Барбинска до Москвы.

Орудия проверены отстрелом на полигоне ст. Голутвино завода им. Ворошилова.

Отстрел брони: бронебойной пулей 7,62 и 12,7 мм с 100 м, результаты: в наклонных листах сырой некаленной стали толщиной 15—16 мм и вертикальных листах 16—17 мм достигается вмятина глубиной 7 мм.

Вертикальный лист паровозного тендера сырой некаленной стали толщиной 30 мм крупнокалиберной пулей ДШК достигает глубиной 28—29 мм; обстрел бронеплощадки бронебойной пулей ДШК достигает пробойной глубиной 30—31 мм, обстрел производился при температуре –25 градусов.

При установке французской 76-мм пушки расстояние от казенной части орудий до стенки орудийных башен — 1290 мм. В базе дивизиона установлен на 20-тонной двухосной платформе 1 пулемет ДШК (зенитный. — П. О.).

**Ведомость людей, боевой материальной части, вооружения,
подвижного железнодорожного состава и табельного имущества
47-го ОДБП (3 апреля 1942 г.)**

Комсостава (старшего и среднего) — 18
 Начальствующего состава — 14
 Младшего начсостава — 50
 Рядового состава — 185 (104 человека рядового
 состава замещают мл. начсостав)
 Итого — 276 человек

Боевая матчасть

Бронепаровоз — 2
 Бронеплощадки однобашенные — 8
 Контрольных платформ — 8
 Платформ ПВО — 2
 Бронеавтомобиль БА-20 — 1 (недостает — 1)
 АМ легких, М-1 — 1
 АМ грузовых, ГАЗ-АА — 2 (недостает — 1)
 Мотоциклов с коляской М-72 — 0 (недостает — 1)
 Мотоциклов без коляски ИЖ-9 — 3

Подвижной ЖД состав

Вагонов классных — 1
 вагонов крытых теплушек 2-хосных — 10
 вагонов крытых 2-хосных — 12
 вагонов кухонь 2-хосных — 3
 вагонов мастерских 2-хосных — 1
 вагонов техскладов 2-хосных — 2
 вагонов техскладов 4-хосных — 4
 платформ 2-хосных — 4



Вооружение

Орудий 76,2-мм обр. 1897 г. французских — 8
 Пулеметов:
 крупнокалиберных ДШК — 7
 танковых системы Дегтярева (ДТ) — 40
 Винтовок со шттыком «Маузер» — 86 (недостаёт — 40)
 винтовок обр. 1891/30 г. — 14
 пистолетов и револьверов — 20 (недостаёт — 20)
 сигнальных пистолетов — 2 (недостаёт — 2)

Боеприпасы

Выстрелов к 76-мм пушке обр. 1897 г. — 2 507
 патронов винтовочных — 243 280
 патронов пистолетных и револьверных — 1000 (недостаёт — 1 860)
 патронов к сигнальным пистолетам — 80
 ручных гранат — 1000 (недостаёт — 1 480)
 патронов ДШК — 16 020

Связь

71ТК-1 — 1 (недостаёт — 1)
 «Днепр» — 1.

Так или иначе, к началу лета все 12 сибирских бронепоездов, сведенные в шесть дивизионов, уходят на запад (еще один — тринадцатый — был передан войскам НКВД). В Москве и Коломне они доукомплектовываются, получают средства ПВО, проходят испытания и ремонт после трехтысячекилометрового пробега и, наконец, признаются боеготовыми.

Оставим пока за кадром эпопею с получением зенитных орудий и крупнокалиберных пулеметов. Умолчим о цене попыток некоторых строителей усилить бронировку площадок путем заливки бетона между слоями стали. Сделаем, в конце концов, вид, что нам неинтересно, какие предметы для организации культурно-массового досуга и в каком количестве должны были выдаваться поездам — базам дивизионов со складов Московского военного округа...

Главное — весной-летом жаркого во всех смыслах 1942 года бронепоезда уходят на фронт:

— 27-й дивизион в составе бронепоездов «Победа» и «За Родину» 1 июня 1942 г. прибывает в распоряжение командующего Карельским фронтом на ст. Сорокская;

— 41-й дивизион (БП «Советская Сибирь» и «Железнодорожник Кузбасса») 15 мая 1942 г. прибывает в распоряжение командующего 46-й армией Закавказского фронта на участок Потти — Хашури и Самтредиа — Батуми;

— 42-й дивизион (БП «Сибиряк» и «Металлург Кузбасса») 25 мая 1942 г. прибывает в распоряжение командующего 46-й армией Закавказского фронта на участок Натанеби — Батуми;

— 47-й дивизион (БП «Омский железнодорожник» и «Сибиряк-Барабинец») 3 июня 1942 г. прибывает в распоряжение командующего Карельским фронтом на ст. Сегежа;

— 49-й дивизион (БП «Железнодорожник Алтая» и «Луинец») при отправке из Москвы из-за ряда неувязок был разделен: «Луинец» 1 июля 1942 г. прибыл в распоряжение командующего Юго-Западным фронтом на

ст. Воронеж, а «Железнодорожник Алтая» со штабом и базой дивизиона задержался с отправкой и был переподчинен командующему Брянским фронтом, прибыв 5 июля 1942 г. на ст. Елец.

Документов, отражающих боевой путь 40-го дивизиона (БП «Североказахстанец» и «Киров»), встречено меньше, чем прочих, — заметно, что писать отчеты штаб этого ОДБП не любил, и материалы по нему надо целенаправленно искать в других описях архива. Однако по публикациям М. В. Коломийца известно, что 15 июля 1942 г. дивизион был направлен в Сталинград в распоряжение командующего Сталинградским фронтом, куда не доехал, получив «стоп-приказ» на ст. Зорька.

...Трехзначные номера бронепоезда получают уже в декабре, пройдя через бои лета-осени тяжелого для страны 1942 года — но это, а также некоторые нюансы исполнения директивы № 22-сс всеми участниками строительства, повлиявшие на итоговую оценку проекта, как говорится, в следующей серии...



Петр МУРАТОВ

ВОЛОКОЛАМСК — МАРИБОР

75-летию Великой Победы посвящается

*И у мертвых, безгласных,
Есть отрада одна:
Мы за родину пали,
Но она — спасена.*

А. Твардовский

Петр — мое имя. Имя твердое, звучное; назван я так в честь своих дедов. Дед по отцу — Петр Васильевич, 1913 года рождения, и дед по маме — Петр Михайлович, 1901 года рождения. Два Петра, два крепких русских мужика, оба от земли, оба родились в многодетных крестьянских семьях. В их судьбах как в зеркале отразилась противоречивая, трагическая и великая история России первой половины XX века. Петр Васильевич — из деревни Куршино Малмыжского уезда Вятской губернии (ныне Кировская область), Петр Михайлович — из деревни Жильково Козельского уезда Калужской губернии (ныне Калужская область).

Они не знали, да и не могли знать друг друга. Но судьба распорядилась так, что через 20 лет после гибели дедушек на той великой войне во мне соединилась их кровь и возродилось их имя. И я считаю священным долгом к юбилею Победы рассказать о них. Тем более что мне улыбнулась ее «благородие госпожа удача»: удалось поклониться их могилам. Обе могилы братские, на обеих выбиты имена моих Петров. Уж не ведаю, что еще может связывать два города — словенский Марибор и подмосковный Волоколамск, — но для меня теперь святы и эти два названия, места их упокоения.

Много лет мои родители пытались узнать, где погребены их отцы. И если папа, Юрий Петрович, знал, в каком городе находится могила отца, то мама, Людмила Петровна, более 70 лет знала только то, что ее отец пропал без вести. Папа не раз бывал в Волоколамске, ходил от одной братской могилы к другой: их в округе множество, но безуспешно. Найти отца помог ему местный военкомат, сообщив точное место захоронения Петра Васильевича.

Петра Михайловича много лет разыскивал мой дядя — мамин старший брат Борис Петрович Калинин. Будучи полковником ГРУ, он имел возможности и для изучения архивов, и для оформления точных запросов, но никаких следов отца найти не удалось. Справка из Центрального архива Министерства обороны СССР гласила: «Пропал без вести 20 августа 1941 года в районе деревни Петрухново Ленинградской области». На том и успокоились. И только в новые времена, благодаря всезнающему Интернету и обществу «Мемориал», мне удалось узнать подробности последних месяцев жизни Петра Михайловича.

Петр Михайлович

Козельск. Не зря ордынцы назвали этот город «злым». Ни один город не достался им такой кровью, потому и стерли они его с лица земли, засыпав, по преданию, солью место, где стоял «злой город». Козельск не был ни центром княжества, ни крупным городом, а столько времени продержался, такую цену за свое падение заставил заплатить!

Боевой дух древних пращуров передался Петру Калининичеву. Всю жизнь он был профессиональным военным. Дяде Боре в бездонных архивах Министерства обороны все же удалось раскопать личное дело Петра Михайловича и автобиографию, написанную им в 1939 году.

В семье Калининичевых было семеро детей. Уже в 13-летнем возрасте Пете пришлось покинуть родную деревню и начать трудиться чернорабочим на хлебопекарне в Калуге. Сохранилась фотография того периода: на ней Петр с другом, а на обратной стороне пояснение к фото — видно, что в 14 лет дед едва умел писать.

В мае 1917 года он перебрался в Киев, устроившись подмастерьем на хлебозавод. Вскоре наступило лихолетье Гражданской войны. Насмотревшись на германских и австро-венгерских оккупантов, на марионеток гетмана Скоропадского и гайдамаков Петлюры, Петр Калининичев в феврале 1919 года добровольно вступил в Красную армию. Вначале служил рядовым красноармейцем в 1-й Украинской стрелковой дивизии, затем, в июне того же года, в Особой маневренной кавалерийской бригаде, воюя на Юго-Западном фронте против Петлюры и Деникина. В 1920 году, окончив Борисоглебские кавалерийские курсы красных командиров, в составе 17-й кавдивизии, уже в должности командира эскадрона, воевал на Западном фронте против Польши, а с января 1921 по ноябрь 1922 года — против банд Махно, Тютюнника и Гальчевского.

Так и стал Петр Михайлович кадровым офицером Красной армии. Недолго состоял в рядах ВКП(б), но в 1922 году был исключен за — дословно — «барахольство» своих подчиненных. Впрочем, это не повлияло на его военную карьеру. В 1926 году, окончив Крымскую кавалерийскую школу имени ЦИК Крымской АССР, получил назначение на службу в Белорусский военный округ.

Боевой офицер РККА Калининичев принимал участие во всех военных кампаниях предвоенного периода: воевал на КВЖД, в Испании, на реке Халхин-Гол. Особенно запомнилось моей маме, каким помороженным отец вернулся с финской войны, а из-за ранения руки даже не смог открыть замок двери дома. Интересно, что периоды времени, пришедшиеся на эти войны, в личном деле значатся как «декретные отпуска», безо всяких подробностей.

У нас сохранились швейцарские карманные часы на цепочке, на обратной стороне которых красиво выгравировано: «Майору тов. Калининичеву П. М. За боевую подготовку. Нарком обороны СССР. 1/XI-1936 г.». Ныне это наша главная семейная реликвия. А в 1938 году он получил звание полковника с назначением на должность командира полка 7-й кавалерийской дивизии Белорусского особого военного округа.

С конца тридцатых годов началось переобучение большинства офицеров-кавалеристов специальностям других родов войск в связи с потерей кавалерий стратегического военного значения. Петр Михайлович стал командиром мотоциклетного полка 3-го механизированного корпуса БОВО. Последнее предвоенное назначение полковник Калининичев получил в 1940 году под Вильнюс —



столицу свежеепеченной Литовской ССР, куда был передислоцирован вместе со своим полком. Туда же вскоре переехала из Минска вся его семья. В октябре того же года Петр Михайлович стал слушателем оперативного факультета Военной академии командного и штабного состава ВВС Красной армии в Москве.

Его первая супруга, Софья Драбкина, умерла в 1929 году при родах сына Бориса. Петр Михайлович женился повторно на санинструкторе полка Софье Сулович — матери моей мамы. Но не повезло и со вторым браком: моя бабушка разбилась при падении с лошади и умерла в 1938 году, когда маме было всего семь лет. В третий брак Петр Михайлович вступил незадолго до войны, у его новой супруги тоже имелся сын.

Уезжая на учебу в летнюю академию, он забрал с собой сына Бориса, передав его на воспитание родне первой супруги в Ленинград. С того времени ни об отце, ни о Борисе моя мама многие годы ничего не знала. Предчувствие надвигавшейся войны, по воспоминаниям мамы, ощущалось физически. Особенно это было заметно по поведению литовцев — в скором будущем верных приспешников немцев. Мама рассказывала, как однажды ночью выстрелили в дверь квартиры, где они жили (их семья была расквартирована в самом Вильнюсе, а не в военном городке при полке). Там же, в Вильнюсе, 22 июня 1941 года она встретила войну.

Немцы атаковали сотнями самолетов все воинские части и сбросили на город хорошо вооруженный десант, некоторые десантники прекрасно говорили по-русски. Маме с мачехой и сводным братом чудом удалось выскользнуть из спешно оставляемого Красной армией Вильнюса, но почти все жены и члены семей военнослужащих вильнюсского гарнизона, многих из которых мама хорошо знала, так и остались под немцами, их судьба трагична...

Представляю смятение огулушенной известием о начале войны, враз оцепеневшей Москвы... Находившийся на учебе в летней академии полковник Калинин был срочно направлен в Ленинградский военный округ по своей прежней специальности: в Новом Петергофе начиналось формирование 25-й отдельной кавалерийской дивизии. Такие спешно формируемые дивизии называли «легкими». Начальником ее штаба и был назначен полковник Калинин. Круговерть срочных дел по формированию дивизии хоть немного отвлекла его от мрачных тревожных дум о судьбе семьи.

Двадцать пятого июля в состав действующей 34-й армии Северо-Западного фронта вошла новая дивизия, состоявшая из трех кавалерийских полков (900 сабель в каждом) и вспомогательных эскадронов. На вооружении имелись десятки станковых и ручных пулеметов, 21 орудие. Рядовой и сержантский состав набирался из добровольцев, командный — в основном из военных академий: командир дивизии комбриг Гусев Н. И. перед самой войной служил комиссаром Академии Генерального штаба, а начальник отдела связи майор Ягджян С. А. — преподавателем Академии связи.

Первой задачей 25-й дивизии стало прикрытие района сосредоточения передовых частей 34-й армии. Двенадцатого августа под Старой Руссой дивизия приняла участие в контрударе, направленном против стремительно прорывавшейся к Ленинграду немецкой группы армий «Север». Боевая задача: действия по тылам противника отдельными эскадронами в районе поселка Дедовичи. В этом рейде кавалеристам противостояли 32-я пехотная дивизия и дивизия СС «Мертвая голова». Продвинувшись через болота, они смогли выйти им в тыл и успешно атаковать, правда, в этих боях получил ранение комдив Гусев.

Восемнадцатого августа от командарма был получен новый приказ: повернуть на северо-восток, соединиться с двумя стрелковыми дивизиями и приготовиться к наступлению. Задача была очень сложная: за два дня марша кавалеристам предстояло пройти более ста километров, часть пути проходила по открытой местности, с преодолением многочисленных водных преград.

Уже в первое утро марша, 19 августа, дивизию обнаружила и атаковала вражеская авиация. В отсутствие зенитных средств в течение суток кавалеристы потеряли больше половины личного состава и всю артиллерию. Остаткам кавдивизии удалось сосредоточиться юго-западнее Старой Руссы, в строю осталось всего около 800 бойцов. Но уже вечером того же дня их бросили в бой: в районе деревни Смолево была обнаружена и уничтожена колонна немецких мотоциклистов.

Немцы перешли в контрнаступление, 25-й дивизии поставили новую задачу: задержать врага, прикрыв отход главных сил 34-й армии за реку Ловать. Но 20 августа под деревней Петрухново под удар немцев попал штаб дивизии...

Я изучал именной список потерь командно-начальствующего состава 25-й кавалерийской дивизии за период с 14 августа по 1 октября 1941 года (8-й отдел Главупра кадров Наркомата обороны, № 0513 от 14 декабря 1941 года). В нем под номером один значится начальник штаба полковник Калинин Петр Михайлович, в графе «когда и по какой причине» записано: «без вести пропал 20.8.41. в р-не дер. Петрухново Лен. области». Такая же запись у многих штабистов из этого списка, среди них начальник оперативного отдела майор Иванов, начальник отдела связи майор Ягджян, помощник начальника отдела связи капитан Евштокин, комиссар штаба Пономаренко.

Да, сказать, что первые месяцы войны стали временем трагических, полных горечи потерь поражений, — значит не сказать ничего. Боевые задачи 25-й кавдивизии менялись, но главным было: найти и уничтожить. Огнем, шашкой, руками, зубами — как угодно, любой урон, нанесенный врагу, был бесценен. А там уж как придется, как поется, «что кому назначено, чей теперь черед». Пишу, и реально слышится грохот разрывов снарядов и бомб, канонада кавалерии, крики и мат красноармейцев, стоны раненых, хрип умирающих лошадей...

Последующая участь 25-й кавалерийской дивизии первого формирования трагична. В конце августа после короткого переформирования она вновь была направлена в рейд по тылам немцев южнее Демянска. После нескольких успешных операций, в частности разгрома немецкого штаба (отомстили за свой штаб!), 8 сентября дивизия попала под удар вражеских танков и была рассеяна, фактически перестав существовать как боеспособное соединение. Разрозненные группы кавалеристов вместе с остатками 34-й армии самостоятельно с боями прорывались из окружения севернее и южнее Демянска. Во второй половине сентября 25-я кавдивизия была сформирована практически заново под командованием толком не залечившего свое ранение комбрига Гусева.

Но несмотря на то, что контрудар Красной армии под Старой Руссой завершился неудачей, он все же отвлек часть сил немецкой группы армий «Север» от наступления на Ленинград. А значит, достиг главной цели: дал время на подготовку «города Ленина» к обороне, сломить которую, как известно, гитлеровцам так и не удалось.

Подробности пленения Петра Михайловича, видимо, так и останутся тайной. Из личного состава штаба 25-й кавалерийской дивизии первого формирования после войны в живых остались только трое офицеров, один из них —

упоминавшийся в именном списке потерь майор Ягджян С. А. Будучи тяжело раненным, он попал в руки врага. Выжить в плену Степану Акоповичу помогла его национальность: в лагере военнопленных в польских Пулавах фашистское командование стало формировать из армян так называемые «фельдбатальоны». Условия содержания узников в них были намного мягче, чем в других лагерях. В конце 1943 года всех пленных из Пулав переправили во Францию, в город Манд. Там владевшему французским языком майору Ягджяну удалось связаться с участником движения Сопротивления, работавшим в лагере плотником, и впоследствии вместе с другими узниками бежать из лагеря. Окончание войны Степан Акопович встретил с оружием в руках в составе 1-го советского партизанского полка французского Сопротивления.

Информацию о майоре Ягджяне я узнал из статьи «Путь мужества» майского номера журнала «Огонек» 1957 года. В ней рассказывалось о подпольной борьбе узников-армян в условиях немецких лагерей и их участии в боевых действиях против общего врага в рядах движения Сопротивления. Борис Петрович, узнав через редакцию «Огонька» адрес Ягджяна, в конце 1957 года с ним встретился.

Дядя Боря подробно описал встречу с ним, отметив, насколько немногословным был Степан Акопович, насколько тяжело давались ему воспоминания. Ягджян не скрывал, что большинство бывших окруженцев, а тем более военнопленных, на контакт идут крайне неохотно, и обижаться за это на них не стоит. Причина тому — проводившиеся по возвращении дознания особистов. Впрочем, узнав, что Борис Петрович в то время являлся слушателем Академии связи, где когда-то преподавал сам Ягджян, он немного разговорился. В частности, поведал, что тогда, после неудачного наступления под Старой Руссой, из штабистов вырвались из окружения комиссар Пономаренко и тяжело раненный замначальника связи Евштокин. Они прошли всю войну. Но на момент встречи дяди Бори со Степаном Акоповичем контакта с Пономаренко не было, а капитан Евштокин скончался от ран вскоре после войны.

Однако никакой информацией о судьбе своего командира, начальника штаба 25-й отдельной кавалерийской дивизии полковника Калининичева в тот злосчастный день 20 августа 1941 года Степан Акопович, к сожалению, не располагал. Я лишь могу выразить уверенность, что в плен мой дед попал, не имея возможности сопротивляться, что косвенно подтверждает факт его быстрой смерти в немецком концлагере.

* * *

В сентябре 1941 года на железнодорожный вокзал югославского города Марибор прибыл эшелон, доставивший около 3300 советских военнопленных. Немецкие солдаты выгоняли их на перрон с криками: «Bestien heraus!» («Сволочи, вон!»). Среди доставленных был и Петр Михайлович.

Состояние здоровья пленных было ужасным. Товарные вагоны были набиты ими до отказа, двери наглухо закрыты. Малую и большую нужду приходилось справлять на месте, многие умирали в пути, но их тела так и оставались в вагонах до самого Марибора. Немцы морили пленных голодом и жаждой еще и с целью показать, в каких условиях якобы проживает население СССР. С перрона узников доставили в концлагерь у горы Мельски-Хриб, именовавшийся шталагом XVIII-D (306).



«Шталаг» (Stalag) — немецкий термин времен Второй мировой войны, обозначающий базовый лагерь для команд военнопленных. Шталаг XVIII-D (306) гитлеровцы открыли в Мариборе сразу после капитуляции Югославии. В документах немецкого верховного командования впервые он упоминается 1 июня 1941 года, когда там были размещены 3 838 югославских и 208 британских военнопленных. Позднее югославы были перемещены из лагеря из-за опасений немцев, что они связаны с партизанами. Югославских военнопленных заменили французские. Количество и состав военнопленных постоянно менялись. С июня 1941 года до поздней осени 1942 года больше всего там было французов (почти 7 000 человек), британцев тогда насчитывалось около 3500. Большинство военнопленных привлекалось к выполнению различных работ. Счастливыми считались те, кого направляли на работу в крестьянские хозяйства. В лагере оставались только истощенные и больные. Впрочем, британские и французские пленные имели возможность получать посылки и от Красного Креста, и от своих родственников, поэтому их пребывание в лагере можно считать более-менее сносным. Функционировал этот шталаг до конца войны.

Северная, словенская, часть Югославии позднее была включена в состав Третьего рейха (имперский округ XVIII), а Марибор немцы переименован в Марбург-ан-дер-Драу. Буква «D» в названии лагеря свидетельствует о том, что в округе было еще три шталага — «A», «B» и «C».

Советские военнопленные содержались отдельно — в здании старых таможенных складов. Условия, в которых им предстояло жи... нет, существовать, ничем не отличались от условий в самых ужасных нацистских концлагерях. Из-за скудного рациона их физическое состояние стремительно ухудшалось. Понятно, что ни о каких посылках не могло идти и речи. Голод усугубляли тиф, чесотка и дизентерия. При этом на огромную массу узников было всего три врача. Спать приходилось прямо на бетонном полу. Охранники лагеря, за редким исключением, жестоко избивали узников. Высокую смертность среди наших пленных нацисты по-прежнему объясняли тем, что многие из них якобы подорвали здоровье еще в Советском Союзе. Представители Красного Креста, посетившие лагерь в октябре 1941 года, оценили условия их содержания как абсолютно неприемлемые.

Жители Марибора, ежедневно становившиеся свидетелями страданий узников, пытались оказывать помощь. Хозяйка магазина в Мелье через троих югославских военнопленных тайно передавала хлеб, а другая жительница Марибора собирала деньги на хлеб и табак, которые пленным проносили жалевшие их охранники из Вены.

Командование шталага приказало хоронить умерших советских узников в больших братских могилах поблизости от лагеря. Позднее их стали хоронить на городском кладбище «Побрежье», ранее умерших перезахоронили там же. Бывший директор кладбища вспоминал, как однажды осенью 1941 года к нему пришел один немец с вопросом, «где можно закопать своих собак». Директор указал место захоронения домашних животных — в поле за забором, не сразу поняв, что речь шла о советских военнопленных. Жители Марибора еще много лет с содроганием вспоминали жуткую картину: каждый день через полгорода, по мосту через реку Драва на кладбище шла большая телега, груженная окоченевшими трупами советских военнопленных, которую, надрываясь, тащили их бледные, худые, еле живые товарищи. А однажды зимой 1941 года администрация шталага устроила себе забаву: «забег» узников по улицам Марибора, после которого скончалось сразу около 30 человек.

Всего осенью-зимой 1941—1942-го из 3300 прибывших в сентябре в шталаг умерло около 2800 советских военнопленных. Пятьсот переживших эту страшную зиму узников весной 1942 года переправили на заводы Штирии.

Не пережил ту зиму и мой дедушка... Немцы неплохо вели документацию, поэтому известна не только точная дата его смерти — 20 ноября, но и номер ямы, где его захоронили — 29. В тот же день скончались и были погребены в той же яме еще пятеро узников-красноармейцев: Можаяев Николай, Смирнов Павел, Абрамов Алексей, Маслюков Алексей и Терещенко Николай.

Почему я считаю, что это именно мой дед, а не его полный тезка? При содействии Администрации президента России в Центральном архиве Минобороны были рассекречены архивные материалы концлагеря в Мариборе. Благодаря им военнопленный № 44757 шталага XVIII-D (306) был идентифицирован как полковник Калинин Петр Михайлович, внесенный в Список советских офицеров, погибших, умерших и пропавших без вести в 1941 году, захороненных в Словении, под № 35 (МО, вх. № 1162 от 08.09.1999 г.). Анкетные данные полностью совпали...

Почему так поздно? Не знаю, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. В любом случае горькая правда лучше неопределенности статуса «пропавшего без вести», хотя подсознательно всегда хочется успокоить себя микроскопической надеждой на то, что человек как-то выжил, все у него сложилось нормально, пусть где-то далеко, просто ты об этом не знаешь.

От чего умер мой дедушка — от боевых ранений, от голода, от тифа или от всего разом? Впрочем, какая разница? Я все пытаюсь представить себе деда — изможденного, заросшего, с ввалившимися глазами, в рваной одежде на ледяном бетонном полу. Догадываюсь, какую тоску и горечь чувствовал он в душе: наверняка охранники лагеря прожужжали пленным все уши, что уже пали и Москва, и Ленинград. О чем думал Петр Михайлович в свою последнюю ночь с 19 на 20 ноября? Какие последние слова прошептали его холодеющие губы? Не узнаем никогда. На братской могиле советских военнопленных, где покоится его прах, воздвигнут мемориальный комплекс, на одной из плит которого среди сотен других имен выбито по-словенски: «Pjotr Kaliničev».

Петр Васильевич

«И было у отца три сына». Как в сказке. Только, в отличие от сказки, все трое умные. «Отец» — мой прадед Василий Федотович Муратов, «три сына» — его сыновья, мои деды — старший Петр, средний Андрей и младший Аркадий.

«Вятский народ хватский — семеро одного не бояться». «Семеро на стогу, один кидат — семеро кричат: “Не заваливай!”» Это наши вятские шутки-приказки. С одной стороны, они выглядят смешными и даже немного самоуничижительными, с другой же — только сильный народ может так подшучивать над собой.

Стоит на правом высоком берегу красавицы Вятки недалеко от волостного (ныне районного) центра Вятские Поляны наше родовое гнездо — старинное село Куршино. Испокон веков трудом праведным жили в нем потомственные земледельцы Муратовы. Жизнь была непроста — как-никак зона рискованного земледелия, как сейчас умно выражаются, нередко случались неурожаи, а крестьянские семьи в тех краях были многодетными. Родители трудились от зари до зари, старшие дети подтягивали младших — зачастую старших сестер те, кто

помладше, всю жизнь кликали «няньками», немудреная одежда переходила от подросших детей подрастающим. Народ тогда не особо рвался в города, никто не мучился поисками «смысла жизни». Точнее, смысл жизни был прост и понятен: труд в поте лица с Божьей молитвой, забота о семье и радение о земле-кормилице. Население росло, народ расселялся по уезду, распахивал новые земли, ставил «починки» — так исстари на Вятке называли новые деревни. В начале 20-х годов XX века в Куршине насчитывалось более 200 дворов.

В 1924 году случилось большое несчастье: сильный пожар уничтожил половину Куршина. Погорели и Муратовы, пришлось перебраться за ручей — в небольшую деревушку Помяловку (впоследствии она слилась с Куршином, став улицей Помяловской). Но беда не приходит одна: в 1925 году умерла жена прадеда, моя прабабушка Мария Ефимовна, в девичестве Конькова. И остались сиротами 12-летний «Петья», 8-летний «Андрейка» (так говорят на Вятке) и 4-летний Аркашка. Но Василий Федотович, постаравшись быстро справиться с горем, женился повторно — ну как мальцам без мамки, пусть и неродной? Впрочем, заботилась она о пасынках как о родных сыновьях — язык не повернется назвать ее «мачехой», пацаны ее так и звали — мамой. Мария Степановна Гребнева была из дальнего села Батырево, что под удмуртским (в те времена говорили «вотянским») райцентром Кизнер. Но, к сожалению, совместных детей у нее с Василием Федотовичем не случилось: Мария Степановна была, как тогда говорили, «неродицей». Прабабушку Марью я немного помню — она умерла в 1969 году, когда мне было семь лет, правда, общаться мне с ней не разрешали: она страдала открытой формой туберкулеза. Кстати, ее родной брат служил в личной охране Николая II, мой папа видел его фотокарточку, сделанную в то время в Питере, на ней — молодой красавец с аксельбантами и в парадном кивере; папа же запомнил его высоким, статным, кряжистым стариком.

Так и обживались с новой хозяйкой на новом месте. В 1931 году старший сын Петр женился на местной девушке Сашеньке Мараткановой. Муратовы тесно сблизилась с новой родней — видным, справным родом Мараткановых. В их семье было одиннадцать детей, Саня последняя — как тогда выражались, «поскребыш».

К тому времени всюду катился по стране тяжелый каток «социалистического преобразования деревни» под названием коллективизация. Мараткановы и Муратовы, будучи крепкими единоличниками, обобществлений не желали, поэтому решили ставить свой починок на противоположной нижней лесистой стороне Вятки — недалеко от устья ее притока Люги. Старший брат моей будущей бабушки Александры Иван Алексеевич к тому времени завербовался на Дальний Восток — на строительство авиазавода в Комсомольске-на-Амуре. В то время вербовка на строительство «флагманов социалистической индустрии» была одной из немногих возможностей для сельских жителей получить паспорт.

Для починка выбрали поляну около большого соснового леса, с северной стороны к деревне примыкали обильные пойменные луга, тянувшиеся вдоль речки Люги. Место живописнейшее. Снять с насиженных мест и начать обустриваться заново поначалу решились шесть семей: братья бабушки Александры Алексеевны — Григорий, Алексей (впоследствии крестный моего отца), Федор и Василий Мараткановы с семьями, Шушпановы — семья сестры Марии и мы, Муратовы. Починок сперва назвали Красным Яром, но позднее возникло окончательное, ставшее официальным название — деревня Новое Куршино.

И закипела работа: валили лес, ставили избы, корчевали и распахивали на лошадах землю, в богатой покосной пойме Люги заготавливали сено. Понятное дело, по-родственному помогали друг другу — иначе никак. Мне всегда казалось, что рискованные первопроходцы, заселявшие и обживавшие новые места, — далекая история, а вот гляди ж ты, это было по историческим меркам совсем недавно! Все друг друга прекрасно знали, вкалывали на совесть, подгонять никого не надо — в этом принципиальнейшее отличие от колхозов: работали на себя, на свои семьи и род. Способны ли мы, сегодняшние, на нечто подобное? Сомневаюсь...

В 1932 году у Петра и Александры Муратовых родился первенец — «Генкя», мой дядя Геннадий Петрович. Они разбили при доме сад, огород, а Василий Федотович катал отличные валенки, вся округа в них ходила. Сразу за деревней — прекрасный лес, в нем полно всякой живности, ягод и грибов, прадед засаливал ядренные мохнатые белые грузди целыми кадками. В общем, живи и радуйся.

Но... докатился-таки и до этих дальних лесных выселков неумолимый каток коллективизации. Районные власти потребовали организовать колхоз, обобществить средства и орудия производства, поскольку земля и так изначально принадлежала «народу», а не каким-то новокуршинцам, ее обрабатывающим. Иначе... Сами понимаете. Но это полбеды. В состав колхоза включили еще одну небольшую деревню — Новую Сосновку, она стояла на другом берегу Люги, недалеко от ее устья, километрах в двух от Нового Куршина, в ней насчитывалось 14 дворов. Как и Новое Куршино, Новая Сосновка тоже когда-то была починком, поставленным переселенцами из соседней с Куршином (старым) деревни Кулыги. Половина жителей Новой Сосновки носила фамилию Павловы. Правда, специфику возникновения включаемых в новый колхоз деревень решили отразить в его названии — «Начало». На мой вкус, это лучше, чем набившие оскомину названия колхозов имени каких-нибудь деятелей революции или Гражданской войны или «что-нибудь (путь или знамя) коммунизма».

Председателем нового колхоза назначили одного из новососновских Павловых, а другого Павлова, у которого был самый большой и красивый дом, раскулачили (дом отдали под школу). Там же, в Новой Сосновке, жил еще один Павлов, который упорно не хотел вступать в колхоз, оставаясь убежденным единоличником, что по тем временам было крайне рискованным.

Я не хочу сказать о жителях Новой Сосновки что-то плохое. Но представляю настроение Муратовых и Мараткановых: жить на непонятные трудодни, завися от результатов работы чужих, практически незнакомых тебе людей... Это было почти невыносимо для крестьянского самосознания. Особенно мучился Василий Федотович, всю жизнь полагавшийся только на себя, на тех, кого он хорошо знал и кому доверял. А тут...

Где-то в 1934 году приехал в отпуск из Комсомольска-на-Амуре Иван Алексеевич Маратканов. Он пустил там корни, его рассказы о Дальнем Востоке «зацепили» затаившего обиду на колхозы Василия Федотовича. Посоветовавшись, Муратовы решили опять двинуть на новое место, только уже несравнимо более далекое. Мараткановы переезжать не отважились, решили подождать, посмотреть, что выйдет из этой затеи у Муратовых. К тому моменту у Петра и Александры было уже двое детей: на свет божий появилась дочка Нина.



Сказано — сделано. Шестеро Муратовых — глава семьи Василий Федотович с женой Марией Степановной, старший сын Петр с женой Александрой и детьми Геней и Ниной собрались в дальний путь. Средний сын Василия Федотовича Андрей, окончив школу-семилетку, уже работал бухгалтером в Вятских Полянах, младший Аркадий заканчивал семилетку, его решили не сдергивать с места, оставив под присмотром Мараткановых. Опустиу описание «патетики» сборов и долгого пути, догадываюсь, насколько было сложно оторваться от земли, скажу лишь главное: семьи моих прадеда и деда переехали в Комсомольск-на-Амуре году в тридцать пятом — тридцать шестом.

Вспоминаю бабушку Александру Алексеевну, труженицу до мозга костей, всегда сдержанной и спокойной, не припомню, чтобы она спорила на какие-то политические темы. На мой вопрос, как получилось, что мой отец родился за тысячи километров от вятских мест, она, помолчав пару секунд, дала исчерпывающий ответ: «Дык от колхозов-от побежали...» Это была единственная «политически окрашенная» фраза, которую я слышал от своей почти святой бабушки. Впрочем, большего и не надо. В этой фразе — все.

В Комсомольске их, как людей малообразованных (баба Саня, помнится, с трудом читала и писала: ее образование ограничилось двумя классами церковно-приходской школы), но привычных к крестьянскому труду, определили на работу в подсобное хозяйство авиазавода, находившееся неподалеку от города, около нанайской деревни Дземги. Рядом с домом Ивана Алексеевича Муратовы поставили небольшую насыпную избу. Именно там в 1938 году на свет появился мой отец Юрий, Юрик, как его звали в детстве.

К тому моменту Муратовы уже осознали свою ошибку с переездом в Комсомольск. Причин было множество. Как говорится, «не заклиматило»: чаще болели, зимы дольше и холодней, земля намного скуднее, чем на родной Вятке. Потомственная крестьянская душа позвала на родину. К тому же Василий Федотович уже смирился с мыслью, что от колхозов не скроешься нигде. А годом раньше случилось большое горе: заболела и умерла двухлетняя Ниношка, царство ей небесное. В довершение всего прадед, собирая шишку, упал с кедра и сломал два ребра. Приковыляв домой, он эмоционально выдал длинную словесную тираду, общий смысл которой сводился к тому, что пора покидать Дальний Восток и возвращаться домой.

В 1939 году Муратовы вернулись. За домом все это время присматривали Мараткановы. Андрея призвали на срочную службу в РККА, Аркадий собирался поступать в Ульяновское танковое училище. Колхоз «Начало» выполнял планы, на трудодни кое-что выдавали. Муратовы стали колхозниками, украдкой вздыхая по единоличной вольнице и ясно осознавая, что возврата к прежней жизни уже не будет. К тому моменту в Новом Куршине стояло уже 12 дворов, правда, электричества в деревне еще не было (оно появится только в 1946 году). Василий Федотович возобновил катание валенок — это давало хорошее подспорье к трудодням. Кормило хозяйство. В 1940 году у Петра Васильевича и Александры Алексеевны родилась дочка, которую тоже назвали Ниной. Сразу успокою мнительных приверженцев разных примет: в этом году моя тетя Нина Петровна отметит 80-летний юбилей, дай Бог ей здоровья. Словом, все обстояло более-менее нормально, жить можно.

Но тут пришла война...

* * *

*Фронт горел, не стихая,
 Как на теле рубец.
 Я убит и не знаю,
 Наш ли Ржев наконец?*

А. Твардовский

«Прощай, Юрик!» — последняя фраза отца, которую запомнил мой папа. Петр Васильевич поцеловал сына, подняв его на вытянутых руках. Юрик радостно засмеялся, не понимая происходившего вокруг. Мальцу было всего три с небольшим года, но его память отчетливо сохранила проводы отца. Юрику нравилась общая суета вокруг, визиты гостей, песни, ему было приятно, что любимого отца все обнимают. А Петр Васильевич заскочил на подводу, помахал рукой и уехал. Как оказалось, навсегда. Вместе с ним на призывной пункт райвоенкомата в Вятских Полянах отправились еще двое Мараткановых. Шел август 1941 года.

Став немного постарше, Юрик понял, куда они ушли, хорошо запомнив проводы следующих односельчан — казалось, войне не будет конца. Обычно вся деревня собиралась в доме уходящего на фронт односельчанина, накрывали прощальный стол, потом запрягали лошадь, ехали на подводе с песнями под гармошку по всей деревне от дома к дому. В память Юрика врезались слова песни: «Прощайте, люди добрые, прощайте, вся моя родня!» Все выходили на улицу, обнимали призываемых на фронт. Провожали до околицы. Дальше дорога уходила в перелесок, разделявший Новое Куршино и активно строившиеся по соседству завод по выпуску фронтовых конных санитарных двуколок и новый поселок при заводе — Усть-Люгу (ныне Новое Куршино и Новая Сосновка стали просто улицами этого поселка, перестав существовать как отдельные населенные пункты).

Основная забота о семье легла на плечи Василия Федотовича, детишки звали его «батей». Он фактически заменил им отца. Война и общее горе изменили людей — все самоотверженно трудились в колхозе. «Всё для фронта! Всё для победы!» — этому лозунгу следовал каждый. Больше ни одного плохого слова про колхоз от Василия Федотовича не слышали, он и сам прекрасно понимал: его ударный труд в колхозе «Начало», который он поначалу так невзлюбил, — реальный вклад в дело победы, а значит, помощь воюющим сыновьям.

Андрей, проработав после демобилизации всего несколько месяцев, был призван вновь. Он воевал на Карельском фронте. Аркадий, только-только получивший лейтенантские «кубики» на петлицы, командовал танковым взводом на Южном фронте. Младший из братьев Муратовых получил тяжелое ранение — ему разворотило лицо, оторвало нос, благо уцелели глаза. Вернувшись в строй после госпиталя, зимой 42-го года Аркадий был командирован в Челябинск на танковый завод — принимать новую партию машин для своей бригады, о чем известил в письме «батю». Василий Федотович вымолил в колхозе небольшой отпуск, чтобы повидаться с сыном в Челябинске. При встрече он не узнал своего некогда красавца сына: его обнимал поседевший человек с изуродованным лицом. Впрочем, Василий Федотович почти не подал виду, подавив эмоции. Это была их последняя встреча: 19 июля 1942 года лейтенант-танкист Аркадий Петрович Муратов пал смертью храбрых в боях под Воронежем. Парню шел 22-й год...

Петр Васильевич оказался на Западном фронте в 906-м полку 243-й стрелковой дивизии. Командовал отделением в звании сержанта. В декабре 1941 года в составе 29-й армии Калининского фронта его дивизия участвовала в Калининской наступательной операции и 16 декабря первой вступила в освобожденный от гитлеровцев Калинин (ныне Тверь). В дальнейшем 243-я дивизия участвовала в кровопролитной Ржевско-Вяземской операции и к концу апреля 1942 года вышла на подступы к городу Ржеву, где закрепились, перейдя к активной обороне.

Наступательные операции по ликвидации Ржевско-Вяземского выступа и освобождению Ржева — одна из наиболее драматичных и трагических страниц истории Великой Отечественной. Сколько наших солдат полегло подо Ржевом! Кровавую Ржевскую битву в народе называли «ржевской мясорубкой». В советские времена о ней говорили совсем немного и как-то вскользь. И только совсем недавно, в 2007 году, указом Путина Ржеву было присвоено почетное звание «Города воинской славы» за мужество, стойкость и массовый героизм его защитников. Что мешало принять такое решение намного раньше, когда они еще были живы? Впрочем, лучше поздно, чем никогда, надеюсь, что хоть кто-то из уцелевших героев дождался этого.

Но я остановлюсь только на предпоследней операции этой страшной битвы — второй Ржевско-Сычевской наступательной. Она получила кодовое название «Марс» и проводилась силами Калининского и Западного фронтов под руководством генерала армии Г. К. Жукова. Точнее, на боевых действиях 243-й дивизии в рамках этой операции.

Низкий поклон людям, создавшим и поддерживающим сайт «Память народа»: именно там мне удалось ознакомиться с отсканированным журналом боевых действий 243-й стрелковой дивизии. Скажу честно, читать немного пожелтевшие страницы с написанными чернилами, неровным почерком строками волнительно. Журнал велся ежедневно, сквозь сухой лаконичный текст ощущаешь дыхание истории. Да и просто это очень интересно. Привожу фрагмент журнала боевых действий 243 СД (стрелковой дивизии) с 30 ноября по 15 декабря 1942 года (ЦАМО, фонд 1525, опись 1, дело 34) в сокращении, с сохранением орфографии и пунктуации, со своими комментариями в скобках. Командир дивизии — полковник Куценко А. А.

30.11. — 4.12.1942 г. 243 СД частями и отдельными подразделениями 9-ю эшелонами по ж. д. транспорту передислоцировалась с района Медынь в р-он Красново (Калининская область. — *П. М.*).

5.12.42 г. Боевая задача: Подготовка частей и отдельных подразделений к наступательным операциям.

Описание боевых действий: Дивизия дислоцируется в лесу в районе Красново, Петрушино.

6.12.42 г. Описание боевых действий: Дивизия дислоцируется в прежнем р-не. В течение дня проводила занятие по боевой подг-ке, вместо 3-х штатных единиц создано два стрелковых б-на. Потерь и происшествий не имеет. КП (командный пункт. — *П. М.*) дивизии Красново.

8.12.1942 г. Боевая задача: На основании боевого приказа № 020 штаба (штаба армии. — *П. М.*) 20 от 8.12.42 г. дивизия совершает марш из р-она Красново — Петрушино и сосредоточивается ю.-з. (юго-западнее. — *П. М.*) Арестово.

Описание боевых действий: Дивизия совершает марш для наступления. Происшествий нет. КП дивизии Бобровка.

9.12.42 г. Боевая задача: На основании боевого приказа штарма дивизии занять исходное положение ю.з. Арестово и наступать в направлении Подосиновка «ост. 174 км». Ближайшая задача — овладеть Подосиновкой.

Описание боевых действий: Дивизия сосредоточилась в р-не ю.-з. Арестово. Резерв командира дивизии — лыжбат, разведрота, заград. б-он сосредоточились в долине южнее Бобровки 400 м.

Потери: ранен нач-к политотдела батальона комиссар Сорокин, 906 СП ранено 2 кр-ца (красноармейца. — П. М.), 910 СП — потерь нет, 912 СП — убито 1 чел., ранено 4 чел.

10.12.42 г. Боевая задача: прежняя.

Описание боевых действий. Дивизия, приняв оборону в полосе: мост сев. Подосиновки 200 м — кустарник вост. Подосиновки 200 м — ю.-з. скаты безымянной высоты с горизонталью 200, сев. Жеребцово 200 м, готовится к выполнению боевого приказа штарма.

Потери: 906 СП — убито 2 кр-ца, 910 СП — ранено 11 кр-цев, убито 2 чел., 912 СП — убито 2 кр-ца, ранено 6 чел. Потери артиллерии — ранен зам. ком. 775 АП (артиллерийского полка. — П. М.) майор Черников. Резерв ком. дивизии потерь не имеет.

И вот началось наступление...

11.12.42 г. Боевая задача: прежняя. Боевым распоряжением 077 Шта-рма 20 от 10.12.42 г. Атаку пехоты и артиллерии назначаю на 11 ч 00 м 11.12.42 г.

Описание боевых действий: Дивизия в ночь с 10.12. на 11.12.42 г. вывела части на исходное положение для атаки. С 1 ч 10 м до 11.00 11.12.42 г. все системы боевых порядков артиллерии вели обработку переднего края обороны пр-ка (противника. — П. М.). И в 11.00 начало прорыва переднего края пр-ка. Действовавшие танки в направлении дивизии, дойдя до переднего края потеряли 8 машин, остальные танки остановились.

906 СП: Наступая на правом фланге дивизии (исх) мост сев. Подосиновки, (исх) Подосиновка, встретив сильное огневое сопротивление пр-ка, успеха не имел. К 8.00 12.12.42 г. седлает дорогу Подосиновка — Мал. Кропотово. Потери: убито и ранено 254 чел.

910 СП: Совместно с публатом (пулеметным батальоном. — П. М.) прорвал передний край Подосиновки. В 11.20 ворвался в Подосиновку с двумя танками и двумя стрелковыми ротами. Встретив сильный руж. пулем. арт. мин. огонь пр-ка, понес большие потери, успеха в овладении Подосиновкой не имел. Потери: убито и ранено 718 чел.

912 СП: Прорвав передний край (исх) Подосиновки, (исх) Жеребцово к 20.00 достиг сев.зап. Жеребцово 300 м. 2-м б-оном юго-вост. Подосиновки седлает дорогу Подосиновка — Жеребцово. Встретив сильное огневое сопротивление пр-ка, отбив контратаку, в дальнейшем успеха не имел. Потери: убито и ранено 621 чел.

Резерв ком. дивизии готов к выполнению боевой задачи, согласно боевого распоряжения № 82 12.12.42 г. Потери: убито и ранено 28 чел.

Артиллерия дивизии с приданными полками усиления 302 ГАП (гаубичный артиллерийский полк. — П. М.) и 998 ПАП (противотанковый артиллерийский полк. — П. М.) произвели 50-минутную арт. подготовку. Потери: убито и ранено 30 чел., пропали без вести 3 чел.

Соседи: справа 30 гв. СД, слева 247 СД.

13.12.42 г. Боевая задача: прежняя. Дивизия продолжает наступать на Подосиновку с задачей овладеть, в дальнейшем наступать на Лапоток.

906 СП: наступает на сев.-вост. окр. Подосиновки — успеха не имеет.

910 СП: наступает на вост. окр. Подосиновки — успеха не имеет.

912 СП: наступает на юго.-вост. окр. Подосиновки — успеха не имеет.

Потери: 906 СП убито 10 чел., ранено 22 ч.

910 СП убито 58 чел., ранено 129 ч.

912 СП убито 134 чел., ранено 291 ч.

Артиллерия — убито и ранено 11 чел.

КП и НП (наблюдательный пункт. — П. М.) дивизии — в Арестово.

В этот день, 13 декабря 1942 года, наступление, похожее, велось уже по инерции. Всё, от дивизии, судя по сведениям о потерях, остались одни осколки, наступать далее было нечем.

В какой из трех дней наступления был ранен Петр Васильевич — осталось неизвестным. В похоронке была указана причина смерти: «слепое осколочное ранение правого бедра». Шипя и потрескивая, раскаленный кусок железа остывал в его развороченной плоти. Кровь хлестала из раны, к тому же на морозе она сворачивается очень плохо. Возможно, ранение оказалось бы не смертельным, получи он своевременную медицинскую помощь. Но раненых было много, очень много. Везло тем, кого ранение настигало ближе к своим позициям — их выносили с поля боя раньше. А раненые у переднего края зачастую так и оставались там умирать: враг не давал возможности их спасти. И только доносились постепенно затихавшие крики и стоны раненых — представляю, какая была мука слышать это...

А операция «Марс» между тем продолжалась. Завершится она только через неделю, 20 декабря. Журнал боевых действий 243-й дивизии продолжал сухо информировать:

14.12.42 г. Боевая задача: Выйти в резерв армии для приведения частей в порядок.

Описание боевых действий: Части дивизии, сдав участок в полосе наступления 379 СД (далее наступать предстояло уже ей. — П. М.) к 18.00 14.12.42 г. вышли в резерв 20-й армии для приведения частей в порядок и сосредоточились:

906 СП — сев.-зап. Зеваловки

910 СП — сев.-зап. Кузнечихи

912 СП — ю.-вост. Зеваловки

775 АП на ОП (оперативной позиции. — П. М.) р-н Арестово для поддержки 379 СД. КП дивизии — высота с кустарником, что западнее Бабихино.

15.12.42 г. Боевая задача: прежняя. Дивизия дислоцируется в районе Зеваловки и Кузнечихи на основании приказа штарма привести части в порядок. Проведено совещание с командирами частей и подразделений по вопросам укомплектования и реорганизации подразделений.

775 АП на ОП в районе Арестово.

КП дивизии — высота с кустарником, что западнее Бабихино 400 м.

Это был последний листок журнала боевых действий дивизии на тот период. Ее фактически уже не было. Уже потом, в тылу, 243-я стрелковая дивизия реорганизовывалась и доукомплектовывалась личным составом. Как о боевом

соединении сведения о ней в новом журнале боевых действий появляются только через два месяца. Сколько сослуживцев командира отделения сержанта Муратова осталось к тому времени в строю — неизвестно, думаю, почти никого.

Догадываюсь, что наступление на укрепленную, глубоко эшелонированную оборону врага изначально представлялось бойцам 243-й дивизии обреченным на неудачу, что и подтвердилось невыполнением поставленных боевых задач и численностью потерь. Они прекрасно понимали, что им предстоит морозным утром 11 декабря 1942 года. Но солдаты обязаны были выполнять приказ, а потому, несмотря ни на что, шли вперед на врага.

Однако бойцы, командиры полков и дивизий, армий и фронтов не знали и не могли знать, что немцы были специально предупреждены о том наступлении подо Ржевом в рамках радиоигры «Монастырь» и ожидали его. Ничего не знал об этом и Жуков, в то время еще генерал армии. «Марс» и «Уран» (контрнаступление под Сталинградом) проводились в рамках единого замысла, поэтому основная стратегическая задача операции «Марс» состояла в отвлечении сил противника для обеспечения успеха операции «Уран», о проведении которой враг даже не подозревал. Жестоко? Наверное, да, но это война... Ржевская битва поглотила все резервы немецкой группы армий «Центр», и спасти окруженную Красной армией в Сталинграде армию Паулюса было уже практически некому. Поэтому вторую Ржевско-Сычевскую наступательную операцию нельзя считать провалом, а смерть Петра Васильевича напрасной, более того, его даже можно назвать соучастником Сталинградской битвы, переломившей ход всей Второй мировой войны.

Красная армия победила под Сталинградом, стремительно продвинулась вперед на юге, а в 1943 году перешла в победное наступление и на центральном направлении, в том числе под Подосиновкой. На современных картах нет ни Подосиновки, ни Арестова, ни Жеребцова — могу только представить, что осталось от тех деревень после наступления. 3 марта 1943 года вновь стал «нашим наконец» многострадальный Ржев, из довоенных двадцати тысяч населения города уцелело всего 150 человек...

А переформированную 243-ю стрелковую дивизию в конце февраля 1943 года перебросили на Юго-Западный фронт под Луганск с тем же командиром — полковником Куценко. Новый журнал боевых действий дивизии все так же беспристрастно фиксировал продолжение ее боевого пути. Победного, на запад!

Но уже без Петра Васильевича. Последняя неделя жизни сержанта Муратова прошла в агонии: потеря крови оказалась критической. Сознание все чаще покидало его, и 20 декабря 1942 года моего дедушки не стало. Помимо даты и причины в похоронке указано место смерти: эвакогоспиталь № 1763 города Волоколамска Московской области. И место погребения — братская могила № 9. Осиротевший Юрик на всю жизнь запомнил, как, получив похоронку, нечеловеческим голосом завывала его ставшая вдовой мать Александра Алексеевна...

* * *

«И было у отца три сына». Но только один из них, средний, вернулся с войны. В 1946 году, к великой радости Василия Федотовича, навестил родные места Андрей Васильевич Муратов — в военной форме, с табельным пистолетом



в кобуре, солидный, бравый, красивый. Его грудь украшали два ордена Красной Звезды и четыре медали: «За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья», «За взятие Кенигсберга» и, разумеется, «За победу над Германией». К тому времени он стал гвардии майором, оставшись служить в армии кадровым офицером. Вся деревня приходила поприветствовать героя, многие, обнимая его, плакали: более половины мужиков-кормильцев не вернулись с фронта. Но гостил Андрей Васильевич недолго. Забрав с собой будущую супругу, односельчанку красавицу Анечку, он отбыл к месту службы в Белоруссию, где до войны много лет прослужил другой мой дед — Петр Михайлович.

О погибших старшем и младшем братьях Муратовых еще долго напоминали балайка Петра и гитара Аркадия. Онемевшие без хозяев инструменты много лет пылились в чулане, но больше на них никто не играл.

Я часто думаю о своих дедах, подолгу вглядываюсь в их фотографии, примеряю на себя их судьбы. Но, как бы ни старался, представить себя нынешнего на их месте никак не получается. Они, в отличие от меня, не узнали главного — как завершилась война. С возрастом все глубже осознаешь весь трагизм и величие тех времен. А ведь я уже почти на двадцать лет старше Петра Михайловича, а Петр Васильевич и вовсе младше моих детей. Двум Петрам — Михайловичу и Васильевичу — не довелось услышать от своих внуков такое теплое обращение: «деда Петя». Но они отдали свои жизни за то, чтобы это услышал я...

В 2017 году мы с отцом и моим двоюродным братом, екатеринбуржцем Андреем Геннадьевичем Муратовым, впервые побывали на братской могиле в Волоколамске, что сразу за автобусной остановкой «Совхоз». Аккуратный ухоженный обелиск с небольшим памятником за оградкой под сенью высоких деревьев, некоторые из которых наверняка стояли в конце 1941 года, когда опускали в могилу умерших в госпитале солдат. На обелиске выбито имя деда: «Муратов П. В.». Мы поклонились его памяти, сфотографировались, возложили гвоздики, повязали георгиевскую ленточку, прибрались, вымыли обелиск. После чего набрали землицы с братской могилы и поехали на Вятку — бросить, по древней русской традиции, по горсточке на могилы Василия Федотовича и Александры Алексеевны. Андрей повез священную землицу на могилу отца — Геннадия Петровича, моего дяди.

В прошлом году мы с сыном Ярославом по пути в далекую Словению вновь навестили могилу Петра Васильевича.

В Марибор мы приехали в символическую дату — 22 июня. Сразу нашли бывший шталаг XVIII-D (306) на улице Эйншпелерьевой на окраине города. Возложили красные розы у памятного стенда рядом с воротами в здание, где содержались советские военнопленные и где скончался Петр Михайлович. Традиционных красных гвоздик в ближайшем цветочном магазине, к сожалению, не оказалось. Потом мы с сыном пешком прошли путь, по которому лагерная телега почти 80 лет назад доставила тело Петра Михайловича на кладбище «Побережье». В цветочных рядах у входа нашлись-таки красные гвоздики. Мемориал погибшим советским военнопленным отыскали довольно быстро. С утра хмурилось, погромыхивало, вершины окружающих город гор скрывали мохнатые низкие тучи. Но «небесная канцелярия» будто бы терпеливо ждала, пока мы почтим память деда, разразившись мощной грозой чуть позже — ливень хлынул стеной. Мы с сыном сочли это знаком.

Часто я слышу выражение «братский народ» и не реже споры, какие народы таковыми считать. Ведь далеко не всегда общие исторические судьбы, религия или этническое родство делают народы братскими. Мой критерий оценки «братскости» прост и понятен — отношение к исторической памяти. Если чтите свято память советского воина-освободителя — братский народ, если нет — извините... Ныне некоторые неблагодарные народы Европы страдают исторической амнезией — надеюсь, в перспективе излечимой.

Но про словенцев так не скажешь, вот они — братский народ, несмотря на то что их страна состоит в НАТО. Мемориал содержится в образцовом состоянии. В Словении вообще с большим уважением относятся к памяти наших воинов, освобождавших ее территорию. Памятники погибшим советским солдатам бережно сохраняются местными жителями по всей стране. Меня очень тронуло прошлогоднее сообщение в СМИ о визите словенской делегации в Москву с целью переноса частички Вечного огня у Кремлевской стены в столицу Люблян для зажжения там своего Вечного огня. Значит, помнят, значит, им это нужно.

В 2006 году по инициативе нашего посольства на братской могиле в Мариборе установили большой надгробный мраморный православный крест. Каждый год 9 мая там проходят торжественные мероприятия, посвященные памяти наших погибших военнопленных. Участвуют представители мэрии города, местных организаций, музея народно-освободительного движения. А с недавних пор русская община Марибора проводит марши «Бессмертного полка», в которых принимают участие все больше словенцев.

Мы с сыном тоже набрали землицы с братской могилы в Мариборе и на обратном пути задержались в Москве. Вместе с моим двоюродным братом, подполковником в отставке Игорем Борисовичем, тоже внуком Петра Михайловича, бросили по горсточке на могилы Калининцев: Бориса Петровича, внука Олега и правнука Андрея.

Волоколамск и Марибор. Две братские могилы. Два солдата. Два Петра. Девятого мая они вновь пойдут с нами маршем «Бессмертного полка». Светлая им память! И царствие небесное...



Павел РОМАНОВ

ВРАЧЕБНЫЕ ТАЙНЫ. СУДЬБА НОВОСИБИРСКОГО ВРАЧА Д. Г. ФИРФАРОВА И ЕГО СЕМЬИ

Жизнь исследователя особенно интересна неожиданностями, которые, проявляясь порой совершенно случайно, уже не дают ему покоя. Минутная встреча, обрывок тетрадного листа или стопка бумаги на чердаке наполняют профессию историка романтизмом, ради которого можно пережить документально-отчетную рутину сегодняшнего дня.

История Новосибирска — молодого города, обжигаемого обскими ветрами, — как головоломка: содержит в себе тысячи вопросов, оставленных пока что без ответа. Каждый вопрос — судьба одного человека, а их были сотни, тысячи — тех, о ком мы никогда не узнаем.

Но некоторые своими деяниями, совершенными когда-то, пробивают дорогу в настоящее. Одним из них был врач Дмитрий Гаврилович Фирфаров, рассказать о котором я просто обязан, чтобы реабилитировать его перед Историей и перед городом. Выиграть очередное сражение в борьбе добра и зла.

О Д. Г. Фирфарове я упоминал в книге, посвященной первому врачу Новосибирска И. И. Абдрину¹, но знал я о нем мало: только то, что он был расстрелян вместе с врачом Николаем Ивановичем Абдриным, сыном И. И. Абдрина, с которым вместе работал в железнодорожной больнице.

Не так давно на связь со мной вышел историк из Санкт-Петербурга Р. Э. Петров, занимающийся сбором данных о военных врачах. Выяснилось, что он обнаружил фотографию, на которой изображен молодой доктор в форме времен Первой мировой. Подпись гласила: «Фирфаров». Фотография находилась в одном из антикварных салонов Новосибирска, и я ее, конечно, купил.

Поскольку исследователь из Санкт-Петербурга понял, что Д. Г. Фирфаров был гражданским доктором, он не заинтересовался его судьбой, но вывел меня на формулярный список Д. Г. Фирфарова в Российском государственном историческом архиве (РГИА)². Позднее я также обнаружил упоминание имени доктора в разных исторических документах и интуитивно понял, что судьба его была очень интересной.

¹ Романов П. И. Тяжело вылечить, трудно распознать. Судьба первого новосибирского врача И. И. Абдрина. — Новосибирск, 2017. — 48 с.

² РГИА. Ф. 1349. Оп. 2. Д. 874. Лл. 20—21. Формулярный список Д. Г. Фирфарова.

По данным формулярного списка, Дмитрий Гаврилович Фирфаров родился 11 октября 1886 г. в Сестрорецке, расположенном на берегу Финского залива, недалеко от Санкт-Петербурга.

Д. Г. Фирфаров был сыном чиновника; с отличием окончил Императорский Томский университет и в 1914 г. работал ординатором госпитальной клиники Томского университета. С началом Первой мировой войны он, будучи врачом, был призван на военную службу.

Данный формулярный список прерывается в 1915 г. Другой информации об Д. Г. Фирфарове в РГИА не обнаружилось.

В интернете есть информация о Фирфаровых в Сестрорецке — они жили и живут там давно, принимали и принимают активное участие в жизни этого города.

Очень полезной в контексте данного исследования стала монография С. А. Некрылова «Научные общества в Томском университете в дореволюционный период». Выяснилось, что Д. Г. Фирфаров был очень одаренным студентом. В 1910 г. он был удостоен премии медицинского научного общества Томского университета за научное сочинение «Гедонал и его применение»³.

На равных со своими преподавателями — именитыми учеными он делал научные доклады. Например, 31 марта 1911 г. он выступил с сообщением на тему «Случай значительного увеличения грудной железы у женщины 19 лет»⁴.

В дальнейшем я узнал, что Д. Г. Фирфаров прибыл в Новониколаевск в 1918 г. с частями Красной армии и поступил на службу в военный госпиталь. Неудивительно, что труд образованного хирурга понадобился именно здесь. В условиях бушующей Гражданской войны, разрухи и эпидемий врачи были на вес золота.

Сразу после установления советской власти и по окончании Гражданской войны в Новониколаевске стремительными темпами началось строительство местной системы здравоохранения. Организовывались диспансеры, специализированные больницы, и, конечно, ведущую роль в этом процессе играли профессиональные кадры.

Врачи, приехавшие на заре советской власти в Новониколаевск (а их было немало, и почти все были выпускниками Томского университета), получили назначения на руководящие должности в создаваемых медицинских учреждениях.

Новые больницы, как и места жительства врачей, располагались на улице Рабочей, бывшей Асинкритовской (по имени томского губернатора Асинкрита Михайловича Ломачевского), а сейчас Чаплыгина (по фамилии академика, основоположника аэромеханики, умершего в новосибирской эвакуации в 1942 г.). В начале 1920-х гг. здесь находилось сразу три медицинских учреждения.

В доме № 41 размещались контролирующие медицинские органы, возглавляемые практикующими врачами. По адресу Рабочая, 72 в двухэтажном здании бывшей гостиницы была больница врачей-специалистов, затем переименованная в Центральную амбулаторию. Здесь работали такие известные всему городу врачи, как М. П. Востоков, А. А. Станкеев, В. А. Стогов, П. А. Кайдановский.

³ Некрылов С. А. Научные общества в Томском университете в дореволюционный период. — Томск, 2013. — С. 142.

⁴ Там же. С. 256.

В доме № 88 располагалась Первая хирургическая больница, которую возглавил Д. Г. Фирфаров. В больнице также работали врачи Н. К. Диц и С. А. Мезенев. О деятельности новониколаевских врачей, их успехах и заботах в то далекое время мы можем узнать из материалов газеты «Советская Сибирь».

Уже в начале двадцатых в Новониколаевске было организовано научное общество врачей. Выступления в нем были для Д. Г. Фирфарова привычным делом, ведь он был еще в студенчестве завсегдаем встреч профессуры Томского университета. Например, 7 июня 1922 г. в здании кожно-венерологической больницы на ул. Кузнецкой (сейчас Ленина) им был сделан доклад, посвященный деятельности врача В. Н. Виноградова⁵.

О тесной связи членов врачебного сообщества можно узнать и из публикаций об организации сбора денег для нужд советской промышленности и армии. Так, доктор П. А. Кайдановский, заведующий кожно-венерологической больницей, на страницах «Советской Сибири» призывал заведующего хирургической больницей доктора Фирфарова к сбору денег на самолет «Калиныч». Дмитрий Гаврилович откликнулся и внес на строительство 1000 рублей⁶.

2 февраля 1924 г. Д. Г. Фирфаров снова заинтересовал читателей газеты своим выступлением в обществе врачей. Он сообщил об интересной операции по удалению селезенки у взрослой крестьянки, произведенной им в стенах первой городской больницы. Селезенка была увеличена до двух килограммов и вызывала болезненные явления. Назвать причину болезни доктор не решился, но отметил, что будет и дальше работать в этом направлении. Впрочем, удаленная селезенка была отправлена на исследование в томский патологоанатомический институт. Больная же поправилась и уехала к себе домой, чувствовала она себя хорошо⁷.

В 1925 г. в медицине Новониколаевска произошли некоторые изменения. Поскольку двухэтажное здание бывшей гостиницы на ул. Рабочей, 72 мало подходило для Центральной амбулатории и требовало ремонта, переоборудования и расширения, остро встал вопрос о новом помещении для больницы. Новое здание амбулатории было выстроено на улице Серебренниковской, и сегодня в нем размещается знаменитая поликлиника № 1.

Еще раньше возникла необходимость организации рентгенкабинета при амбулатории. Оборудование на складах горздрава имелось, а подходящего помещения не было, поэтому в 1925 г. было принято решение освободить помещение Первой хирургической больницы на ул. Рабочей, 88. Так завершилась недолгая история хирургической больницы. В освобожденное же здание амбулатории на ул. Рабочей, 72 въехал образованный в 1923 г. кожно-венерологический диспансер.

Точно известно, что Д. Г. Фирфаров в 1926 г. перешел на работу в железнодорожную больницу на станции Новосибирск. Начало его деятельности на новом месте достаточно искренне отображено в газете «Советская Сибирь» от 10 марта 1926 г. В заметке «Наш врач» группа больных пишет: «На смену умершего врача первой железнодорожной больницы П. П. Кибардина заступил врач Д. Г. Фирфаров, который внимательно относится к здоровью железнодорожников. Такие врачи нужны и дороги рабочему! Научный и опытный труд врача-хирурга Д. Г. Фирфарова железнодорожники сумеют оценить»⁸.

Замечательные врачи были в Новониколаевске!

⁵ По Новониколаевску // Советская Сибирь. 1922. 7 июня.

⁶ Красная армия и воздушный флот // Советская Сибирь. 1923. 31 августа.

⁷ В обществе врачей // Советская Сибирь. 1924. 10 февраля.

⁸ Наш врач // Советская Сибирь. 1926. 10 марта.

* * *

В 2016 г. ученица одной из новосибирских школ Яна Соловьева подготовила интересное исследование о жизни врачей — пионеров новосибирского здравоохранения. В нем упоминаются детали биографии одного из самых известных новосибирских врачей — А. А. Станкеева⁹. Приехав в молодой сибирский поселок в 1908 г. из родного Енисейска, доктор сыграл важную роль в строительстве местной системы здравоохранения, а особое внимание обращал на санитарно-гигиеническое устройство Новониколаевска. В городской думе осенью 1915 г. (вместе с врачами Абдриним и Востоковым) он подверг жесткой критике меры санитарного обеспечения в переполненном людьми городе.

25 августа 1926 г. врач А. А. Станкеев умер в Бийске по дороге из Белокурихи. Отпевали врача в храме Пророка Даниила на Вокзальной площади, впоследствии разрушенном.

1 сентября состоялось внеочередное заседание общества врачей, почетным председателем которого являлся покойный А. А. Станкеев. Повод был грустным — нужно было почтить память ушедшего врача. Доклад доктора Фирфарова «Биография А. А. Станкеева» продолжили аналогичные доклады других врачей¹⁰.

Впоследствии имя доктора А. А. Станкеева было присвоено одной из городских амбулаторий.

* * *

В декабре 1926 г. состоялся Первый съезд исследователей Сибири, по итогам которого был избран президиум Общества изучения Сибири и ее производительных сил, созданного по инициативе группы ученых и общественных деятелей Новониколаевска¹¹.

Доктор Фирфаров был кандидатом в президиум и продолжил работу в научном обществе¹². Он выступал перед врачами с докладами на тему лечения желчнокаменной болезни (по материалам железнодорожной больницы на ст. Новосибирск), дуоденального зондирования.

Докторами проводились публичные беседы по вопросам лечения аппендицита, в ходе которых Дмитрий Гаврилович давал населению советы по поводу лекарств.

Помимо того, Д. Г. Фирфаров участвовал в 1927 г. в работе Всероссийского съезда хирургов и по возвращении сообщил о полученном опыте врачам Общества, которое к этому времени насчитывало уже 140 человек. В это время ОГПУ так характеризует доктора Фирфарова: «Настойчив и энергичен. В обстановке ориентируется. Общественным авторитетом пользуется как врач-специалист. В общественной жизни участия не принимает»¹³. Правда, насчет общественной жизни можно и поспорить.

⁹ Соловьева Я. Городские врачи Новониколаевска. Социальный портрет (по материалам периодической печати и сведениям метрических книг дореволюционного периода). URL: <http://bsk.nios.ru/content/gorodskie-vrachi-novonikolaevska-socialnyy-portret-po-materialam-periodicheskoy-pechati-i> (дата обращения: 29.09.2019).

¹⁰ Извещения // Советская Сибирь. 1926. 1 сентября.

¹¹ Подробнее о данной организации: Красильников С. А. Общество изучения Сибири и ее производительных сил // Историческая энциклопедия Сибири. Т. 2: К—Р. — Новосибирск, 2013. — С. 525—526.

¹² Организация научных сил // Советская Сибирь. 1926. 23 декабря.

¹³ Государственный архив Новосибирской области. Ф. 1353. Оп. 1. Д. 77. Характеристика ОГПУ на Д. Г. Фирфарова.

Медицинское образование продолжало развиваться и получило новый импульс с переездом в Новосибирск в 1931 г. Томского государственного института для усовершенствования врачей (ГИДУВ), основанного четырьмя годами ранее. Он в короткие сроки стал важнейшей базой для укрепления сибирской медицины, объединив лучших докторов Сибири, представителей Томского университета. В Новосибирск приехали такие известные врачи, как бактериолог П. И. Бутягин, дерматовенеролог А. А. Боголепов, доктор Н. И. Горизонтов.

В этой точке нашего исследования мы должны обратиться к приобретенной мною фотографии Д. Г. Фирфарова, на обратной стороне которой надпись: «Многоуважаемому Алекс... Михайловичу в память... совместной работе в клинике».

Вероятно, эта фотография попала в Новосибирск во время перевода института усовершенствования врачей, многие сотрудники которого в прошлом работали в клинике Томского университета. Ну а во второй половине 1930-х гг. были тысячи обстоятельств для того, чтобы эта фотография начала свой путь в антикварный магазин: перемещение организаций, освобождение помещений, обыски, эвакуация и реэвакуация, строительство новых домов и разрушение старых...

* * *

Конечно, каждый врач не существует сам по себе, его окружают родные и близкие люди, друзья и знакомые. Сейчас пришло время поговорить о близких родственниках доктора Фирфарова. Кем они были и в каких условиях формировался будущий хирург?

О родителях Дмитрия Гавриловича мы знаем мало. Известно только то, что его отец работал на знаменитом Сестрорецком оружейном заводе, где в свое время трудились изобретатель русской «трехлинейки» Мосин и оружейники Токарев и Дегтярев. Вообще в Сестрорецке на рубеже XIX—XX вв. проживало много Фирфаровых, и их потомки живут там до сих пор.

В 1868 г. Сестрорецк охватил страшный пожар.

В чем была его причина — до сих пор неизвестно. Колокольный звон оповестил население о бедствии, но пламя распространялось стремительно. Отчаянные попытки пожарных, солдат и мастеровых Сестрорецкого завода не могли его остановить. Обыватели спасали свои дома, но важнейшей задачей было уберечь от огня заводское имущество... А также шнуровые книги, так назывались фолианты, в которых листы были дополнительно скреплены шнурами, — прием, хорошо известный и в современном делопроизводстве. Один из служащих завода Михаила Фирфаров первым делом отправился к пороховым погребам и вынес несколько бочонков с порохом, но потом получил от полковника Греве приказ спасти те самые книги. Он примчался к конторе и, как отчитывался после пожара, «взял из шкафа шнуровые книги белые и черновые за 1867 и 1868 г. вместе с документами, делами конторы и Счетными списками, увязал их и уложил в деревянный ящик, попавшийся под ноги, передал стоявшему на улице караулу под часы и вместе с тем предупредил бывшего в карауле фейерверкера, чтобы он их сохранял». Когда огонь стал приближаться к стоящим в карауле, деревянный ящик уберечь не удалось. Правда, на следующий день какой-то солдат принес Фирфарову несколько обгоревших томов¹⁴.

Возможно, это был дед Дмитрия Гавриловича Фирфарова.

¹⁴ Амирханов Л. Эхо пожара сказывается на истории Сестрорецка // Санкт-Петербургские ведомости. URL: https://spbvedomosti.ru/news/nasledie/ekho_pozhara/ (дата обращения: 29.09.2019).

Зато у нас относительно много информации о старших братьях доктора Фирфарова — Михаиле и Аркадии.

Михаил Гаврилович Фирфаров служил в пехоте, участвовал в Русско-японской войне, был ранен в сражении при Бенсиху 28 сентября 1904 г. в обе ноги и правую руку. За этот бой его 22-й Сибирский стрелковый полк был награжден знаменем с упоминанием этой битвы. По состоянию на 1910 г. М. Г. Фирфаров являлся штабс-капитаном по адмиралтейству¹⁵.

В Интернете есть два замечательных фотоизображения Михаила Гавриловича, которые явно выдают родовые черты Фирфаровых: он очень похож на своего младшего брата. На первой фотографии 1903 г. он подпоручик 92-го Печорского полка. Весь его вид говорит о том, что он еще не слышал грохота разрывающихся вблизи снарядов. На втором фото, сделанном, по всей видимости, немногим позже его ранения, уже немолодой вояка в папаше словно говорит нам, что что-то он о жизни знает... И о смерти, вероятно, тоже.

На различных интернет-форумах порой всплывает информация о Михаиле Гавриловиче Фирфарове. Интересным кажется тот факт, что его жена была восприемницей ребенка одного из офицеров во Владивостоке в 1915 г. По всей видимости, Михаил Гаврилович служил в этом городе во время Первой мировой войны, а может быть, и вовсе не уезжал с Дальнего Востока после японской кампании 1904—1905 гг. В дальнейшем его следы теряются как раз там — на побережье Тихого океана.

Вообще, семья Фирфаровых связана с океаном невидимой нитью. Особенной была эта связь у старшего брата — Аркадия Гавриловича. Он окончил техническое училище, но стал не просто инженером, а офицером флота. Сначала он служил в Балтийском флоте, затем на Тихом океане, а потом начался очень длинный и очень холодный этап его жизни. С 1911 по 1915 г. он принимал участие в гидрографической экспедиции по исследованию Северного Ледовитого океана, в ходе которой был открыт Таймырский архипелаг. Одному из мысов острова Малый Таймыр, что в море Лаптевых, в 1913 г. присвоено название — мыс Фирфарова¹⁶.

Жизненный путь Аркадия Гавриловича заслуживает более детального рассмотрения, поскольку весь его труд олицетворяет лучшие качества не только русского офицера, но и профессионала, желающего постоянно улучшать результаты своей деятельности и готового приложить для этого немало сил.

К моменту начала экспедиции на Таймыр он обладал не только отменной профессиональной подготовкой, но и ярко выраженным характером флотского офицера. Как судовой механик, Аркадий Гаврилович должен был поддерживать корабли в рабочем состоянии. Задача, выполнить которую непросто в условиях Севера и резко ограниченных ресурсов экспедиции, была решена механиком Фирфаровым на «отлично».

Писатель Никита Кузнецов в книге «Забывтые герои Арктики. Люди и ледоколы» приводит текст представления к производству А. Г. Фирфарова за заслуги с отличием в чин инженера-механика и капитана 2-го ранга:

¹⁵ Михаил Гаврилович Фирфаров // Офицеры РИА. URL: http://www.ria1914.info/index.php?title=дата_обращения:29.09.2019.

¹⁶ Фирфаров Аркадий Гаврилович // Полярная почта. URL: <http://www.polarpost.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=5583> (дата обращения: 29.09.2019).

Произвел средствами машинной команды с наступлением зимы весь текущий ремонт в пределах обычных работ Владивостокского порта, перебрал все механизмы, произвел огромную работу по укреплению сломанных и погнувшихся шпангоутов, водонепроницаемых переборок и других повреждений, причиненных напорами льдов. Летом 1915 года много труда положил на заделку пробоины, полученной при сидении на камнях. Его знания, опыт и усердие предотвращали всякие поломки и неисправности механизмов при всех случайностях 17-месячного плавания и полярной зимовки. Лично его заботам обязан «Таймыр», что с поврежденным корпусом, малым количеством угля и с обломанными всеми лопастями гребного винта выбрался из района льдов и благополучно дошел до порта¹⁷.

Помимо присвоения звания капитана 2-го ранга за эту экспедицию А. Г. Фирфаров получил также орден Святой Анны 3-й степени.

После экспедиции Аркадий Гаврилович Фирфаров оказался в Сибири. Как его, капитана 2-го ранга, флотского офицера, не расстреляли сразу после установления советской власти? Не знаю. Возможно, Аркадий Гаврилович просто привлек власть своими знаниями, потому что особо острой оказалась проблема кадров на стыке 1910—20-х гг. Кто-то должен был учить и передавать опыт, решать важные задачи. Аркадий Гаврилович для этой работы хорошо подходил.

Потрудившись короткий период времени (январь — март 1919 г.) в Томске начальником машинно-моторной школы Морского ведомства, Аркадий Гаврилович Фирфаров вновь устремился на Север.

Что там, в Обской губе? Могут ли пройти там морские суда? Такие вопросы ставила перед собой организованная только что созданным Институтом исследований Сибири экспедиция Д. Ф. Котельникова. В 1919 г., в год разрухи и нестабильности в Сибири, А. Г. Фирфаров вновь отправился в уникальное научное путешествие в Обскую губу на борту «Енисей». Задача — определить судовой ход в этом районе как части Северного морского пути.

Позднее А. Г. Фирфаров поселился в Новониколаевске и устроился работать инженером. Со своим братом Дмитрием он виделся постоянно.

Здесь наша история сделала круг и даже один шаг назад, к Обществу изучения Сибири и ее производительных сил. Вероятно, по просьбе Дмитрия Гавриловича его брат согласился рассказать желающим о своих путешествиях. «Советская Сибирь» в своей заметке об этом мероприятии утверждает, что доклад привлек большое количество слушателей¹⁸.

Еще бы! Не каждый день можно услышать рассказ человека, который открывал архипелаги в самом холодном из мировых океанов и в честь которого назван географический объект!

Как человек в высшей степени образованный, А. Г. Фирфаров начал свой доклад с истории исследования побережья и самого Северного Ледовитого океана, а потом поведал и о своем опыте открытия морских путей, осмотре новых земель и их пород.

Оказавшись на новой должности, А. Г. Фирфаров энергично влился в сложный процесс становления советской промышленности. В газете «Советская Сибирь» присутствует множество упоминаний о различных аспектах его работы.

В 1927 г. им была опубликована заметка по вопросу премирования рабочих за экономию теплоэнергии. Аркадий Гаврилович убедителен в своей

¹⁷ Кузнецов Н. А. Забытые герои Арктики. Люди и ледоколы. — М., 2018. — С. 518.

¹⁸ На Ледовитом океане // Советская Сибирь. 1925. 13 мая.

аргументации, призывая премировать не только кочегаров, но и специалистов, занимающихся обслуживанием тепловых машин, поскольку хорошо работающий механизм сам по себе позволяет экономить уголь¹⁹.

В 1928 г. Аркадий Гаврилович стал объектом анонимного обвинения, напечатанного в той же «Советской Сибири». Он отправился в Ленинград для покупки паропроводов к новой силовой станции Яшкинского цементного завода. Инженер отсутствовал два месяца, но вернулся без проводов и даже не заказал их. Аноним обвинил его в некомпетентности, а подобное обвинение через крупную газету в советское время могло не только поставить крест на карьере, но также стать поводом для возбуждения дела и проведения пристрастной проверки²⁰.

Впрочем, спустя некоторое время в газете появилась статья, в которой сотрудники новосибирской инженерно-технической станции защищали своего коллегу: «Обвинение тов. Фирфарова в некомпетентности лишено серьезных оснований и свидетельствует лишь о том, что автор заметки не осведомлен ни о квалификации инженера Фирфарова, ни о его работе в Крайсовнархозе». Дальше упоминаются командировки А. Г. Фирфарова на Черногорские копи и в Барнаул, в ходе которых работа местных паросиловых установок была налажена и оптимизирована. Неудача же поездки в Ленинград объяснялась долгой перепиской и неясностью позиции треста «Красный строитель» в вопросе приобретения паропроводов²¹.

К сожалению, уже через год, в период общего ужесточения политики «закручивания гаек», А. Г. Фирфаров попал под каток «Советской Сибири». Ему был нанесен такой мощный удар, оправиться от которого он уже не смог. Инженерно-техническая станция Крайсовнархоза, где трудился исследователь холодных морей, была атакована областным изданием. Сначала критике подвергся инженер Баранов, поставивший под сомнение переход на пятидневную рабочую неделю при семичасовом рабочем дне. «Даже в Англии нет такой кабаль!» — возмущался инженер.

Следующий удар пришелся по А. Г. Фирфарову, избранному в числе шестерых работников Крайсовнархоза для отправки на предприятия и отказавшемуся от этого. Аркадий Гаврилович мотивировал свой отказ тем, что главный инженер Семейкин, выбравший его для освобождения от работы в Крайсовнархозе, имел к нему личные счеты. Автор статьи замечал: «Да разве можно считать унижением посылку на производство? Специалист, преданный делу социалистического строительства, это сочтет за проявление доверия в деле укрепления производственного фронта, осуществления быстрых темпов индустриализации. Поэтому отказ от поездки на предприятия нельзя иначе назвать, как нежеланием помогать рабочему классу строить социализм». Контрольным выстрелом послужила карикатура на Аркадия Гавриловича, иллюстрирующая статью. На этом А. Г. Фирфаров как советский инженер закончился²².

Конечно, два брата — Дмитрий Гаврилович и Аркадий Гаврилович — жили в Новосибирске не одни. У них были семьи.

Интересная история о детях героев нашего повествования запечатлена в «Советской Сибири». В 1926 г. в Новосибирске собирали деньги на строитель-

¹⁹ Премирование рабочих за экономию угля // Советская Сибирь. 1927. 26 августа.

²⁰ Инженер Фирфаров не компетентен? // Советская Сибирь. 1928. 18 августа.

²¹ Письмо в редакцию // Советская Сибирь. 1928. 9 октября.

²² Местком и ИТС Крайсовнархоза не организовали отпора реакционным выступлениям группы специалистов // Советская Сибирь. 1929. 22 ноября.

ство Дома беспризорника, и сын Аркадия Гавриловича — Кирюша Фирфаров, как он ласково поименован в газете, последовал примеру своего дяди и внес 50 копеек на строительство. Через газету он призвал поступить так же сына Дмитрия Гавриловича — Колю Фирфарова.

Возможно, история, произошедшая в 1929 г., нанесла удар по семье Фирфаровых. Во всяком случае, след Аркадия Гавриловича в это время теряется, и есть информация, что он умер в эмиграции. Как он попал туда и куда конкретно попал — не совсем понятно, а это очень важно для продолжения моего рассказа.

То был сложный период времени, хотя в истории России простых периодов не бывает в принципе. Новосибирск рос огромными темпами, осваивалось и развивалось новосибирское Левобережье, строились, как гласили агитационные плакаты, «новые гиганты» — многоэтажные здания вокруг стареньких деревянных домов. По городу начал курсировать трамвай и разноцветные автобусы.

Врач Дмитрий Гаврилович Фирфаров все так же надевал свою шляпу и ходил на работу. В его доме по улице Щетинкина, 7, который сейчас уже много лет как стерт с лица земли, наливали чай и, может быть, ели пряники. Про этот долгий период с 1929 по 1937 г. мне сказать нечего. Коллективизация захватила страницы «Советской Сибири». История молчит, и, может быть, в этом есть какая-то логика. Должно же у вещей, событий и людей быть право на забвение? Или нет?

* * *

Возможно, кто-то из читателей знаком с моей книгой, посвященной судьбе первого новосибирского врача Ивана Ивановича Абдрина, но уверен, что большинство — нет.

Врача И. И. Абдрина расстреляли в 1937 г. «Дедушке новосибирской медицины» на тот момент исполнился 71 год, по состоянию здоровья он был переведен на должность врача-консультанта железнодорожной больницы.

Я догадывался об исходе жизни И. И. Абдрина с самого начала своего исследования: ну куда еще мог пропасть известный в городе человек, не оставив абсолютно никаких следов конца своего существования?

Но я помню день, когда я документально убедился в том, что он расстрелян.

Это был зимний день 2015 г., и мне удалось перед началом занятий в университете попасть в музей железнодорожной больницы. Когда по дороге к музею я спросил сопровождавшую меня бабушку — ветерана больницы, куда поведася И. И. Абдрин, она остановилась и шепнула:

— Его расстреляли как врага народа.

Меня одновременно охватило чувство разрешенной загадки и холод ужаса от того, как она мне это сказала. Словно эхо репрессий бесцветным туманом пронеслось перед моими глазами.

Мы остановились перед коллективной фотографией работников «железки» 1930-х гг.

— Это Иван Иванович Абдрин. Это его сын Николай Иванович, это врач Дмитрий Фирфаров. Его тоже расстреляли, — она показывает на фото.

Д. Г. Фирфаров тогда заинтересовал меня своей внешностью и тем, как у него на фотографии сложены руки. Словно он шел мимо и куда-то спешил: к пациенту, на очередную встречу. Так выглядят люди, которые все время куда-то торопятся и у которых очень много дел.

Потом я увидел газету и список реабилитированных, еще фотографии...

В холодный пустой тринадцатый автобус, идущий до педуниверситета, я сел с чувством какого-то внутреннего опустошения, как будто сделал что-то важное. Потом мне стало понятно, что кто-то должен помнить тех, кого намеренно забывают, в этом есть справедливость.

* * *

Дмитрий Гаврилович Фирфаров вернулся ко мне неожиданно, как возвращается бумеранг, запущенный несколько лет назад и, казалось бы, давно потерянный.

Когда я готовил эту статью, мне хотелось узнать об именованном когда-то враче больше. Познакомиться с его родными, друзьями, послушать его собственный голос и окончательно реабилитировать перед Новосибирском уже не юридически, а духовно. По этой причине я решил ознакомиться с уголовным делом, по которому преследовался Д. Г. Фирфаров в 1937 г.²³

Достаточно сложно читать темные обвинения в адрес человека, истинная биография которого тебе уже хорошо известна.

Новосибирским врачам инкриминировалась подготовка к отравлению источников воды, специальному заражению людей после возможного нападения Германии и Японии.

Поводом для ареста Д. Г. Фирфарова послужили показания уже арестованных на тот момент бывшего заведующего Крайздравом, революционера по призванию и акушера-гинеколога по образованию М. Г. Тракмана, старого друга Фирфарова — И. И. Абдрина и других врачей, изобличающих Дмитрия Гавриловича как члена диверсионной террористической организации на Томской железной дороге. Ознакомившись с документами на нескольких человек, проходящих по одному и тому же делу, я могу с уверенностью утверждать, что врачи подписывали *уже заранее напечатанный* протокол с фамилиями коллег и делали это после предварительной подготовки, которая длилась несколько месяцев.

Ордер на арест Д. Г. Фирфарова был выдан 3 декабря 1937 г. В этот же день врач был арестован.

Интересен протокол обыска дома Дмитрия Гавриловича на ул. Щетинкина, 7. У него нашли бинокль, удостоверение 1886 г. (вероятно, выписка из метрической книги), пропуск в железнодорожную больницу, флаконы с разными лекарствами, документы, записи и множество фотографий. К сожалению, фотографии, изъятые в ходе ареста врачей, не сохранились, а как бы они могли оживить раннюю историю нашего города! По последней информации, они не поступали на хранение в архивы органов государственной безопасности.

Самым интересным документом в деле является протокол первого допроса Д. Г. Фирфарова, в котором он вполне искренне отвечал на вопросы следствия. Вот как он рассказывает о своей семье: жена Нина Васильевна — домохозяйка; дочь, 20 лет, Наталья Дмитриевна Фирфарова, студентка института в Ленинграде; сын, 17 лет, Николай Дмитриевич Фирфаров, учится в школе № 22; дочь, 11 лет, Людмила, учится в школе № 40. О своем образовании Дмитрий Гаврилович сообщил, что оно у него высшее — он окончил в 1911 г. Томский университет. Беспартийный. От советской власти наград не имеет, служил в Красной армии с 1918 по 1919 г., работая в военном госпитале в Новониколаевске.

²³ Архив УФСБ по Новосибирской области. Ф. 1. Д. 5768.

Помимо названных родственников, он упоминает также брата Петра Гавриловича Фирфарова (сведений о нем нет), живущего в Ленинграде, и племянника, сына покинувшего родину Аркадия Гавриловича — Кирилла Аркадьевича, который к тому моменту вырос и поступил в Ленинградский технологический институт.

Своими близкими знакомыми Дмитрий Гаврилович считал в основном врачей: Карпинского Н. П., с которым работал в первой городской поликлинике; Абдриных — отца и сына; пионера городской медицины Михаила Павловича Востокова, которого и сегодня помнят многие новосибирцы. С Карпинским Фирфаров был знаком еще с 1906 г., когда вчерашним абитуриентом впервые посетил лекцию в Томском университете, и поддерживал с ним знакомство до самого конца жизни (и конец этот был у них одинаковым).

Интересный вопрос, если можно вообще так выразиться в данном контексте, задали следователи по поводу фотографии, найденной в доме хирурга. На карточке работы фотоателье Яковлева был изображен чиновник в мундире и женщина:

— Кто это? Что за чин?

— Это мой отец Гавриил Михайлович Фирфаров с матерью. Отец имел звание военного чиновника, награжден высочайшими орденами. Он работал оружейным мастером на Сестрорецком оружейном заводе.

Дмитрий Гаврилович через несколько месяцев признал себя виновным, подтвердил, что старый доктор Иван Иванович Абдрин втянул его в террористическую деятельность и последние пять лет они вместе готовились вести бактериологическую войну против советского народа.

Единственное, в чем доктор Фирфаров не признал себя виновным, — это предательство Родины в пользу Германии. Следствие ссылалось на тот факт, что в начале 1930-х гг. он посетил квартиру немецкого консула, жена которого сломала ногу, и считало это достаточным «мотивом» для дальнейшей «террористической деятельности» врача. Но даже спустя несколько месяцев допросов Д. Г. Фирфаров не признал факта своего сотрудничества с Германией.

Его расстреляли 16 февраля 1938 г.

В 1956 г. дело было признано сфальсифицированным, и в ходе повторного рассмотрения были допрошены нерасстрелянные врачи, чьи фамилии были в списке, поданном Фирфарову и Абдрину на подпись: В. А. Стогов — знаменитый уролог, И. А. Истомина — однокурсник и коллега Дмитрия Гавриловича и другие. Все характеризовали Д. Г. Фирфарова только с положительной стороны, исключая любую возможность истинности предъявленных обвинений. Новосибирский областной суд постановил: дело за отсутствием состава преступления пересмотреть. Д. Г. Фирфаров был реабилитирован, как и другие врачи, в том числе и И. И. Абдрин. Но было уже непоправимо поздно...

Я вышел на улицу и вдохнул полной грудью теплый мартовский воздух. Под ногами появлялись и пропадали плиты бывшего Обского проспекта, Кабинетской и Тобизеновской... Наконец я пришел на улицу Барнаульскую (ныне улица Щетинкина), туда, где когда-то стоял дом хирурга Д. Г. Фирфарова. Теперь здесь автомойка. Машины ждут своей очереди под голубым новосибирским небом.

Нет больше «Нерчинских, Обдорских, Енисейских», как писал новосибирский поэт Юрий Магалиф. Нет даже могил тех, за кем в 1937 году приехал «черный воронок».

На сайте findagrave.com обнаружилась информация о захоронениях Нины Васильевны Фирфаровой (Зориной), умершей в 1979 г., Натальи Дмитриевны Фирфаровой, умершей в 2004 г., Николая Дмитриевича Фирфарова, умершего в 1998-м, и Людмилы Дмитриевны Гаркуши (Фирфаровой), умершей в 2011 г.

Все они покоятся в местечке Нант, штат Нью-Йорк, США, на православном кладбище. Как они оказались в Америке? Как им вообще удалось выехать за границу и обосноваться там?

Из информации, размещенной на этом же ресурсе, известно, что Нина Васильевна поселилась там в 1950 г. И сегодня в Америке проживают потомки Д. Г. Фирфарова, но уже с фамилией Garkusha — достаточно популярной в Нью-Йорке, если верить «Фейсбуку». Некоторые из представителей этой фамилии являются дипломированными врачами, но замкнутость круга или, если угодно, спирали меня уже давно не удивляет.

Р. С. В 1939 г., когда Д. Г. Фирфаров уже был расстрелян, Томский университет окончил молодой врач, звали его Николай Троицкий. В 1941-м он ушел на фронт, а 12 октября 1941 г. попал в плен, но выжил и оставил воспоминания.

2 марта 1942 г. Вышли на двор, там уже стоят два конвоира и пять человек наших, судьбе которых не позавидуешь. Это были: Борис Львович Слободской — врач-хирург, доцент Харьковского медицинского института. Типичный еврей. Затем заведующий лагерьной аптекой Соколов, тоже еврей. Потом мой товарищ и ровесник по годам, инженер по образованию, Кирилл Аркадьевич Фирфаров. Он был, по-моему, русский, и в эту историю влип из-за своей фамилии. Отчего влип я в эту историю, мне тоже не совсем понятно.

После допроса некоторых пленников оставили ждать расстрела, но Троицкого эта участь миновала:

Меня вывели на улицу.
Там уже стоял Кирилл Аркадьевич Фирфаров.
Немец скомандовал:

— Пошел!

Мы неторопливо пошли.

Но куда нас ведут?

Сначала вышли из лагеря. Примерно в километре от лагеря дорога разветвляется. Одна — направо в наш лазарет, а другая — налево в лесочек за бугорочек, где, как мы знаем, каждый день поутру раздаются автоматные очереди.

Это называется «особое обращение» или «оздоровление обстановки».

Вот осталось десять метров до развилки. Вот пять. Два метра. Вот она, развилка. Куда погонит нас немец? Направо — к смерти. Налево — к жизни, хотя и собачьей, но к жизни.

Завернули направо. Немец молчит. Ну, значит, еще проживем.

Взяли нас шестерых. Вернулись двое²⁴.

Дальнейшая судьба Кирилла Аркадьевича Фирфарова неизвестна.

Автор выражает благодарность за помощь в подготовке данного материала Р. Э. Петрову, сотрудникам архива УФСБ по Новосибирской области, а также Маме и Кристине.

²⁴ Троицкий Н. А. Тяжелые сны. — Красногорск, 1998. — С. 103, 128.

*Новосибирскому государственному
краеведческому музею — 100 лет*

АНТОН РУБШЕВ

«БЕРЕМ МЫ С ВЛАДИМИРОМ ПО ОДНОЙ И ПО ПОСЛЕДНЕЙ “ЛИМОНКЕ” ...»

...Вот уже 75 лет мы храним память о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, мы гордимся мужеством и героизмом поколения, сумевшего спасти нашу страну и весь мир от фашизма, но с каждым годом становится все меньше и меньше участников и очевидцев тех трагических событий. Они уходят, унося с собой воспоминания...

Поэтому особую важность приобретает сохранение, изучение и публикация источников личного происхождения, к которым относятся и письма 1941—1945 гг., являющиеся незаменимым ресурсом при изучении периода Великой Отечественной войны: фронтовой быт, семейные взаимоотношения, психология общества в то время — читая письма, мы видим все это глазами участников и очевидцев.

В фондах Новосибирского государственного краеведческого музея хранится более 270 писем военных лет, и это очень разные экспонаты: письма-треугольники, письма, написанные на типографских бланках («воинское письмо»), почтовые карточки, талоны к переводам денежных средств с короткими записками. Коллекция начала формироваться в конце 1950-х гг. (первое поступление датировано 1957 г.) и постоянно пополняется до сих пор. Подавляющее большинство имеющихся документов — письма с фронта, а вот писем на фронт сохранилось гораздо меньше, ведь сберечь их в условиях боевых действий не всегда представлялось возможным. Наибольшую ценность представляют эпистолярные комплексы, включающие письма, написанные одним автором, переписку между родственниками и письма разных авторов, адресованные одному лицу, — это позволяет увидеть объемный образ «человека войны» с его характером, чувствами, отношением к происходящему.

В данной статье представлен лишь краткий обзор коллекции с цитированием наиболее интересных, информативных фрагментов переписки (с сохранением орфографии и пунктуации оригиналов).

В состав фамильного фонда Степана Артемьевича Ильина входит переписка с родными в годы войны (в музей письма переданы в 1981 г. его вдовой, Варварой Дмитриевной Богдановой-Ильиной), и особая ценность комплекса в том, что кроме писем с фронта самого Ильина имеются письма, отправленные на фронт его сыном Олегом (семь документов) и одно письмо от матери.

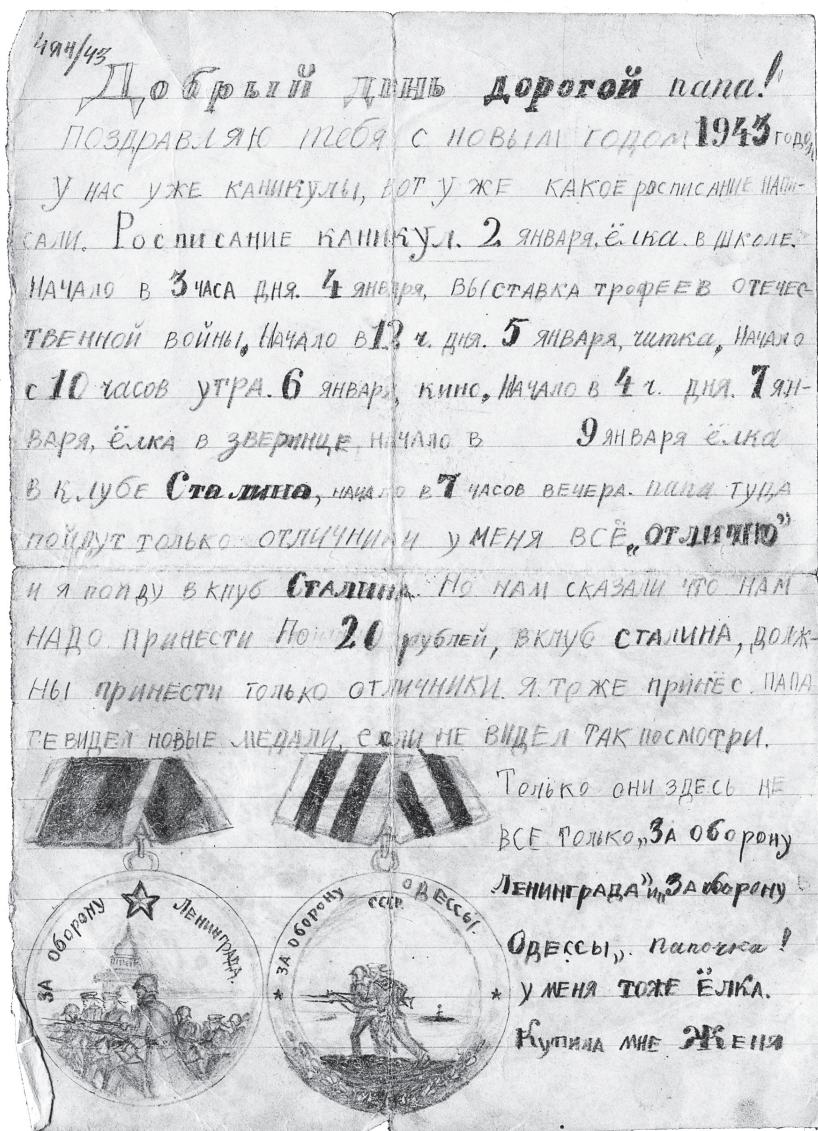
С. А. Ильин родился в 1903 г. в Новониколаевске — кадровый военный, в Красной армии с 1918 г., на фронте — с 4 октября 1942 г., гвардии подполковник, командир 258-го гвардейского стрелкового полка 56-й гвардейской Смоленской стрелковой дивизии.

Первое письмо Ильина родным датировано 24 декабря 1942 г. — в нем он сообщает о получении трех открыток, прочитать которые пришлось по пути на передовую, беспокоится о получении ранее отправленных родным денег и сообщает о представлении к правительственной награде: *«Читайте в газетах и на днях должны прочитать моя фамилия — я представлен к правительственной награде. Ну всего хорошего, Ваше задание выполнено с успехом»* (за умелое управление штабами частей в сложной боевой обстановке, стойкость в бою и проявленные мужество и отвагу С. А. Ильин 4 декабря 1943 г. награжден орденом Отечественной войны II степени).

Из переписки мы узнаем, что в Новосибирске у Ильина осталась семья: жена, двое сыновей, Олег и Игорь, мать и отец. Старший сын, Олег, в 1942 г. учился во втором классе, был отличником, хорошо рисовал, коллекционировал марки. Отец писал ему: *«Твой рисунок получил и очень доволен — нарисовал ты его хорошо. Показывал друзьям и все в восторге»; «Открытку и письмо от тебя получил и горжусь тобой, что ты такой умница: отличник, пишешь хорошо, рисуешь прекрасно, стихи сочиняешь отлично, но вот насчет художественных способностей еще не знаю, разве по радио когда выступишь»*, — а сын отвечал: *«Папа я коплю марки. У меня зарубежных 50 марок, а советских 333»*.

В своих письмах к отцу Олег (Алик, как ласково называли его в семье) делится новостями: *«Я не давно получил табель на родительском собрании. Я же всю первую четверть получил отлично и по арифметике, по письму, по естествознанию, по географии, по военному делу и по поведению»*, а в письме от 4 января 1943 г. знакомит отца с расписанием праздничных новогодних мероприятий: *«2 января, елка в школе. Начало в 3 часа дня. 4 января, выставка трофеев отечественной войны. Начало в 12 ч. дня. 5 января, читка. Начало с 10 часов утра. 6 января, кино. Начало в 4 ч. дня. 7 января, елка в зверинце, начало в... 9 января елка в клубе Сталина, начало в 7 часов вечера»*.

На елку в клубе Сталина были приглашены только отличники, в их числе и Олег: *«...у меня все "отлично" и я пойду в клуб Сталина...»*; в этом же письме он сообщает и о своей елке: *«Папочка! у меня тоже елка. Купил мне Женя за 50 рублей. Жаль что только ты не сможешь ее посмотреть. А я бы все на свете, все елки и подарки отдал, только бы ты был со мной»*, пишет о том, что выучил новые песни: *«Я выучил с Женей новые оборонные песни: "Мишка" "Только на "фронте" "Серенада о трех "завоевателях" и другие. Игорь у нас уже умеет танцевать»* — и спрашивает отца, проходят ли у него концерты.



Отец в письме от 30 января 1943 г. отвечает так: «...что касается концертов, то у нас Алик “концерты” бывают круглые сутки. То минометы завывают, то пушки грохочут, то самолеты трещат и “гостинцы” сбрасывают, а то автоматы запоют или вот у нас есть “катюша” как запустить к фрицам стальных канфект так небу жарко становится не только земле. Одним словом “концерты” непрерывны».

С. А. Ильин был дважды контужен — в декабре 1942 г. и в марте 1943 г., а с 20 мая по 15 октября 1943 г. находился на излечении в Урологической клинике I Московского ордена Ленина медицинского института и после выздоровления, отказавшись от прохождения медкомиссии, вернулся в часть. Олег беспокоится о здоровье отца: «Дорогой папочка пиши чаще, как себя ты чувствуешь, болит ли нога и спина? Целую тебя, твой Алик Береги себя», а в рапорте 2 «А» класса, написанном Олегом и отправленном на фронт отцу, говорится об успехах в учебе и сборе средств для Красной армии: «Сдали 301 руб. на самолет. Собрали и сдали 46 бутылок, 46 кисетов, и 21 иголку. Инне Капитоненко унесли передачу в больницу. Сделали 2 альбома





посвященные Р.К.К.А. Выпустили стенгазету». Все письма (за исключением одного) Олег дополняет своими рисунками — в письме от 4 января 1943 г. он нарисовал новые медали: «...папа те видел новые медали, если не видел так посмотри. Только они здесь не все только "За оборону Ленинграда" и "За оборону Одессы"», в других письмах — рисунки красноармейца, карикатуры на Гитлера и немецких офицеров, рисунок «Война в Италии».

В ответных письмах подполковник Ильин рассказывает родным, что «свои именины я здесь справили в блиндаже при капitulке. Без 5 минут 12 часов наши дали немного жару немчуре и затем завезалось дело до 4 часов утра. Так что твое задание выполняется», сообщает о присвоении в апреле 1943 г. 56-й стрелковой дивизии звания гвардейской: «Аля мы теперь уже гвардия! вот и оправдали доверие сибиряков», а на просьбу сына прислать трофейное оружие отвечает: «Вот уж насчет немецкого автомата могу сказать одно, взяли у них много, а переслать не могу тебе. Придется тебе дожидаться до окончания войны».

Из писем Олега видно, с каким вниманием родные в тылу следили за ходом военных действий: «Мама купила большую политико-административную карту с.с.с.р. за 6 рублей. Мы сделали для нее маленькие флажки и втыкаем их в города которые берут наши войска»; «Ты папочка пишешь что уже приехали на старые места, где были в прошлом году. Наверное, вы под "Великими Луками". Я предполагаю, что оборона в районе "Новосокольники"

прорвана нашими сибиряками-гвардейцами»; «Сейчас ежедневно Красная Армия одерживает все новые и новые победы. Сегодня опять сообщили радостные вести о взятии города Лида, ведут уличные бои в городе Вильнюс (Вильно). А вчера взяли город Баграновичи. Меня интересует где ты находишься в Ново-Ржеве или в другом месте. Наверное уже вы брали город Полоцк»; «Папа, сегодня взяли Псков. По моему ты находишься на 1 ом Прибалтийском фронте».

Сын с нетерпением ждет отца: «Когда же тебя, папа, ждать домой? Конечно, даже ты не сможешь ответить на этот вопрос. Но все же, все говорят что к маю война закончится. И ты приедешь к нам. Как мы с Игорем будем тебя встречать! Вот баба будет тебе пироги печь и плакать от радости, а мама тоже поплачет с счастья»; «Игорь тебя тоже ждет. Ежедневно спрашивает — когда папа приедет. И мечтает что ты ему шоколада привезешь»; «Скоро праздник Красной Армии. Поздравляю тебя с праздником и желаю успехов в твоей работе. Ну уж май (праздник) вместе будем праздновать. К этому времени ты должен приехать обязательно».

Долгожданная встреча не состоялась — отец погиб 2 августа 1944 г., а за несколько дней до смерти, 27 июля 1944 г., был подписан приказ о его награждении орденом Боевого Красного Знамени.

Последнее письмо от Олега датировано 23 июля 1944 г., и большая его часть содержит краткий пересказ последних политических новостей: «В эти

Рапорт 2 кл. "А".
Всего учащих 49 человек. Детей фронтовиков 20 человек. Успешность 91 и 9 десятая. Процент отличились к дню РККА., Дерягин А., Ильин П., Новикова М., Батюшкова П., Брудна И., Потаповский Иосиф.
Сдали 301 руб. на самолёт.
Собрали и сдали 46 бутылок, 46 кисетов, и 21 иголку.
Илья Капитоленко унесли передачу в больницу. Сделали 2 альбом посвящённые РККА. Выпустили 2 газеты.
2-я звездочка получила похвальную грамоту.
Федоров сдал облигаций. Писания на 145 руб.
Проверили договор о сотрудничестве с 2 кл. "Б".
Оба класса работали хорошо

дни очень хорошие вести: позавчера французскими патриотами был украден Лаваль вместе со своим сыном, когда он вышел на прогулку. Сегодня же было покушение на Гитлера с помощью взрывчатых веществ», а в заключении коротко сообщается о событиях в семье: «У нас все хорошо с 1 го августа еду в лагерь. Шура уехала в Красноярск у Нелли родился щененок. Мы его назвали Лорд. Все так же. Игорек большой — хороший, только непослушный».

На оборотной стороне письма, где Олег написал адрес, дописано карандашом: «3.8.1944 г. получили при похоронах Вашего папаши Миша Василий».

Гвардии подполковник С. А. Ильин был похоронен у деревни Калу (Лубанский район Латвийской ССР), а позднее перезахоронен на воинском кладбище г. Балвы (Балвский район Латвийской ССР).

* * *

Комплекс писем (52 документа), написанных с фронта Анатолием Антоновичем Медляком, адресован родителям, сестрам и другу в Новосибирск.

А. А. Медляк родился в 1924 г. в Омске, позднее вместе с семьей проживал в Новосибирске, на Ядринцевском спуске. Был призван в армию Центральным райвоенкоматом Новосибирска 11 августа 1942 г., на фронте — с 4 апреля 1943 г., сержант, воевал на Западном фронте в составе 774-го стрелкового полка 222-й стрелковой дивизии, 17 августа 1943 г. награжден медалью «За отвагу». Из наградного листа, опубликованного на сайте «Память народа»: «...в наступательных боях в августе месяце 1943 года неоднократно ходил в разведку по установлению нумерации действующей против нас части и установлению переднего края и несмотря на непрерывный огонь противника, поставленную задачу выполнил точно и своевременно. Им были захвачены документы на территории, занятой противником, устанавливающие нумерацию частей».

В письмах Анатолий Медляк вспоминает жизнь до войны: «Да мама хорошая была у нас семья но видно так нужно что вся семья раскололась и разлетелась как от разрыва снаряда. Но ничего войну кончим Может быть кто нибудь да вернется»; «Да как бы хотелось побыть с полчаса в Новосибирск. Ну ничего мы еще с Тарзаном поохотимся».

Часто в письмах видно беспокойство о материальном состоянии семьи: «Мама ты пишешь что папа зарабатывает хорошо я очень рад думаю что денег достаточно чтобы питаться прилично. Мама помнишь ты мечтала "Когда же мы поживем вдвоем" а теперь уже в попятные когда же будем все вместе?»; «Мама мне ничего ни покупайте и не заказывайте лучше побольше на питание нажимайте а я жив буду заработаю».

Одна из сестер плохо учится в школе, и в письмах к ней Анатолий ругает ее, дает наставления: «Вчера я получил от Мама письмо в котором она сообщила мне что ты или осталась или не здала испытания по одному предмету наверное по русскому яз. Вот уже этого то сюрприза я не ожидал от тебя ты должна дать мне слово что на осенних испытаниях здашь предмет на отлично ясно а если останешься тогда смотри не сердись на меня сейчас я тебе пишу а тогда буду ругать ясно?», а в письме к другой сестре добавляет: «А Наде передавай что если она так будет учиться то я ей и письма писать не буду».

Беспокоится Анатолий и о здоровье матери: «На днях получил письмо от Вали Зои и Мама из Калачинска и в их мамину фотокарточку уж очень она изменилась. Я сперва ее не узнал похудела здорово. Ведь вас сейчас мало только поправляться а вы худеете да болеете так нельзя»; «Мама ты пишешь что даешь волю своим слезам я тебя прошу не плакать тебе еще нужно здоровье ведь у вас еще на плечах Надя а ей по меньшей мере надо еще 3 года А обо мне хоть плачте хоть не плачте не поможет. А кто знает может буду еще жить».

Встречаются в его письмах к родным и краткие описания фронтовых будней: «Вчера поймали 9 перебесчиков которые бежали из немецкого плена в их числе один взятый под... ..говорят что у немцев паника Каждый день у них убегает 25—30 человек, а это как говорится нам на руку, чем больше бегут тем быстрее разобьем»; «Да мама хороший был товарищ по оружию Иван Глазков. Мы еще в училище вместе с ним были но что же поделаешь ведь война. Правда не знаю кто виноват он или мы Может даже мы потому что когда его несли Но ведь это было не в Новосибирске а под пулями так что осторожно нести его было нельзя. Он умер уже в госпитале»; «У нас дела хорошие даже отличные если будет так продолжаться то можно надеяться что фюреру Адольфу придется на зиму заказывать теплую квартиру из которой нет возврата»; «Ну мама дела у нас хорошие фрицы уже не хотят брать Москву а пытаются всеми силами удержаться да не тут то было».

А вот в письме другу Александру сержант Анатолий Медляк уже достаточно подробно описывает случай из боевой практики: «Ну так дает значит нам задачу командир привести “языка” — то есть понимать пленного. А назначалась “разведка с боем” т. е. не тихо как всегда или зачастую делает разведчики а наоборот с “громом и молнией”. Ну мы вышли, залегли метрах в 300-х от проволоки ну в игре участвовало более 60 человек. Когда мы выдвигались нас заметил немецкий секрет и начал пулеметный и минометный обстрел минут 15—10. Мы лежали спокойно и фриц успокоился. Пролежали мы часа полтора. Слышим по цепи передают команду двигаться на сближение поползли метров 50—60. Команда “встать — вперед” встали пошли автоматы на боевом а в захват группе какой-то дурак запнулся упал и дал выстрел а за им другой. Пришлось открыть огонь метров с 200 бежим и строчим а фриц молчит видно жарко стало от нашего “огонька” добегаем до проволоки бросили по гранате — молчит Набросили плащпалатки перелезли проволоку — опомнился но поздно бросили по гранате в огневые точки и в траншеи к фрицам я лег на бруствер такое было приказание лежу смотрю с права метров 30 застрочил пулемет развертываюсь пустил 3-ю гранату и Вова Чернышев бросил туда же замолчал. Вдруг надо мной два автоматчика а у меня отказал автомат — травинка попала и мешает затвору и некогда устранять задержку. берем мы с Владимиром по одной и по последней “лимонке” и к фрицам их чтобы они не горячились “ну ты сам знаешь что лимон в жаркое время охлаждает здорово” Ну и здесь подействовало на фрицев тоже остыли ну а захватчики уже с фрицем закончили одного убили, который был здоровый а поменьше увели сигнал отходить “наши проволоку уже разворотили” мы побежали перебежками обратно больше нам нечего делать тут уже окончательно опомнился фриц



начал из минометов лупить бежишь а она пищит лягешь а она бах — встал и дальше и опять так же начал он обстреливать сильнее лег я в воронку и лежу вот окончил он стрелять пополз дополз до кустов встал и пошел в свои траншеи уже часов в 7».

А в следующий раз, видимо отвечая на рассказ о тыловом досуге, пишет: «Саша я тоже за исключением вчера и сегодня хожу каждый день в кино только не зрителем а артистом правда у нас веселее потому что экран открытый и места без билетов».

Последнее письмо сержанта А. А. Медляка датировано 10 октября 1943 г., а 20 октября 1943 г. он погиб и был похоронен в деревне Ленино (Горецкий район Могилевской области Белорусской ССР). Родителям же пришло письмо, написанное 24 октября 1943 г. другом Анатолия: «...я вам хочу сообщить нерадостную вещь как для меня так и для вас про вашего сына Анатолия. 20 октября его сильно ранило он умер после ранения он еще жил часа 3. Умер уже в санроте я лично видел и похоронил поставил памятник и звезду».

* * *

У нас есть и два письма, разделенные долгими годами войны, — одно из них написано 23 июня 1941 г., и это самый ранний из фронтовых эпистолярных документов в коллекции музея. Автор, младший сержант Валерий Павлович Шушканов, сообщает родным о начале войны: «Здравствуй мама! Извини, что пишу не разборчиво. В вагоне очень трясет. Еду пока благополучно. Последние известия конечно слышал. Германия объявила войну СССР. Ну и что же? Повоеюм! Только не беспокойся Мамаша!»

В. П. Шушканов служил стрелком-радистом в 137-м Краснознаменном полку фронтовой (тактической, ближней) авиации, совершил 24 боевых вылета, награжден медалью «За боевые заслуги» и погиб 14 марта 1942 г. в возрасте 22 лет; похоронен на кладбище ст. Африканда (Мурманская область).

А второе письмо написано 2 мая 1945 г. и адресовано Валентине Викторовне Петуховой — в нем автор, Стольниц М. И., сообщает о взятии Берлина: «Сегодня радостный день для Армии и для всей страны, сейчас передали по радио радостную весть, волнующую и пьянящую — Берлин наш! Даже голова кружится. Теперь уж час победы недалек».

...В. В. Петухова с 1939 по 1944 г. была руководителем драмкружка при Доме художественного воспитания детей в Новосибирске, и в ее фамильном фонде хранится 35 фронтовых писем от бывших воспитанников.

«Кружковцы», как они себя называют, с большой теплотой вспоминают о довоенном времени: «Разве на этом клочке бумаги выразишь все те чувства и мысли, которые возникают у меня при воспоминании о тех счастливейших днях моей жизни, когда я был в ДХВД. И здесь, на фронте, в огне пожара, в грохоте разрывов, я с особенной любовью вспоминаю то время и Вас, Валентина Викторовна!»; «Я с неопикуемой радостью прочел Ваше письмо. Оно сохранило запах духов и повеяло на меня радостным, страстным, кипучим и волнующим прошлым — и будущим, Валентина Викторовна, — еще более возвышенным и чудесным будущим».

Даже среди ужасов войны «кружковцы» не забывают о своем увлечении театром и литературой: «В моей солдатской котомке вместе с необходимыми



вещами лежат пьесы Чехова и "Ромео и Джульетта". Товарищи подсмеиваются надо мной, но поверьте близость любимых книг придает мне больше силы, мне стыдно будет трусить и я ничем себя не опозорю»; «Я тоже между основным делом помаленьку "драматизирую". Недавно доставил несколько веселых минут своим товарищам-бойцам, сыграв "дурака" в скетче "Дурак". И радостно было слушать их смех и аплодисменты. Неплохо вышла у меня эта ролька: предстает перед немецким офицером этакий растяпистый, дружелюбный и болтливый парень, мгновенно вырастающий в народного мстителя-партизана. Плохо, что абсолютно нет материала. Я был бы рад, если бы получил от Вас какой-нибудь яркий и смешной скетчик». А немцы воспринимаются ими как враги русской культуры: «Я буду драться за то чтобы на наших сценах всегда играли Толстого и Чехова, Горького и Островского. Я буду биться всем, что у меня есть, буду грызть зубами тех кто хочет отнять у нас наш театр и литературу, тех кто хочет заплевать нас и вдавить землю»; «Ваш огонь горит во многих сердцах. Вы зажгли в нас неугасимое пламя великой любви к прекрасному, брызжущему жизнью и светом искусству. И эта любовь вошла неразрывной составной частью в нашу ненависть к фашистским озверевшим босякам, пытающимся свое кабанье тупоумие навязать всему человечеству. Я люто ненавижу их за нашу поруганную землю, а поруганная культура, искусство еще сильнее заставляет ненавидеть эту пьяную бандитскую орду».

Несмотря на военные тяготы, молодые люди верят в скорую победу и связывают свою жизнь с театром: «Жив, здоров с одной мыслью: скорее разбить гитлеровцев и одной надеждой с победой вернуться домой и стать одним из членов нашего молодежного Сибирского театра»; «А я Вам об одном хочу написать, что только смерть помешает мне быть на театре. Никакие невзгоды не сломят меня и не заставят забыть любовь к театру, привитую Вами. Я знаю что мы боремся и страдаем за лучшее будущее. Я пролил свою кровь и если надо отдам жизнь за то чтобы мои друзья говорили со цены словами Шекспира и Мольера, Горького и Чехова. Но умирать пока не хочется. Я еще хочу вылезти изпод стола Оргоном, хочу еще раз станцевать танец Эндрю Эгюйчика и хочу переиграть все возможные и невозможные роли»; «Началась боевая жизнь. Все шло гладко, но увы, как я вам говорил раньше, что мне в жизни не везет, так и случилось. Шибануло меня немного гранатой. <...> Провалился в больнице полмесяца. Потом ушел оттуда в свою батарею. Здоровье сейчас улучшается, рука заживает но мечта моя быть актером полетела в прах. Особенно Шекспир остался для меня неприступной стеной. Не будет тех уже движений что было. Ну ладно это письмо прочитайте и изорвите. Особенно чтоб не узнала об этом моя мать» (последнее письмо написано со слов раненого Б. Сухова его другом, о чем свидетельствуют строки в конце: «Пишет Вам письмо мой друг Володя. Когда я лежал в больнице, он очень заботился обо мне. Значит хорошие люди еще не перевелись»).

Среди писем, адресованных В. В. Петуховой, есть и написанное Игорем Михайловичем Попковым из Польши 7 ноября 1944 г., в котором он поздравляет Валентину Викторовну с 27-й годовщиной Октябрьской революции, интересуется делами в студии при театре (с 1944 г. В. В. Петухова — директор студии при «Красном факеле»), коротко рассказывает о себе: «Я служу

в артиллерийской гвардейской части радистом. Сейчас стоим на отдыхе, а потому и праздник проходит замечательно», вспоминает студию: «...у меня все время на уме студия», «У меня сохранилась тетрадь с ролями "Ломова" и "Красавчика" и теперь то я знаю их назубок». Завершается письмо так: «...я не смогу жить без театра разрешите мне надеяться, что я смогу после войны занять положенное место в вашем Театре». И через несколько лет после войны, в 1950 г., И. М. Попков пришел в театр «Красный факел», где проработал до 2004 г. и сыграл более 200 ролей.

* * *

Во время войны люди писали не только близким — писали врачам, чтобы поблагодарить за спасенную жизнь, и в семейном фонде хирурга, майора медслужбы Константина Георгиевича Сапожникова, служившего начальником I хирургического отделения эвакогоспиталя № 3609, сохранилось несколько таких писем: «Мы как тяжелобольные не можем забыть Вашей искренней заботы, мы не можем забыть и навсегда оставим в памяти родные лица тех людей с которыми мы на протяжении двух лет были связаны»; «...оставляя стены госпиталя не можем оказать себе в том, чтобы крепко пожать Вашу руку, в знак благодарности за чуткое отцовское отношение и умелое лечение».

Некоторые письма написаны уже после войны — например, вот это, датированное 1959 г.: «Вы мне спасли жизнь и восстановили большую часть моего здоровья. В сентябре или в октябре м-це 1942 года в октябрьском р-не в госпитале в момент после повышения вашей квалификации когда вы стали работать хирургом в день приезда какого то профессора который на обходе посулил мне при Вашем присутствии отрезать мое правое колено и эту операцию предлагалось вести непосредственно вам, но большое спасибо Вы мне этого ни сделали, а сделали удаление инородного тела в области правого коленного сустава после чего обошлось удачно хорошо воспалительного процесса не было и колено сохранено лично по Вашей инициативе и добросовестному труду за что и большая от меня Вам Константин Георгиевич благодарность. Таких как я нас было тогда 2 человека у одного вы удалили из коленного сустава гильзу от автомата, а у меня осколок мины».

* * *

Кроме фронтовых писем, в коллекции музея есть письма тружеников тыла. Среди них — переписка 1943—1944 гг. супругов Михаила и Веры Диомидовых. Михаил Диомидов участвовал в восстановлении Сталинграда, был инженером цеха изготовления механических конструкций, и в письмах, адресованных жене в Новосибирск, рассказывал о быте: «...тебе здесь быть сейчас никак нельзя, до того все здесь неприглядно, неудобно и не устроено, что ты только плакала бы»; «Одно из хороших то, что я получил на днях хорошие рабочие ботинки, одеваю их с вязанными носками и ноги сейчас совершенно не мерзнут. На днях получу комбинезон, и главинж пообещал, что как придет первая партия теплых вещей так я сразу же получу»; «...наша конторка представляет из себя половину вагона забитого с обломаной стороны

досками с прорезанным окошечком и дверью и поставленной железной печкой. Без нее (железной печки) мы бы сейчас пропали. Последние полторы недели дуют холодные северные ветры и по утрам на улице настоящие морозики».

А в письме от 8 августа 1943 г. Михаил пишет: «Меня временно поселили в комнате с семейными. Двое рабочих (один с женой, к другому скоро должна приехать с подсобного). Но я здесь проживу недолго — переведут в палатки, где и буду жить до наступления холодов, а затем обещают перевести в ремонтирующийся (хотя и очень медленно) четырехэтажный дом с отоплением, освещением и канализацией. Не знаю только отремонтируют ли его. Сейчас рабочие живут в землянках, палатках и трех неотстроенных одноэтажных домах размером с наши квартиры 13, 14, 15 с кухней и коридором». И в этом же письме читаем описание разрушенного города: «Выйдешь на крыльцо, глаз встречает только битый кирпич и среди него торчащие печи, да кругом на ветру шелестит сорванное и дырявое от пуль железо. А ветер здесь все время. Сейчас около дома стучат топоры — рабочие ремонтируют сами себе дом, дом — в котором уже два дня живу и я», — а в послании от 17 октября 1943 г. Михаил рассказывает об условиях труда: «Сейчас работа идет в две смены и весьма усиленно. Сейчас поступил крупный и спешный заказ, так что днем почти нет возможности присесть, а после ужина приходится навещать ночную смену. Домой прихожу уже около десяти часов и сразу спать».

Из писем Михаила мы сначала узнаем, что Вера беременна: «Я хочу быть с тобой, но я не хочу что бы ты была здесь, я даже об этом сейчас и не думаю. Мне хочется, что бы последние дни перед родами ты могла бы со мною быть, что бы я не давал тебе грустить и что бы когда ты будешь в больнице то думала бы, что я здесь с тобой почти, недалеко от тебя», а некоторое время спустя Вера, отвечая мужу, рассказывает об уже родившемся ребенке и бытовых проблемах: «Милый мой Мишутка, позавчера нашей маленькой дочке исполнился месяц, и я посылаю тебе посмотреть какие у нее волосики, отпечаток ножки и ручки»; «Девчушка такая веселая, большеглазая. У нее сейчас растут новые волосики, и ты знаешь, Миша, светлые. Ну, не очень белые, но светло русые, а родилась она с черными как смоль волосами. Похожа она на воробушка, такая же взъерошенная, толстенькая, смешная, быстрая»; «Вчера мама с Валеёй (меня они уже не берут с собой) поехали копать. Уехали они часов в 7 утра, а вечером мама пришла домой чуть жива. Я испугалась, когда увидела ее. Часто она приходила домой усталая и раньше, но такой как вчера, я ее еще никогда не видала».

* * *

Несмотря на то что письма, находящиеся в коллекции нашего музея, написаны людьми разного возраста, уровня образования и социального положения, для них характерен ряд общих моментов — будучи оторваны от семьи, авторы писем мысленно с ней крепко связаны, и строки полны воспоминаниями о доме, вопросами о здоровье, жизни родных и близких.

В письме Владимира Петухова с фронта сестре от 12 января 1944 г. читаем: «Сейчас как-то особенно остро встают в памяти воспоминания о прошлом, каждое, самое незначительное событие вспоминается до мельчайших

подробностей и так хочется побыть дома, снова пожить спокойной веселой жизнью. Каждый из жителей нашей землянки до мельчайших подробностей знает биографию друг друга, кажется уже обо всем переговорено, но каждый вечер, как только собираемся все вместе, возникают в памяти все новые и новые случаи из жизни, и возникает непреодолимое желание их рассказать, поделиться с товарищами».

«Вы конечно обижаетесь что мол не пишем вам писем. Извините просто время нету. Днем занятия вечером темно. Очень даже вспоминаю о вас мои Родители, о доме. О том как проводил время а часто вспоминаю о том что готовили мамыны руки — покушать. Здесь я еще ничего не встречал чтобы было похоже», — пишет родителям в Новосибирск Л. А. Грехов в декабре 1942 г.

Солдат волновали вопросы обеспечения родных продуктами: «Как у вас дела с огородом? Растет что-нибудь?»; «За ваш обильный урожай, чрезвычайно доволен. Доволен и за то, что вы справились одни со всем тем, что выросло на ваших огородах. Да, теперь обеспечены на весь год овощами»; «...садили-ли, что в огородах. Если садили, то как прошла или проходит ваша посадка»; «Мама напишите мне как вы живете как картошку всю убрали дрова есть на зиму хватит или нет».

Особое внимание в письмах уделялось детям: «Мамчик! Ты пишешь что Гарик хочет поступить на завод. Это рассуждение ребенка конечно благодарное и хорошее, но с его здоровьем ему еще рано пусть пока хорошенько учится. Ему надо учиться. Мне очень приятно читать, что он имеет подсобное хозяйство, не знаю только каков у него урожай. Думаю, что не плохой. Он наверное работает на нем от души. Я мысленно представляю его за прополкой, вспотевшим, загоревшим, сосредоточенном на одном. Как хочется видеть Вас мои самые дорогие, близкие, родные, милые. Обнять крепко крепко и целовать без конца». Другие авторы интересовались жизнью родных городов и сел: «Папа, напиши как, проходит жизнь родного города Новосибирска. Как, проходит посевная, какая стоит погода, ходишь ли с Толлей рыбачить, был ли на охоте в нынешнем сезоне»; «Вообще опишите что за жизнь протекает у нас в совхозе, это меня очень интересует»; «Мама, сегодня прочел в своей местной газете "Полярная правда" Заметку как жители г. Кемерово послали подарки фронту и в том числе 100 тысяч сибирских пельменей! Так радостно за своих земляков! Приятно услышать о тех местах где я прожил все детство и где я кончил школу».

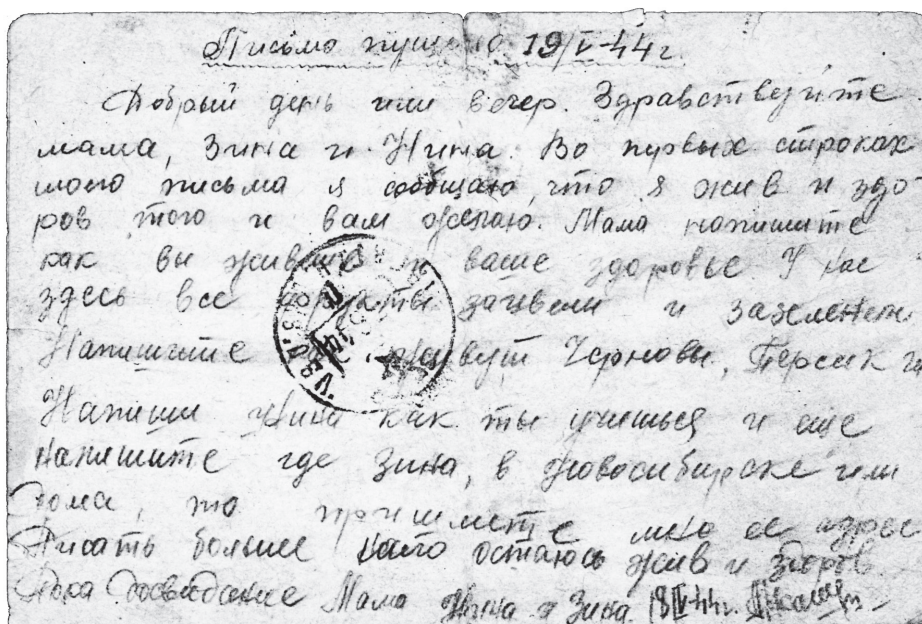
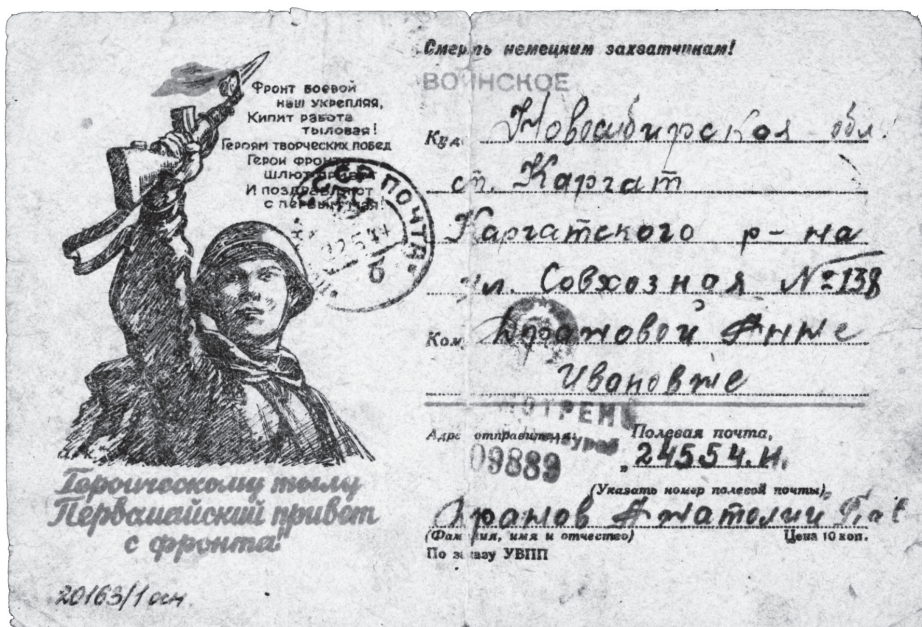
Стремясь принять участие в жизни семьи и близких, авторы писем дают советы, наставления: «Мамочка! Ты пишешь, что ищешь возможность перейти на новую более лучшую квартиру. Это было бы очень хорошо. Ты прими все зависящие от тебя меры, чтобы перейти»; «Мамчик, ты пишешь что тебя облизполком обеспечил топливом. Я этому очень рад. В этом я и не сомневался»; и, беспокоясь о том, обеспечены ли домочадцы материально, почти в каждом письме фронтовики сообщают о направлении домой денег: «Сегодня с этим письмом посылаю вам 500 руб. денег. Надеюсь, что они вам пригодятся. А мне сейчас с ними делать нечего. Сама, Мама знаешь война сейчас. Это я, Мама, посылаю часть своей премии. Можешь поздравить, я недавно получил Сталинскую премию 1000 рублей за боевую работу»; «Сегодня, дорогая мама, я получу зарплату за февраль и вышлю тебе деньги

с первой полевой почты. Постарайся купить Имульке хороший и нужный подарок к именинам».

* * *

В годы войны переписка с родными была очень важна для солдат — письма из дома помогали им выжить, поддерживали их боевой дух: «Ты знаешь мама ты мне писала письмо, когда я еще в училище был, в нем ты посылаешь мне 30 рублей денег? Помнишь? Так вот, это письмо у меня еще целое я его пронес сквозь огонь и воду и сохранил до сего времени. Это письмо я часто перечитываю и как прочту, то сразу станет тепло и весело».

«Ты мамчик меньше обращай внимание на то, что я редко пишу. Ты сама пиши мне почаще. Твои письма мне очень и очень дороги. Они вселяют



«БЕРЕМ МЫ С ВЛАДИМИРОМ ПО ОДНОЙ И ПО ПОСЛЕДНЕЙ «ЛИМОНКЕ»...»



АНТОН РУБШЕВ

в меня бодрость, радость, уверенность в силы», — пишет жене Н. Г. Докучаев в июле 1942 г., а в письме А. П. Дранова родным от 1 июля 1944 г. читаем: «...ваше письмо получил за которое очень и очень благодарю. Мама знаете сколько радостей было у меня. Знаете как скучно 6 месяцев не было от вас ни слуха ни духа. А знаете перед этим мне что приснилось, как будто я стреляю, а потом я иду у меня левая рука вся в крови и не могу ее поднять. Просыпаюсь я утром и рассказываю про этот сон ребятам, а ребята мне и говорят, что на днях известия получишь. И верно 1 день прошел. Прихожу с занятий мне и говорят что тебе письмо есть, я так обрадовался Нина ни могу вам я описать».

Нередко в переписке встречаются и обиды фронтовиков на то, что про них редко вспоминают: «...от Вас вот уже месяц как ничего не получаю! Скажешь опять хандрить начинаю! Ничего подобного, но как то обидно все получают, а я ничего решительно!»; «Мама в каждом письме я вам пишу одно и тоже, что я жив здоров и прошу вас все об одном почему не пишете напишите о себе хотя несколько слов, но все это впустую. И до каких же это пор будет продолжаться и будет или нет конце вашему молчанию».

Фронтовое письмо — ценный источник по изучению военного быта: «Сейчас сижу в маленькой землянке, горит маленькая коптилка и дымит печь. Война идет своим чередом. Ухают орудия, иногда слышится шум немецкого снаряда или вой мины. Землянка вздрагивает от взрыва и с потолка сыпится песок. То самолет вдруг бросит сверху пару "гостинцев", и опять тихо. Вообще приятного мало»; «Кормят досыта. Одеты тепло. В валенках, в войлочных брюках и телогрейке, меховые рукавицы. Шапка»; «Как много оказалось нужных мелочей, которым нас не учили: разжигать костер в воде из сырых дров, на ветру с одной спички и варить на нем собственный обед, вскрывать без ножа консервы, копать землю и работать топором я не говорю про то что стирать без мыла и пр.»; «Научился много ходить пешком. Знаешь мне сейчас пригодилось это хождение, я не так устаю как прочие, приходилось ходить по несколько десятков километров в день и до сотни с лихвой в сутки».

...Каждое письмо могло оказаться последним, и бойцы использовали любую свободную минуту, чтобы послать весточку домой: «Простите что долго не писал сейчас я нахожусь все время на передовой в нескольких метрах от фрицев и даже бываю среди них и у них в тылу, так что не всегда находишь время написать письмо. Вот и сейчас сижу в траншее и веду разведку за фрицами в оптический прибор. Нахожусь всего лишь в полтора метра от них. Визжат мины, свищут пули, грохочат снаряды и все это сливается в не понятный стон фронтовой симфонии»; «Извини меня за неряшливое письмо: землянка ходит ходуном от разрывов бомб, вверху слышно гудение "фрицев", бьют наши зенитки. И такая музыка сопровождает каждый наш шаг, каждый наш рейс»; «Обстановка, в которой я нахожусь не дает ни какой возможности писать. Бывают такие дни, когда нет времени даже для того, чтобы покушать, а писать письма нужно, вот такая обстановка»; «Отвечаю вам спустя 3 дня и то негде было в буквальном смысле слова, идет снег мокрый и некуда залезть, а вот сейчас уже накрыли блиндажи затопили печку принесли 2 крышки от ящиков из под снарядов — получил стол. Теперь писать можно».

Стараясь не беспокоить родных, фронтовики изредка и вскользь сообщают о ранениях: *«Вот уже второй месяц, как я на фронте. Фронтовая жизнь мне очень нравится. Жить приходится по всякому. В этой жизни плохое сочетается с хорошим, а если взять в целом, то жизнь хорошая веселая и я живу хорошо. Вот уже второй день мы после боев отдыхаем. В одном бою я был легко ранен в левую ногу и в спину но эти раны на мне уже почти что заросли»; «Уже полгода я на войне. Бывает тяжело, трудно. Солдатский хлеб — горький хлеб. Переменился мой адрес, потому что я был ранен и контужен и две недели ничего не слышал, но теперь снова в строю»; «Теперь я вполне здоров: зубы укрепились, язык совсем зарос, дырочки — тоже. Даже запломбировали старое дупло. Питание здесь хорошее, кроме того, пью рыбий жир. Скоро думаю выписываться».*

* * *

Обращаясь к письмам тех лет, не следует забывать и о военной цензуре — каждое почтовое отправление в действующую армию или из нее подлежало проверке: запрещено было указывать названия и номера фронтов, номера и места дислокации частей, сообщать сведения о видах вооружения и боевой технике. В задачи цензоров входило недопущение утечки секретной информации и пресечение проникновения нежелательных настроений как с фронта в тыл, так и обратно. При этом существовала еще и внутренняя цензура самих авторов — бойцы, не желая расстраивать родных, преуменьшали степень опасности, но изредка в письмах все же можно прочесть и об эпизодах фронтовой жизни. Так, в письме отцу В. Лейпсон в августе 1944 г. пишет: *«Недавно, числа, кажется, 3-го произошел интересный случай. Одна наша батарея, с которой был и я, выдвинулась вперед. (Это было вскоре, после взятия Каунаса) и переправилась на левый берег Немана. Прижатые на правом берегу к Виши и к Неману немцы пытались на паромах и лодках переправиться на левый берег. Мы дали 2 залпа по этой переправе. Поднялся густой черный дым — что-то горело. Из офицеров в этой батарее были командир дивизиона, комбат и я. Комдив сказал: "Возьми, Володя, человек 5 и сходи в разведку, посмотри, что там горит". Я взял 5 автоматов, сам повесил на него немецкий автомат и двинулся. Ушел я далеко. Даже наша пехота осталась сзади. Интересного было много. Жители высказывали из подвалов: "Русская разведка пришла!". Но описать я хочу тебе другое. На берегу Немана, как раз возле переправы в Местечко Вильки (мы там, кстати захватывали один грузовик и одну легковую — "оппель") мы зашли в одну деревишку. Жители, завидя нас, побежали в дома. Мы их остановили. Оказалось, что за полчаса перед нами здесь был какой-то человек, без погон, отобрал четверо часов (ручных и карманных), и сказал, что вот дескать, "сейчас наши, русские придут, всех вас перережут". Я, конечно, постарался уверить их, что это был не наш, что русский солдат никогда такого не сделает. Один старичок сказал, что видел этого типа идущего по направлению соседней деревни. Мы кинулись туда и застали его в одном доме, где он под угрозой пистолета (кстати немецкого, "Вальтера") забирал опять же часы и водку. По русски он говорил чисто, документы у него были, но, к счастью, мы поддерживали ту же дивизию, номер которой был у него в красноармейской*

книжке (без фотокарточки), я знал там в лицо многих офицеров, а он не мог мне назвать ни ком. дивизии, ни комполка, ни даже ком. батальона. Через полчаса он сознался, что служил в районной полиции. Я отвел его в первую деревню и на глазах всех жителей расстрелял. Потом, по приходе в дивизион, доложил об этом случае. Мне объявили благодарность. На следующий день мы проезжали через эту деревню, и жители с восторгом рассказывали нашим солдатам о вчерашнем происшествии».

Также в письмах можно встретить описания нечастого солдатского досуга: «Научились воевать культурно, достали передвижной киноаппарат, и на каждой остановке смотрим кинофильмы. Правда мешают "Мистер Шмидты", того и гляди сбросит "ядро" или "бомбу", приходится на время прекращать кино». А в письме Ивана Болотина от 19 мая 1942 г. так рассказано про Первомайский праздник на фронте: «1 мая провел хорошо, конечно по фронтовому. Особенно запомнилось приготовление к митингу. Представьте запущенный сухой (замерзли деревья) яблоневый сад. В самой гуще стоят грозные с открытыми жерлами... Тут рядом собралась горсточка людей. У всех блестят глаза! Весна! Ах, хорошо! Нет требуны. Полетели со всех концов снарядные ящики, ну как будто все? Нет грубо. Где красное сукно! Нет ведь мы не дома, в клубе, театре... Новенькая плащ-полотка красивыми складками облегла ящики. — "Графин и стакан" — сказал кто-то и все радостно улыбнулись. Так с торжеством друзья — "К Орудью" — крикнул дежурный связист. Вот дуновение ветра! Видно грозные лица товарищей и ствол со скрипом лезет ввысь. Так загремел гром в день 1 го мая».

Многие письма наполнены патриотизмом: «Я еду скоро на передовую. Встану на защиту вас мои дорогие родители, чтобы вы спокойно прожили свою жизнь. Я заверяю вас что буду биться до последнего дыхания, но не пропущу врага»; «Ниночка ты пишешь, бей фашистов. Ниночка я свой долг перед родиной выполняю. Буду бить его так как били его наши великие русские полководцы так и я буду бить его не щадя своей капли крови. Ниночка я свой долг перед родиной выполняю и приказ тов. И. В. Сталина добить его в собственной берлоге. Так мы и сделаем добьем его в его собственной берлоге, чтобы он знал как нападать на Советский союз, т. е. на нашу любимую и независимую родину»; «Признаюсь тебе, что после госпиталя я имел возможность уйдти в глубокий тыл, быть около тебя, но я этого не Эделал, потому что Эдесь люди нужны, и для этого меня родина воспитала и выучила. Ты обижаешь меня за то, что я не могу разделить семью и родину. Как я могу это сделать? Если небудет родины небудет у меня и семьи».

Кстати, при изучении восприятия противника советскими солдатами фронтовые письма незаменимы — в них очень ярко прослеживается так называемый «образ врага»: «Мамочка! Как хочется скорее разгромить этих грязных, вишивых, полуразложившихся фашистских бандитов»; «Иногда жалко и обидно и находит зло на этого изверга — арийской расы, что готов все отдать чтобы стереть этого людоеда за его зверства творимые на нашей земле»; «Полк мой дерется по гвардейски вишивых гансов бьем так, как учит наш Великий Сталин. Очищаем нашу священную Землю от фашистской нечисти».

А Борис Сухов в письме от 28 апреля 1942 г. сообщает следующее: «У немца своя политика, а я о ней расскажу. Сбили наши самолет немецк. летчик выпрыгнул. Оказался девшкой 19 лет. Спрашивают ее зачем



Здравствуйте мои друзья
 Мария и Светик!!
 Поздравляю вас с Новым годом! с
 новыми счастьем! Желаю всего лучшего в
 жизни и успехов в работе!! Желаю вам
 же в 1943 году встретиться в мирной
 обстановке!!
 так же поздравляю маму с
 Пяташиной желаю им так же всего
 чего им хочется!!
 Пусть друзья как же все
 как Светикова наша сядь любящими
 31.12.42. Целую крепко крепко своих Ветеранов

воюешь. Она зло смотрит и отвечает: “Вы низшая раса — мы высшая мы должны уничтожить вас”. Оказывается они изучают Дарвинизм в полном смысле, но понимают его в обратном. Они понимают его как скоты».

Встречаются и описания последствий боевых действий: «После долгих блужданий по сожженным деревням и истоптанным полям я попал в настоящую деревню. Правда в ней тоже почти во всех домах опалены углы, снесены крыши и выбиты стекла, нет ни одного мирного жителя но это единственная почти целая деревня во всем районе. От остальных остались одни названия да перекрестки дорог посреди бесконечных болот. Сейчас я в тиши. После постоянного грома и бессонных ночей так приятно вытянуться на настоящем полу возле настоящей печки, положив под голову противогаз.



После землянок и болота жизнь здесь кажется раем, но пробуду я здесь недолго»; «...я не могу спокойно себе представить то, что я здесь видел своими глазами как эта фашистская сволочь издевается над мирными советскими гражданами и детьми и чтоб они издевались над моими дорогими! Нет этого никогда небудет!»; «Я жив и Здоров, посмотрелся здесь на зверства немецких извергов над нашим населением и нашими городами и селами. Много, Женюша, осталось нашего народа без Крова и пищи. Сердце разрывается глядя на ребяташек. Но народ наш крепок, роет Землянки, но живет и населяет старые свои места»; «Был... на завтра после ухода немцев, что они там наделали, жуть! Сколько ими уничтожено нашего мирного населения!!»

Часто в письмах домой фронтовики рассказывают о местности, в которой находятся: *«Живу я Золотко сейчас в Восточной Пруссии на берегу Балтийского моря в Курортном городке. Местечко красивое в лесу, только нет совершенно населения, а поэтому вида оно не имеет и нет рынков. Побывал в Данцинге, Штетине посмотрел, часто бываю в Кенигсберге. От Кенигсберга осталась память, они долго в нем сопротивлялись и уходя взорвали оставшиеся от бомбежки и артиллерии здания, поэтому он выглядит так же пусто хотя мирное население частично имеется», — пишет Заборский В. С. 30 мая 1945 г., а Лев Петухов в письмах матери в августе 1944 г. делится своими впечатлениями о Польше: «Сейчас мы перебазировемся на машинах по панской Польше. Везде яблоки, груши, вишни. Деревни и села очень чистенькие, народ очень религиозный. Любопытно, что даже в селах народ ходит в коверкотовых костюмах и шляпах. Был проездом во Львове. Город меня ошеломил своим блеском. Публика одета шикарно, очень вежливая»; «Нахожусь я теперь за границей, у самых Карпат. Проездом на эту точку был во Львове. Город мне очень понравился, население одето шикарно. Характерно, что и в деревнях жители ходят в ковертовых костюмах и шляпах. Так и коров пасут. Честное слово!»*

Есть в коллекции нашего музея и незамысловатые послания, состоящие практически из одних «приветов» родне и знакомым. Их главная задача — просто дать знать, что солдат жив, а значит, есть надежда на встречу...

* * *

Разные по объему, содержанию и настрою письма связаны единой мыслью — победить и скорее вернуться домой: *«Из писем, да и без писем я знаю, что сильно скучаете обо мне, беспокоитесь за мое здоровье, а так же за жизнь, но ничего, будьте мужественными стойкими, кончится война и я вернусь к Вам. Мы все живем надеждами на будущее»; «Я Крепко заскучал о тебе! о Светульке, о доме, о своей постоянной и теплой квартире! Как все это было давно! Ведь мы с тобой невиделись уже 1267 дней, это подумать только а Как прожить?!»*

...Письма военных лет — документы особого качества, их авторы не рассчитывали, конечно, на публикацию, здесь нет художественного вымысла, но есть подлинные образы защитников Родины, поэтому наша святая обязанность — сберечь и передать эти письма и другие предметы, хранящие память о Великой Отечественной войне, следующим поколениям.

Сергей МОСИЕНКО

ПАЛИТРА ЖИЗНИ СЕРГЕЯ ПИРОГОВА

Художник Сергей Филиппович Пирогов прожил ровно 89 лет. В тот его последний день рождения я позвонил ему, поздравил, а на следующее утро узнал печальную новость...

...Более двадцати лет мы были соседями по мастерским, а это значит, что почти каждый день проводили в едином пространстве, были в курсе всех событий, происходящих друг у друга и в творческой жизни, и в семье.

В 2008 году Сергей Филиппович стал лауреатом премии «За вклад в развитие Отечества» (номинация «Культура и искусство») и, получив солидное денежное вознаграждение, издал книгу воспоминаний, проиллюстрировав ее своими работами: пейзажами, дизайнерскими разработками, социально-политическими плакатами, полиграфической художественной продукцией, и, конечно же, включил в нее рассказ о созданных им диорамах — палитра творческих интересов художника Пирогова была столь же разнообразна и ярка, как и палитра его жизни. Кстати, книга, которую он так и назвал — «Палитра жизни», получилась небольшая и в то же время очень емкая, но сегодня разговор не о книге, а о самом Сергее Филипповиче...

* * *

Детство будущего художника было безрадостным и суровым: родителей рас-

кулачили и сослали вместе с маленьким Сережей и другими детьми на болота в Васюганье. Выжили чудом, и не все...

Потом были бесконечные переезды, случайное жилье, кочевая жизнь, но урывками удавалось даже посещать школы (точнее, их подобие), иногда оказывавшиеся в местах временного пристанища семьи, правда, ходить на занятия нужно было за несколько километров — и это в суровые сибирские зимы при минимуме теплой одежды! Удивительно, но в тех тяжелейших условиях Сергей уже пытался рисовать, а один рисунок так понравился учительнице, что она попросила подарить ей картинку. На листочке была очень живо нарисована сосна...

Через год после начала Великой Отечественной войны семнадцатилетнего Сергея, несмотря на так называемое «неблагополучное прошлое», призвали в армию и направили в Куйбышев (теперь — Самара), в училище младшего командного состава. Учеба была короткой, и уже через полгода сержант Пирогов получил свои первые документы, ведь до этого у него вообще не было никаких официальных бумаг: раскулаченным они не полагались...

А вскоре он уже воевал в составе 123-го стрелкового полка — бои шли жестокие, полк постоянно находился в движении, солдаты уставали страшно. Помню, Сергей Филиппович рассказывал



С. Ф. Пирогов после демобилизации из рядов Советской армии, 1945 год

мне: «Именно на войне я понял, что такое спать на ходу — идешь строем при очередной передислокации, идешь, идешь... Вдруг споткнулся и — проснулся! Оказывается, шел на автопилоте!»

В марте 1943 года в бою осколками гранаты Сергею оторвало три пальца на левой руке, он попал в тыловой госпиталь в Бийске, но после лечения вернулся на нестроевую службу. Ему поручили формирование и сопровождение эшелонов с лошадьми: армия остро нуждалась в тягловой силе, не зависящей от топлива, и лошади в этом смысле были незаменимы. А доставлять их на фронт приходилось аж из Монголии, дикими и необъезженными, и, по воспоминаниям Сергея Филипповича, это была та еще морока!

На обратном пути в тыл этими же эшелонами увозили бесхозный крупный рогатый скот с территории уже освобожденной от фашистов Румынии, и загрузками-разгрузками всего этого «зоопарка» руководил помощник начальника эшелона Сергей Пирогов. Кстати, коров во время следования эшелона нужно было не только кормить и поить, а еще и доить! Частенько в хозяйственных хлопотах при-

ходило принимать участие и Сергею, а поскольку такая жизнь не способствовала заживлению раны, то вскоре он снова оказался в эвакогоспитале — теперь уже на территории Румынии.

Сидеть без дела Пирогов не привык, поэтому, немного оклемавшись, прямо в госпитале занялся творчеством: писал лозунги, рисовал стенгазеты и плакаты. Эта агитационная работа была очень востребованной, но опасной: война продолжалась, а за красками иногда приходилось ездить в город Фокшани, на окраине которого дислоцировался госпиталь, и поскольку далеко не все румыны были рады освободителям, то с чердаков по армейским машинам частенько постреливали...

Но все же война неуклонно шла к завершению, и тут я хочу привести очень эмоциональные строки из книги Сергея Филипповича, о которой упоминал выше: «Хорошо помню ночь в госпитале, когда я, как это часто бывало, помогал тамошнему радисту, который обычно принимал оперативную информацию и сообщал ее сотрудникам госпиталя и раненым бойцам через громкую связь. Радист в это время куда-то отлучился, и я, подменяя его и зная, как работает это его радиохозяйство, записывал очередные поступающие новости.

Вдруг где-то около двух часов ночи трансляция прерывается и диктор предупреждает: “Передаем важное государственное сообщение!” Несмотря на глубокую ночь, я включил напрямую громкую связь по всему госпиталу. И вот оно — долгожданное известие: “Победа! Полная и безоговорочная капитуляция Германии!”

Что тут началось: все, кто только мог мало-мальски передвигаться, высыпали на улицу. Они кричали, обнимались, смеялись и ликовали. Врачи и медсестры радовались и плакали вместе с ранеными. Те, у кого было табельное оружие, — падали в воздух! Победа!!!»

В 1946 году фронтовик Пирогов, мечтающий стать художником, оказался в Новосибирске и, собрав все, что успел нарисовать и смог сохранить в годы войны, принес в новосибирское товарищество «Художник». Там поглядели на рисунки и, руководствуясь постановлением, дающим преимущество при поступлении на работу демобилизованным, решили принять в свои ряды молодое дарование. И первое задание было — нарисовать портрет Сталина! Так «вождь всех времен и народов» неожиданно помог Сергею Филипповичу осуществить свою мечту...

А дальше были и годы учебы в вечерней школе, и стажировки в Домах творчества, и другие формы повышения квалификации, в том числе — обучение на уникальных Высших курсах Центральной учебно-экспериментальной студии Союза художников СССР.

Мирная жизнь помогла Пирогову наверстать упущенное в юности и превратила его в интересного художника с многогранным творческим потенциалом. Одним из любимых занятий Сергея Филипповича был выезд на пленэр, на этюды — в его мастерской мне посчастливилось видеть десятки зарисовок со всех концов Новосибирской области. Постепенно этюды перерождались в полноценные холсты с пейзажами родного края: «Новосибирский ботанический сад», «Березовая роща», «Елгайчик», «Колпашево. Осень на реке Парабель», «Шегарский лес». А какие у него интересные пейзажи с животными — «Медведь-шатун», «Лось», «Глухарь», «Куропатки»!

Полно трагизма его живописное полотно «В изгнание. 1931 год» — картина-хроника собственной жизни: в тяжелые сани впряглись мужчина и женщина, из последних сил волокущие по льду реки незатейливый скарб, среди которого сидят двое укутанных малышей, а двое мальчишек чуть постарше с двух сторон, как могут, помогают взрослым. Один

из этих мальчишек — Сережа Пирогов, остальные ребята — его братья и сестра, в оглобли впряглись родители, Евдокия Григорьевна и Филипп Сергеевич. Позади верхом на лошади едет вооруженный и тепло одетый чекист, сопровождающий ссыльных... В моей памяти остались тихие и спокойные слова Сергея Филипповича, с грустью глядящего на только что законченную работу: «Все в точности так и было...»

Конечно же, есть в творчестве бывшего фронтовика и работы, посвященные Великой Отечественной войне — их немного, но запоминаются они сразу, и среди этих полотен есть одно, создававшееся, можно сказать, у меня на глазах. Я уже говорил, что мне посчастливилось быть соседом Сергея Филипповича по мастерской, и, когда он работал над большим и сложным по композиции холстом «За Отечество. Апофеоз войны 1941—1945 гг.», я имел возможность наблюдать, как постепенно усиливался творческий контрапункт, появлялись новые действующие лица, обострялся с помощью мазков краски драматизм противостояния в этой смертельной битве. Добавлялись одни элементы и персонажи, убирались другие, форма и содержание находились в постоянном творческом конфликте: важнее «что» изобразить или «как» изобразить? Для меня эта творческая «кухня» была своего рода школой, где я выучил очень важный урок: стороны своеобразного метафизического треугольника «голова — сердце — рука» должны у художника находиться в постоянной гармонии, ведь просто хорошо придуманная работа — это скучно, просто эмоциональная — это пустозвонство, просто технически чисто выполненная — это банальная ремеслуха. Стараюсь теперь следовать этим постулатам своего бывшего мудрого соседа...

А еще Пирогов был одним из основоположников искусства плаката в Новосибирске; судьба свела его с прекрасным



Сергей Пирогов.
Плакат «Звезды мирного труда». 1989

плакатистом Александром Иоганновичем Брайтом, высланным в свое время из Москвы к нам за немецкое происхождение. Брайт фактически стал учителем Пирогова, они долгое время сотрудничали, создав не один десяток ярких и запоминающихся плакатов, посвященных и войне, и мирной жизни. К сожалению, плакат — вид искусства недолговечный с точки зрения сохранности оригинала, именно поэтому многие интересные работы С. Ф. Пирогова (впрочем, как и А. И. Брайта) утеряны.

Но основная специализация Сергея Филипповича все-таки заключалась в разноплановой деятельности, которую сегодня называют од-

ним словом — дизайн. Правда, в 1960—70-е годы этот термин был почти неизвестен широкому кругу потребителей, большей популярностью тогда пользовались определения «художественное конструирование» и «техническая эстетика», хотя сути дела это не меняет. Главное, что не зря прошли годы учебы Пирогова на Высших курсах промышленного и оформительского искусства — Сергей Филиппович стал в Новосибирске одним из ведущих мастеров художественного конструирования. Группа разработчиков, в которую он входил, занималась проектированием внешнего вида сельхозмашин, технического оборудования, музыкальных инструментов, разрабатывала проекты пионерских лагерей и целых поселков, автомагистралей, оформляла праздники и карнавалы, новогодние мероприятия, создавала первую газосветную рекламу в городе, оформляла выставочные экспозиции — и не только в Новосибирске! Тогда, говоря современным молодежным языком, это было очень круто, это была настоящая творческая работа — новая, интересная и (вверну еще одно модное словечко) креативная.

Дополнить творческий портрет Сергея Филипповича хочется еще и рассказом о его многолетней эпопее по созданию музейных диорам для Новосибирска



Сергей Пирогов. Плакат «От победы — к победе!». 1985

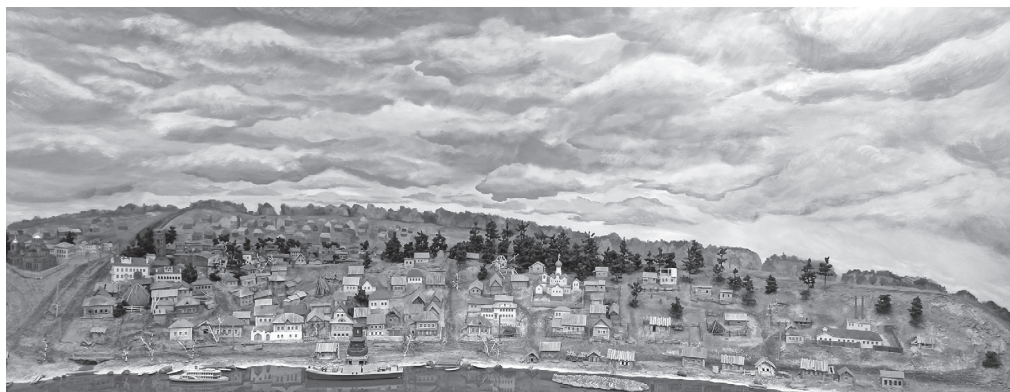


**Сергей Пирогов. Проектное решение пионерского лагеря им. А. С. Макаренко
(Новосибирская область)**

и других сибирских городов; диорама, выражаясь сухим энциклопедическим языком, это «лентообразно изогнутая картина с объемным передним планом, включающим макеты зданий, деревьев, фигур и пр.» Первую свою диораму Пирогов предполагал сделать еще в 1964 году для создававшейся тогда новой экспозиции в новосибирском Музее пожарно-технического дела, где заказчик (Управление пожарной охраны НСО) хотел поначалу просто обновить старые стенды и схемы.

Сергей Филиппович вспоминал: «Не экспозиция — скукоптица! Стал думать — чем же удивить посетителя, чем привлечь внимание? Понял, что традиционные формы здесь неуместны, нужно делать по-другому: никаких стендов, работать будут свет, цвет, звук и механика!» Но реализовать смелые по тем временам идеи удалось только спустя несколько

лет, и начинать пришлось фактически с нуля, ведь ничего аналогичного нигде не было. Было решено все макеты (здания, пожарную технику, сопутствующее оборудование) делать действующими — в частности, макет новосибирского оперного театра должен был автоматически раскрываться, демонстрируя всю систему противопожарной безопасности, и вновь складываться. Но основная работа, конечно же, была связана с диорамой, которую решили посвятить пожару в Новониколаевске в мае 1909 года, когда сгорела чуть ли не половина города — предполагалось показать начало пожара, его апофеоз и трагический результат. Вот тут-то и пригодились уникальные знания и умения бывшего фронтовика: и владение живописными приемами, и навыки художника-конструктора (а подчас и остроумного изобретателя), и мастерство макетчика!



Сергей Пирогов. Фрагмент диорамы «Пожар в Новониколаевске в 1909 году»

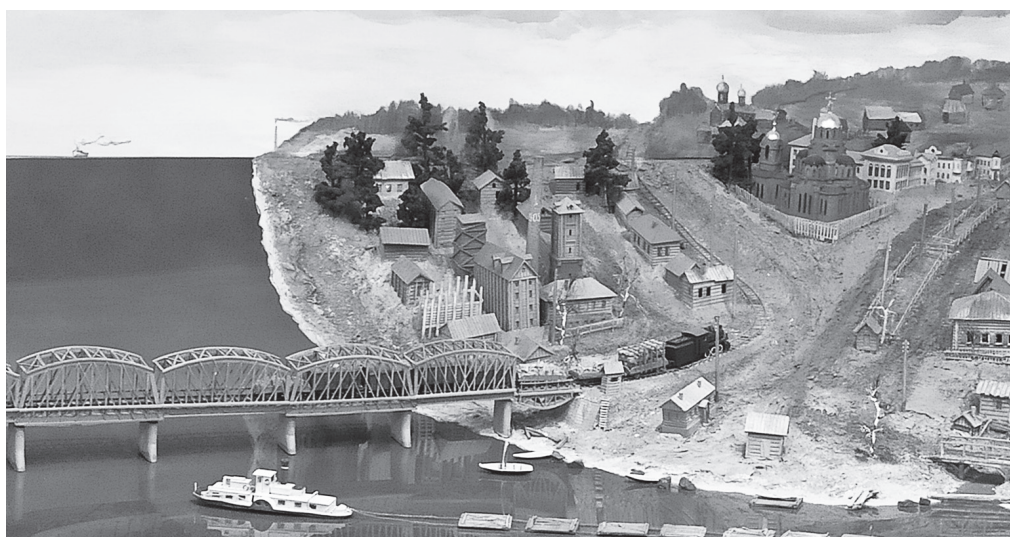
Работа над экспозицией и диорамой заняла у художников несколько лет, и, когда выставка открылась, — был фурор! Посыпались заказы на изготовление подобного чуда и из других городов: в 1972—1978 годах была сделана подобная диорама в Барнауле (там демонстрировался пожар 1917 года), в 1979—1984-м — в Пензе (пожар 1909 года), а в 1985—1994 годах Сергей Филиппович сделал в Омске аж целых две диорамы: современного города и города старого (с демонстрацией пожара 1919 года), причем надо заметить, что везде отзывы о работах Пирогова и его творческой группы были самые восторженные.

...Кстати, диорама, посвященная новониколаевскому пожару, теперь находит-

ся в помещении постоянно действующей выставки пожарно-спасательной службы Государственной противопожарной службы НСО и по-прежнему работает, я сам убедился в этом — благодаря директору музея Фариде Фаридовне Грешновой все экспонаты функционируют безукоризненно и выглядят как новые.

А когда в 2013 году Сергея Филипповича Пирогова не стало, то возле диорамы Фариды Фаридовны повесила его большую фотографию — как автора и руководителя проекта.

И теперь художник ежедневно символически встречается с многочисленными посетителями выставки, приходящими ознакомиться с его блестяще реализованным уникальным творческим замыслом...



Сергей Пирогов. Фрагмент диорамы «Пожар в Новониколаевске в 1909 году»

АВТОРЫ НОМЕРА

Вассбар Виктор Васильевич родился в 1948 г. в Барнауле. Окончил Омское высшее общеобразовательное командное училище им. М. В. Фрунзе, курсы политсостава при Главном политическом управлении ВС СССР. Служил во многих военных округах СССР. Был внештатным корреспондентом окружных военных изданий. Автор ряда сборников прозы. Живет в Барнауле.

Дурягина Светлана Владимировна родилась в 1957 г. в Казахстане. Окончила Вологодский государственный педагогический институт, преподавала русский язык и литературу в школе. С 2000 г. руководит районным ЛИТО. Публиковалась в литературных журналах и альманахах «Союз писателей», «Охотничьи просторы» и др., в межавторских сборниках. Лауреат ряда литературных премий. Автор девяти книг стихов и прозы. Живет в пгт Чагода Вологодской области.

Ивантер Алексей Ильич родился в 1961 г. в Москве. Иной достоверной информации редакция не имеет.

Лашук Татьяна родилась в г. Лиде. Работает учителем истории. Пишет на белорусском и русском языках. Печаталась в журналах «Урал», «Новый мир», «Малодось», «Белая Вежа» и др. Автор книги «Стрела, запущенная в вечность» (в соавторстве с Н. Алеевой). Живет в Гродно.

Михеева Светлана родилась в 1975 г. в Иркутске. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького. Поэт, прозаик, эссеист. Автор нескольких книг прозы и стихов. Публиковалась в журналах «Дружба народов», «Волга», «Сибирские огни», «Юность» и др. Участник ряда литературных фестивалей. Член Союза российских писателей. Живет в Иркутске.

Мосиенко Сергей Сергеевич родился в 1948 г. в Латвии. В 1972 г. защитил экспериментальный диплом по художественному конструированию в Новосибирском электротехническом институте. В качестве художника сотрудничал с театрами, телевидением, книжными издательствами в городах Сибири. Участник более 300 выставок, конкурсов, художественных акций в России и за рубежом. Автор ряда статей в прессе и двух книг: «Картины сущего» и «ЗАО [Парк]». Творческое амплуа — живопись, графика, книжная и журнальная иллюстрация, плакат, карикатура. Член Союза журналистов России, член Союза художников России. Живет в Новосибирске.

Муратов Петр Юрьевич родился в 1962 г. в Казани. Окончил Казанский государственный университет. Кандидат биологических наук. Автор книг «Встретимся на «Сковородке», «Воспоминания о Казанском университете». Живет в Кольцово (Новосибирская область).

Орлов Павел Александрович родился в 1974 г. в Новосибирске. Окончил гуманитарный факультет Новосибирского государственного университета, направление «история». Научный сотрудник Новосибирского государственного краеведческого музея. Охотник, рыбак, участник археологических работ в Хакасии, Красноярском крае, Новосибирской области и на Земле Франца-Иосифа. Живет в Новосибирске.

Перминова Надежда Ильинична родилась в 1943 г. в Маньчжурии. Окончила Кировский педагогический институт, Высшие литературные курсы. Автор 25 книг стихов и прозы. Лауреат ряда литературных премий. Работала журналистом, референтом областной писательской организации, руководителем ЛИТО. Член Союза писателей и Союза журналистов России. Заслуженный работник культуры РФ. Живет в Кирове.

Романов Павел Игоревич родился в 1996 г. Историк, археолог, автор работ по истории Сибири и книги «Тяжело вылечить, трудно распознать. Судьба первого новосибирского врача И. И. Абдрина». Живет в Новосибирске.

Рубшев Антон Витальевич родился в 1985 г. в Читинской области. Старший научный сотрудник ГАУК НСО «Новосибирский государственный краеведческий музей».

Санжаровский Анатолий Никифорович родился в 1938 г. в селе Ковда на Кольском полуострове. Окончил факультет журналистики Ростовского государственного университета. Работал журналистом в различных газетах и журналах, редактором в центральном аппарате ТАСС. Автор многих романов и повестей. Живет в Москве.

Фроловская Мария родилась в 1990 г. в Москве. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького и Государственный музыкальный колледж им. Гнесиных. Работает педагогом вокала. Публиковалась в журнале «Сибирские огни». Лауреат фестиваля поэзии «Мцыри» и национальной премии «Русские рифмы». Живет в Москве.



МАГАЗИН

продает и покупает:

книги и подписные издания, газеты, журналы, почтовые открытки (до 1960 г.), старые фотографии, домашние архивы, коллекции почтовых марок, монеты, бумажные деньги;

статуэтки фарфоровые, бронзовые и чугунные, серебряные изделия, значки на винтах, портсигары и подстаканники, заводные игрушки и фарфоровые куклы, угольные самовары и патефоны, старинную мебель, старую военную форму и военную атрибутику и многое другое.

Работают отделы:

антиквариата, нумизматики, филателии и букинистической литературы.

Всегда в продаже журнал «Сибирские огни».

Работаем с 10 до 19 без перерыва, в воскресенье с 10 до 18

Адрес: ул. Романова, 26 (угол Советской и Романова)

☎ 227-18-37, 227-14-50

Сайт: www.gornitsa.ru E-mail: n_gornitsa@bk.ru

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал «СИБИРСКИЕ ОГНИ» в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

Учредители:

Союз писателей России, Администрация Новосибирской области.

Журнал зарегистрирован в Государственном комитете Российской Федерации по печати.

Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Адрес редакции и издателя:

630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 19, тел. (383) 223-10-15

E-mail: sibogni@sibogni.ru Сайт: сибирскиеогни.рф

Адрес типографии:



ООО «Новосибирский издательский дом»

630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104

<http://книгосибирск.рф>

Сдано в набор 18.04.2020. Дата выхода № 5 за 2020 г. в свет 22.05.2020.

Формат 70x108/16. Печать офсетная. Усл. п. л. 8,7. Тираж 1500 экз.

Во всех случаях полиграфического брака просим обращаться в типографию.